

А. Кирпищикова Как жили в Куморе



А. Кирпищикова

•

КАК ЖИЛИ В КУМОРЕ











А. Кирпищикова

•

КАК ЖИЛИ В КУМОРЕ

Пермское
книжное издательство
1987

ББК 8Р1 — 64
К43

Оформление

Е. И. НЕСТЕРОВА

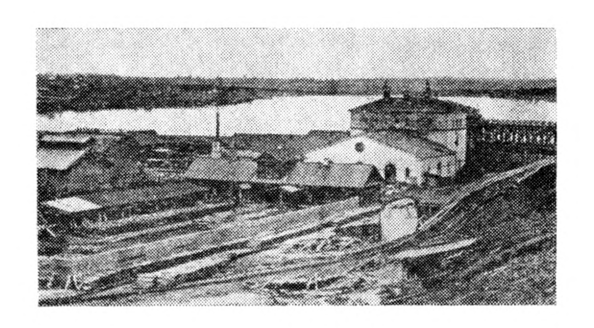
Кирпищикова А. А.

К43 Как жили в Куморе / Сост. и примеч. И. А. Дергачева; Оформ. Е. И. Нестеров. — Пермь: Кн. изд-во, 1987. — 454 с. — (Литературные памятники Прикамья).

Сборник повестей и рассказов прикамской писательницы А. А. Кирпищиковой (1838—1927). В ее произведениях, посвященных жизни уральских заводов середины XIX века, нашли отражение лучшие традиции русской народно-демократической литературы, традиции Некрасова и Салтыкова-Щедрина.

К $\frac{4702010100-43}{М152(03)-87}$ 33—87

ББК 8Р1 — 64



ПИСАТЕЛЬНИЦА СТАРОГО ПРИКАМЬЯ

В редакции журнала «Современник», которую возглавлял Н. А. Некрасов, 1864 год прошел, можно сказать, под знаком Прикамья. В конце января в руки редактора была передана рукопись большого очерка Ф. М. Решетникова «Подлиповцы», поразившая не только самого великого русского поэта, но и его ближайших сотрудников, среди которых был М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк немедленно был сдан в печать. В мартовской — майской книжках журнала он уже увидел свет. Безвестный канцелярский служитель, приехавший с берегов Камы, выросший в Перми, так знал народную жизнь, так безыскусно верно, глубоко проникал во все стороны бытия своих героев, так властно заставлял читателей пройти скорбный путь с ними, что его произведение потрясало людей.

Сама беззащитная простота повествования могла вызвать мысль: не останется ли вновь появившийся писатель автором одного очерка, выплеснув за один раз все, что он знает, что наболело в его душе? Но Решетников сразу же вслед за «Подлиповцами» принес повесть «Ставленник», появившуюся в журнале в июне — августе того

же года. В октябре журнал напечатал его очерк «Макся».

И в том же месяце из тех же прикамских краев пришло письмо Некрасову, к которому был приложен рассказ «Антип Григорьич Мережин». Под рассказом стоял криптоним *А. К-ва*, а письмо было подписано Анной Кирпищиковой, жительницей неизвестного редактору захолустного Чермозского завода Пермской губернии. В письме говорилось: «Все мои симпатии находятся на стороне народа». Начинающая писательница при этом своеобразно оправдывалась, что эти симпатии не мешают ей видеть тяжелые стороны народной жизни. Произведение Кирпищиковой, отправленное в Петербург только в октябре 1864 года, несмотря на то, что в беллетристических сочинениях у «Современника» недостатка не было, появилось сразу же в январской книжке журнала.

Как и Решетников, молодая провинциалка хорошо знала народный быт, умело переходила на голос простого человека, владела его языком. Повествование в ее рассказе велось от лица крестьянки, прикоснувшейся к городской цивилизации. Достоверность всего определялась не только знанием деталей бытовой обстановки, но прежде всего тонким пониманием души, меры и границ, которые автор соблюдает в скорбном сказе о несчастной женщине, жертве «снохачества». Некрасов не мог не заметить, что А. А. Кирпищикова из тех же краев, откуда пришел Решетников, хотя владеет другим материалом и очень самостоятельно и независимо выступает как художница. Здесь было больше женского тепла, сочувствия, близости к человеку, чувствовалось влияние передовых идей; психологизм Кирпищиковой был привычнее, мягче, тоньше обозначен.

Публикация рассказа вселила уверенность в своих силах, и Кирпищикова написала следующий очерк из народного быта: «Порченая». И этот опыт писательницы Прикамья немедленно был напечатан. Появился он в ноябрьской-декабрьской книгах журнала за тот же 1865 год.

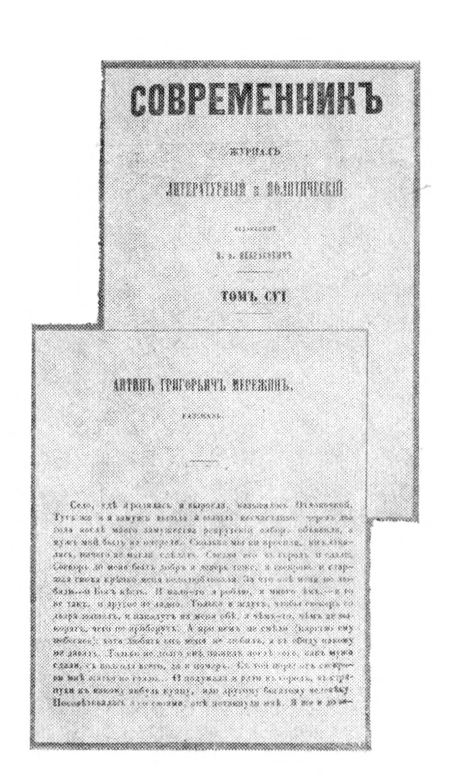


Н. А. Некрасов.



М. Е. Салтыков-Щедрин.

В «Современнике» искали не просто талантливых писателей. Журнал хотел, чтобы в литературу пришел писатель нового типа, тесно связанный с народом самим образом жизни, пониманием его интересов, сегодняшних возможностей развития, и в то же время — сил, заложенных в нем.



СОВРЕМЕННИКЪ

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ

ТОМЪ CVI

АНТИПЪ ГРИГОРЬИЧЪ МЕРЕЖКИНЪ.

Первая публикация А. А. Кирпищиковой.

Салтыков-Щедрин после знакомства с «Подлиповцами» в обозрении «Наша общественная жизнь», размышляя о том, каким же будет новый литератор, писал, что он должен быть представителем «того среднего уровня, который обыкновен-

но составляет достояние масс». Такие писатели уже появляются и «носят на себе признаки свежей, изобильной силы и в известных случаях составляют драгоценнейшее и ничем незаменимое достояние».

«Свежей силой» было творчество Кирпищиковой, публикация произведений которой «Современником» являлась для нее лучшей рекомендацией. «Ничем незаменимым достоянием» было художественное осознание ею жизни рабочего края с многочисленными заводами, сложившимися кадрами мастеровых и вспомогательных работников.

Анна Александровна Кирпищикова родилась 2 февраля 1838 года в семье управителя Полазнинского завода Александра Григорьевича Бударина. Ее отец был «крепостным служителем» господ Лазаревых, владевших громадными земельными пространствами вдоль Камы, тремя заводами, соляными варницами, рудниками, пристанями, с которых отправлялись караваны с металлом и солью. В Чермозе, Полазне, Кизеле и окружающих их поселках и селах жило около пятидесяти тысяч крепостных, добывавших руду, рубивших лес, выжигавших уголь, варивших металл. Все они были «собственностью» владельцев.

Мать А. А. Кирпищиковой была грамотной и обучила дочь чтению. Две недели с ней позанимался также ученик местной школы. На этом ее образование и закончилось бы, если бы не тяга к иной жизни, к широким горизонтам.

А. А. Кирпищикова настойчиво занималась самообразованием. На этом пути было много трудностей: хотелось читать, а в руки попадались только жития святых. Хотелось узнать мир других людей, а в Чермозском заводе, где она жила в то время у тетки, вдовы фельдшера Наугольных, она находила бульварные романы Поля де Кока или такие же повести отечественных авторов, вроде «Битвы русских с кабардинцами» Зряхова, анонимной «Могилы Марии, или притона под Москвой» и других подделок под литературу. Только позднее пришло знакомство с Ка-

рамзиным, Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Некрасовым.

Анна Быдарина встретила на своем пути учителя Михаила Алексеевича Кирпищикова, тоже интересовавшегося литературой. В день, когда ей исполнилось шестнадцать лет, она стала женой этого человека. Шел 1854 год. Десять лет провела Анна Кирпищикова в Чермозе, среди рабочих, продолжая самообразование, пробуя писать стихи и прозу. Здесь она встретила освобождение крестьян от крепостной зависимости. Большую роль в формировании ее взглядов сыграли ее муж и в особенности брат, талантливый архитектор, работавший по строительной части у Лазаревых. Брат тоже любил книги, выписывал «Современник», доставал у приятелей другие журналы. Жили они в одном доме, он был старше сестры на семь лет и, несомненно, очень помог формированию ее убеждений.

У нее было уже трое детей, когда она, наконец, написала тот первый рассказ, который сразу завоевал симпатии Некрасова.

Но этот же год оставил в памяти и другое событие. Ее муж в частной беседе посетовал на управляющего и владельцев завода, что они не дают земли рабочим, не признают их законных интересов. Он был немедленно уволен с должности учителя. Надо было начинать жизнь где-то на новом месте. Заботясь о будущем дочерей, стремясь дать им образование, Кирпищиковы решили переехать в Пермь. С осени 1864 года Анна Александровна жила в городе на Каме.

В Перми Кирпищикова написала повесть «Как жили в Куморе». Работала она над ней целый год. Разумеется, повесть предназначалась для того же журнала, который так хорошо принял ее первые произведения. Но усиливалась политическая реакция. В мае 1866 года «Современник» был закрыт правительством. Видимо, по совету Н. А. Некрасова, рукопись «Как жили в Куморе» была передана в «Отечественные записки», где и была напечатана в мае — июне 1867 года.

В первых двух рассказах, при всей свежести взгляда, чувствовалась литературная школа такого изображения народа, в котором главной задачей оказывалось открыть человека этой среды как равного по силе и тонкости чувств, по силе переживания трагических обстоятельств бытия «просвещенному» читателю.

В повести «Как жили в Куморе» Кирпищикова окончательно выходила на самостоятельный путь. Самое заглавие повести предполагало некую безыскусность, незаданность рассказа. Автор знает людей, стремится понять их поступки, мотивы поведения персонажей в тех или иных ситуациях, а в результате создается общая картина быта, за которой вырисовываются проблемы социального бытия, раскрывается понимание отношений, сложившихся в рабочей среде.

События прикреплены к времени крепостничества, что замечается нами в отношениях людей, в характере быта. Но эти детали нигде не выступают как ушедшие в прошлое, в историю. Писательница остро чувствует неисчерпанность вопросов, что вставали перед рабочими в то время. Сменялись формы подчинения, но суть эксплуатации оставалась. И повесть, события которой развертываются на десятилетия раньше отмены крепостного права, кажется живым рассказом о временах текущих. Более того, Кирпищикова дает заглянуть в будущее, показывая ростки единства рабочих в отстаивании своих прав. Это еще первые шаги, но важно, что они вытекают из осознания силы, необходимости сплочения, формируются в постоянной работе вместе, рядом, в увлеченности одним делом, ощущении общего врага.

По этой повести можно судить, насколько близкими к передовым взглядам революционной демократии были понятия о жизни в среде самих рабочих и живущей с ними рядом интеллигенции. В самый разгар политической реакции писательница предлагает журналу повествование, где

сквозной темой проходит вражда рабочих к тем, кто их угнетает: не к отдельным людям, а к самой системе подавления, беззакония, насилия.

Писательница заканчивала повесть в годы политической реакции, установившейся после покушения Каракозова на Александра II, но это если и наложило свой отпечаток, то в некоторой прикровенности, с какой говорится о взглядах рабочих, их суждениях о социальной войне. Молодой рабочий Гриша Косаткин возмущается: «Тешатся они нами, кровопийцы, вот словно мы и не люди». Кричный мастер Сергей Набатов бросает еще более суровые слова: «Кровь ведь они нашу пьют, в работе морят, вот словно скотину, да еще и девкам нашим житья от них нету». От имени автора чуть дальше говорится, что душа рабочих полна «затаенной, но тем не менее упорной ненависти». «Сознание своего бессилия и полнейшей зависимости от начальства тяжело давило его», — объясняет Кирпищикова состояние души Набатова. В повести едва ли не впервые в русской литературе появились образы рабочих не только как страдательных лиц истории, а как людей, активно строящих свою судьбу.

Писательница отвела много места образу Чижова, управителя из крепостных. Более умный, чем другие, чувствующий в себе незаурядные силы, он в то же время полностью зависит от управляющего, от хозяина, от их произвола и своеволия. Это положение делает его несчастным. Но вместе с тем ощущение власти над теми, кто ниже, приводит к тому, что он распоряжается судьбами заводских девиц, бесчестит их, как он сделал это с Натальей Набатовой. Кирпищикова избегает карикатур и примитивного деления героев на злодеев и благородных. Маряна, разбитная девушка, считает сама за честь принадлежать управителю, который «не чета мужикам», как она говорит. Особое положение его, вознесенность над другими вызывают не только ненависть, но и зависть, ведут за собой стремление хоть на миг приблизиться к этому другому миру. Чтобы не смея-

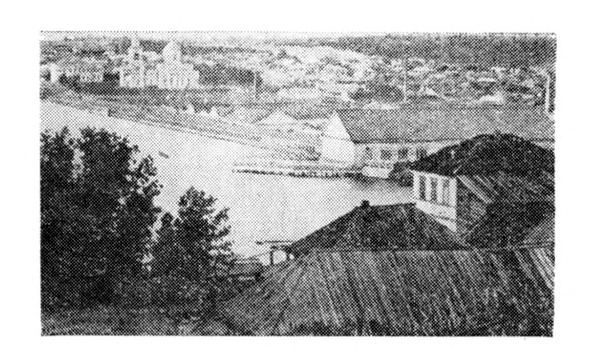
лись над ней, Маряна сама готова быть сводней: тогда она не будет отличаться от других. Она упорно добивается, чтобы Груня «сдалась» Чижову. Огражденная любовью к Грише и стремлением утвердить свое достоинство, Груша решительно восстает против Чижова.

Кирпищикова показывает, что в иных случаях своеволие и властность управителей коренятся в страхе, покорности, ощущении безысходности у самих угнетенных. Так «теряет себя» Наташа Набатова.

Надо признать, что по глубине осознания сложных процессов народной жизни уральская писательница была на уровне передовых кругов. Под несомненным влиянием поэмы Некрасова «Мороз, Красный нос» она создавала образ молодой семьи Груни и Гриши, изображала их готовность трудиться свободно во имя счастья, не противопоставляя себя другим. Касается Кирпищикова и экономической нецелесообразности крепостнического хозяйства, она видит в этой системе растрату народных сил.

Совершенно очевидно, что понимание действительности складывалось у писательницы не только под влиянием самой жизни, но и под воздействием революционно-демократической идеологии. Слово Кирпищиковой, однако, не было ни стенографическим отчетом о виденном, ни иллюстрацией к теории. В ее повести выступала картина истинного состояния рабочего края и мировоззрения, складывающегося здесь под многообразным влиянием обстоятельств и живой передовой мысли.

После публикации повести «Как жили в Куморе» имя писательницы пропало почти на десятилетие. Только в 1876 и 1877 годах М. Е. Салтыков-Щедрин напечатал на страницах «Отечественных записок» две части ее очерков-воспоминаний «Прошлое», с подзаголовком «Из записок управительской дочери», и «Настоящее», жанр которого был обозначен как «Из воспоминаний». Должна была появиться и третья часть, но она в 1878 году автору возвращена. Как вспоминала



Заводская плотина. Очер.

писательница, Салтыков отнесся к ней очень внимательно, проводив до передней, сам подал ей пальто. Рукопись отвергли только по цензурным соображениям.

Сам жанр автобиографического повествования, в центре которого стоит личность рассказчика, не был открыт Кирпищиковой. В шестидесятые годы вышли «Записки семинариста» И. Никитина, «Очерки бурсы» Н. Помяловского, не вызывавшие сомнения в том, что основа их — биография самого писателя.

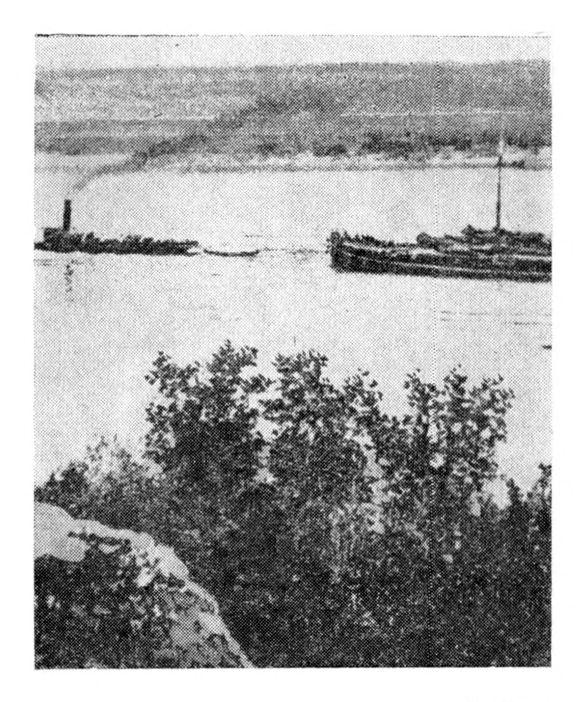
Во второй половине шестидесятых годов и начале семидесятых этот жанр заглох. Но развитие народнического движения, захватившего сотни, если не тысячи разночинцев, сделало актуальным вопрос: а как же формируются эти рвущиеся к справедливости, социальному братству люди, готовые на смерть? Кирпищикова пыталась ответить на этот вопрос, выдвинутый временем.

После 1866 года политическая реакция стала ощутимой, давящей. В среде той разночинной интеллигенции, которая в конце пятидесятых — шестидесятые годы жила ощущением обновления России, поняли, что ожидания напрасны. Многие

замкнулись, кое-кто поправел, кто-то остановился в растерянности. Писательница была сформирована подъемом общественного самосознания, но и она видела, что развитие пошло не в том направлении, в каком хотелось. Опыт формирования передового массового сознания как будто оказался ни к чему. Видимо, к давлению горькой нужды присоединялась известная растерянность: о чем же писать? Но в семидесятые годы обнаружилось и иное: движение шестидесятых годов, очистившееся от нестойких участников и союзников, обрело силу. Обнаружилось также, что наблюдавшиеся еще при крепостничестве и сразу после отмены крепостного права проявления народного протеста, в частности выступления рабочих на заводах Урала, не затихают, а приобретают лишь иное содержание и формы.

Писательница особенно остро почувствовала связь между истинными передовыми шестидесятниками, на идеях, мыслях, понятиях которых воспитывалась она сама, и революционерами семидесятых годов, когда ее младший брат Александр Быдарин был арестован, привлекался к следствию по делу о пропаганде на Каспийских рыбных промыслах, был выпущен и снова арестован за то, что вел революционную деятельность в украинском селе. Когда А. А. Кирпищикова приезжала в Петербург, решался вопрос о его судьбе. Появление ее в редакции «Отечественных записок», таким образом, было связано не только с литературой. Она хотела помочь брату, который был на 12 лет младше ее и воспитывался при ее участии.

Как вспоминал В. Г. Короленко, ему пришлось встретиться на этапе с братом А. А. Кирпищиковой. В комментариях к «Истории моего современника» указывается, что Быдарин был приговорен к пяти годам каторги и последующему поселению в Сибири. Из Сибири революционер бежал, был схвачен и отправлен в Якутск. Как пишет Короленко, он уцелел, этот бывший крепостной из Прикамья, и после 1892 года предлагал журналу



На Каме.

«Русское богатство» свои воспоминания о пропагандистской работе в народе. По цензурным условиям очерк его не мог быть напечатан.

Но надо ли так подробно говорить о брате писательницы, когда мы знакомимся с ее биографией и творчеством? Надо. Вот что замечательно. В 1878 году у Салтыкова-Щедрина находился еще один рассказ Кирпищиковой «Петрушка Рудометов». И этот рассказ, напечатанный в двенадцатом номере журнала «Отечественные записки», она

почти вызывающе подписывает: *А. Быдарина,* таким образом выражая солидарность с братом-революционером. Впервые появилась писательница Быдарина, и ее появление совпадает с расправой над человеком, кому она сочувствует не только как сестра, но и как истинная шестидесятница, не потерявшая веры в высокие идеалы свободы.

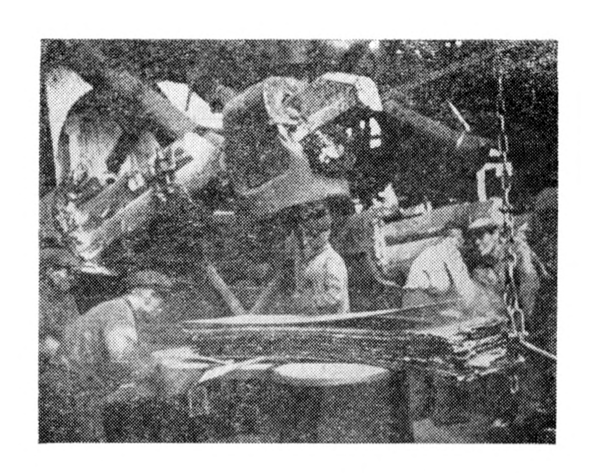
Но возвратимся к воспоминаниям писательницы, ее рассказу о «прошлом» и «недавнем». Стоит задача осознать положение рабочего с позиции близкого к нему человека, понять вопросы, которые перед этим рабочим встают.

Героиня воспоминаний Софья, от имени которой ведется рассказ, рано знакомится с цехами, «фабриками», как их тогда называли, видит работу кричных мастеров, чувствует их человеческое тепло. Побывает она и на подземных выработках в руднике, и ее поразит, в какие неудобные условия поставлен рабочий, вынужденный с тачкой почти ползком пробираться по узкому штреку только из-за того, что все силы были направлены на добычу руды. А расширить проход, поднимая на поверхность пустую породу, владельцам, управляющему невыгодно. Такова «рационализация», определяемая системой эксплуатации.

Видит Софья и весенний сплав барок, подобный изображенному в «Подлиповцах». Она находит свой ракурс изображения, не повторяя предшественника.

Очерки рассказывают, как взрослеет и усваивает чувство социальной ответственности дочь крепостного, живущая в среде рабочих.

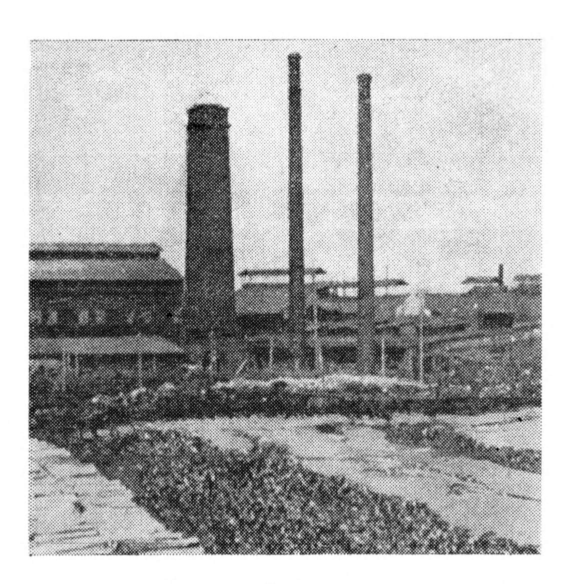
Ее отец управитель завода. Это ставит его в положение «начальства», но по безысходной зависимости от управляющего, каприза владельца он подобен любому крепостному. Примечательно, что Кирпищикова сумела передать мысль — меняются формы зависимости, но не самое порабощение человека. Ее рассказ о временах крепостнических не носит характера чисто исторического повествования.



В Чермозском заводе.

Нельзя не запомнить образы старого рабочего Кузьмы, с которым жестоко расправляется управитель, и равнодушного к нуждам рабочих помощника управителя Егора Моисеича.

Центральным событием «Прошлого» является стачка рабочих, протестующих против выдачи плохой муки. На крепостнических заводах, кроме заработка, владелец был обязан выдавать определенное количество муки на рабочего и членов его семьи. Не приходится напоминать, что стоимость муки с лихвой взыскивалась с рабочих, заработок которых устанавливался управителями с учетом затрат и на хлеб. Но такая система облегчала положение уральских рабочих, поскольку избавляла их от власти купцов, которые могли наживаться на голоде. Стачка стихийна, в картинах ее обнаруживается неразвитость сознания мастеровых крепостной эпохи, готовность кончить все «полюбовно», однако писательница замечает, что произволу администрации противопоставлена коллективная воля рабочих, а она — сила.



Одна из «фабрик» Чермозского завода.

Рисуя коллективный портрет мастеровых, любовно отмечая своеобразие отдельных лиц, писательница уделяет много места исследованию души простого человека. Данила, обижаемый людьми и женой, добрый и ласковый, хотел взять в семью девочку, мать которой ссылали на каторгу за убийство свекра. Решительный отказ жены перевертывает его душу. Он погибает. Здесь писательница уже далека от сентиментальной мысли, что и «простые люди» умеют чувствовать. Она показывает сложную душу человека, душу, трагедия которой обусловлена условиями социального быта.

«Недавнее» завершается короткой информацией о «воле». Писательница далека от либеральных ликований по поводу «свободы»». Она сухо

Приговор по делу И. М. Ромашова.

передает толки и разговоры, где главным было — ожидание чего-то нового.

Та часть трилогии-воспоминаний, которая не могла быть напечатана Салтыковым-Щедриным, дожидалась своего часа еще десять лет. В 1889 году она была напечатана в «Екатеринбургской неделе» под заглавием «Двадцать пять лет назад». Это заглавие отмечало дистанцию между выходом произведения в свет и теми событиями, какие отразились в повествовании. В примечании редакции было указано, что, «представляя собой самостоятельное целое», воспоминания «в то же время служат продолжением произведения почтенного автора «Недавнее» и «Прошлое», печатавшегося в «Отечественных записках» в 1876 и 1877 годах».

В этой части трилогии особенно отчетливо видно, что перед нами не безыскусные записки, ме-

муары, а художественное произведение, части которого подчинены единой идейно-эстетической задаче. Писательница, в частности, затушевывает подлинную топографию места действия, скрыв Чермоз, центр округа заводов Лазаревых, под именем Кужгорта. Она поместила Кужгорт на реке Койве, которая впадает в Чусовую далеко от Чермоза. Писательница хочет, чтобы читатели видели тип развития, а не характер быта в определенном пункте Прикамья.

Прибегает автор и к хронологическим сдвигам в собственной биографии, отраженной в произведении, чтобы уплотнить повествование, сконцентрировать его вокруг решающих моментов короткого периода между 1861 и 1864 годами. Как известно, ее замужество относится к 1854 году. Повествовательница Софья выходит замуж спустя некоторое время после освобождения от крепостной зависимости. Писательница соединяет материал о своей жизни в Чермозе в 1853—1854 годах с тем, который связан с ее пребыванием здесь уже в шестидесятые годы.

В отличие от либерального освещения реформы 1861 года в повести-воспоминании Кирпищиковой мы встречаемся с очень тонким пониманием, что «свобода» была ограниченной. Больше того, на первых же страницах произведения говорится о том, чем она обернулась: постепенно закрыли клуб в заводе, ликвидировали литературные вечера как крамольные, сузили учебные программы школы. Если когда-то, до «свободы», преподавался предмет «Должность человека и гражданина», то теперь его ликвидировали. Реакция убедилась, что образование не только обеспечивает подготовку более развитых рабочих и местных техников, но и вносит «смуту» в головы юношей.

Либеральная печать охотно славословила новым деятелям российской промышленности, отказавшимся от крепостнических приемов выколачивания прибылей. Кирпищикова же сжато и очень выразительно передает народную оценку этого.



Сплав барок на Чусовой.

Уничтожил новый управляющий все цепи, рогатки, колодки, в которые заковывали «провинившихся». Его называют гуманным. Старый фабричный по поводу этого говорит: «...Это слово к нашим господам не идет! Колодки и рогатки сожгли, а кулак-то ведь остался». Он же иронизирует по поводу модного слова «солидарность», которым требовали обозначить якобы нераздельность и взаимозависимость интересов рабочих и владельцев.

Разоблачает писательница и институт мировых посредников, в которых хотели видеть «защитников» интересов «освобожденных» крестьян и рабочих. Она показывает, что тот, кто должен был вникать в судьбы народа, на деле становится одним из винтиков все того же механизма угнетения.

Большое внимание уделено в повести формированию сознания и быту разночинной интеллигенции, только что вышедшей из крепостного состояния.

Группа заводских интеллигентов читает «Современник», интересуется вопросами политической экономии, проблемами эмансипации женщин. Ориентация на революционно-демократический журнал для Кирпищиковой является показателем истинности их «либерализма». Сигнализируют о направлении, которому следуют герои повествования, и программы литературных вечеров, изображенных писательницей. Вечера эти допускались властями недолго.

Кирпищикова перечисляет ряд произведений, которые вызывали живые ассоциации у людей, помнивших шестидесятые годы. Среди прочитанных на вечерах — публицистические работы и художественные произведения. Интерес привлекло чтение «Лекций Густава Молинари о политической экономии». Дело в том, что упоминание Молинари вело за собой имя Чернышевского, запретное в то время, когда писались воспоминания. Революционный демократ подверг уничтожающей критике построения буржуазного экономиста. Видимо, на вечере знакомились не с самим «Курсом политической экономии» этого ученого, а с рецензией Чернышевского на него, напечатанной в «Современнике» 1861 года.

Учитывая желание управляющего заводами, организаторы вечера включили в программу литературных вечеров «Письма к русским женщинам». Писательница хочет отграничить взгляды своих единомышленников-провинциалов от либеральных, далеко не революционных взглядов автора писем, редактора «Журнала для воспитания» А. А. Чумикова. Журнал ратовал за женское образование, пропагандировал программы семейного чтения, но дальше этого не шел.

Художественная литература на этих вечерах была представлена многими замечательными произведениями. Кирпищикова называет рассказ М. Е. Салтыкова-Щедрина «Гегемониев», открывавший книгу «Невинных рассказов» сатирика. В нем изображен некий «чин», отождествляющий политическую гегемонию с полицейским поряд-



Праздник в Чермозе.

ком. Упомянув стихотворение Я. Полонского «Бэда-проповедник», автор заставляет припомнить его содержание, а оно очень значительно для изображаемого времени. В стихотворении рассказывается, как поводырь обманул слепого проповедника, сказав, что его слушают люди и оставив его в каменной пустыне. Бэда произнес горячую проповедь, пока насмешливый обманщик не сказал, что проповедь никто не слышал. Умолк проповедник, но камни гор дружно ответили «аминь», то есть «истинно». Проповедники передовых взглядов в прикамском заводе тоже убеждались порой, что их горячие речи были «гласом вопиющего в пустыне», но не угасала вера: идут честные слова в глубины народной жизни, и настанет время,

когда народ ответит на них. Безусловным ключом к пониманию настроений и духовного мира героев Кирпищиковой является названная в программе вечеров поэма Н. Некрасова «Несчастные». Зимними вечерами, далеко от столицы, звучали бодрые слова веры в народные силы: «Покажет Русь, что есть в ней люди, что есть грядущее у ней». Они, живущие бок о бок с рабочими, сами зачастую вышедшие из их среды, видели в себе «безымянных героев», которым «спасибо скажут наши внуки».

Кирпищикова верна правде и там, где показывает, как даже самый скромный голос в защиту свободы сейчас же подавляется жесткой рукой «управляющих» как заводом, так и жизнью в целом. Уволен учитель Мохнатин только за то, что в частном разговоре осудил ограбление рабочих, не наделенных во время реформы землей. Уволен с работы врач-поляк. От него избавились и потому, что он был вместе с другими интеллигентами, и за то, что он поляк, а правительство в это время проводило оголтелую травлю самой национальности в связи с восстанием в Польше 1863 года.

Даже священник, которого, кажется, трудно заподозрить в революционности, оказывается «неудобным» для заводоуправления, и оно быстро добивается от архиерея его перевода в другое место «с повышением». Образ отца Петра у Кирпищиковой очень интересен. Такого церковнослужителя ни у кого, кроме пермской писательницы, мы не встретим в произведениях ее времени. Этот священник, склонный к театральности и игре, использует коллективистские и социалистические устремления народа, подводя под них базу из текстов священного писания. Так, он произносит проповедь на тему «Тяготы друг друга несите». Этот призыв одинаково мог быть истолкован и в пользу «солидарности» угнетенных и угнетателей. Рабочие осмысливают его в рамках своих представлений, а попа принимают как проводника их нравственных принципов. Вот это-то качество,

подкрепленное демагогическим стремлением попа играть роль «пастыря», близкого к пасомым, внушает опасения управляющему. Тревога напрасна, прощаясь с рабочими, священник призывает их «покоряться властям». Дух «Современника» отразился и в понимании писательницей роли церкви.

Большая сила правды за простым рассказом о попытке Первушина, одного из заводских служащих, стать на сторону рабочих, быть их защитником и ходатаем. Глубокая убежденность в справедливости дела, которое он защищает, вела его трудными дорогами арестов, судов, административных притеснений к ранней смерти на одном из этапов в пересыльной тюрьме. А хотел этот человек всего только добиться справедливого закрепления за рабочими тех земельных участков, которые они сами расчистили или даже купили, все это по закону о наделении крестьян землей.

Прототип Первушина, как указывает сама писательница в автобиографической записке, — Иван Михайлович Ромашов. Историк М. М. Верховская отыскала в государственном архиве Пермской области подлинное дело, из которого видно, с каким вниманием следила писательница за горькими страданиями защитника рабочих. Он погиб в апреле 1867 года.

В это время Кирпищиковы жили уже в Перми. В повести героиня узнает о его смерти, живя в Кужгорте. Концентрация событий делала их частями художественной повести, а не простой мемуарной записи. Кроме того, пришлось опустить, что скончался герой на этапе после осуждения его на каторгу. В повести он умирает, административно высланный из Петербурга за нарушение подписки о невыезде до суда.

Более сложные формы социальной войны выступают в различном отношении рабочих к «господскому» и «народному». При пожаре дома одного из рабочих многие трудились безоглядно, рискуя жизнью, но когда загорелась чертежная завода, таких добровольцев не оказалось. Причины безразличия к судьбе «хозяйского» добра фор-

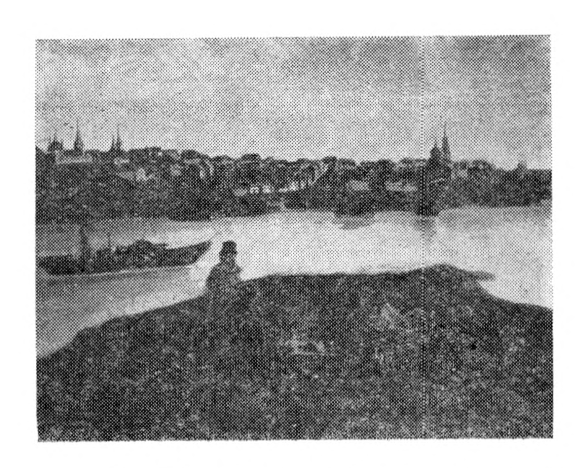
мулирует работница Марянка: «Вчера старались для своего брата-мужика... А сегодня хоть бы все фабрики запластали, так и ведра не принесу... Дедушка на их всю жизнь робил, а умер ныне, так бабушка ни пуда хлеба не получает».

О тяжелых обидах рассказывает Софье изможденная старуха, семья которой разорена: одного сына забрали в рекруты, другого донимали податями, продали за долги скотину, поставили на грань нищеты. В сущности, в одном этом эпизоде раскрывался процесс обнищания деревни, трудящейся до кровавых мозолей, но обдираемой и государством и кулаками. Человек в Российской империи был «оброшен», выражаясь языком Салтыкова-Щедрина, его интересы с государственных счетов скинуты.

А был русский человек, как показывает Кирпищикова, и талантливым и ищущим. Примечателен в этом отношении образ машиниста Аксенова, изобретателя, напряженно стремящегося открыть «вечный двигатель», слесаря Екимова, столь же настойчиво решающего какие-то важные для него вопросы, вплоть до вопроса «о приходе антихриста»: социальная обделенность человека рождала самые фантастические представления, антихрист был для него выражением протеста против более страшных и тяжелых времен. Были среди мастеровых и разумные социальные практики, о которых говорится в повести, способные объяснить свои интересы, попытаться отстоять их, как это делает пудлинговый мастер Седов.

Красочные детали провинциального заводского быта складываются в полную картину прошедшего времени, в глубине которого лежат корни и нашей жизни. Свидетельства Кирпищиковой о жизни прикамского завода шестидесятых годов остаются памятником тех лет, как и архитектура, и умело сделанные еще крепостными мастерами плотины, и красивые народные вышивки, и хватающие за душу проголосные песни.

Совершенно особое место в повествовании занимает глава «Заговорщики». Видимо, Кирпищи-



Вид Перми. Картина неизвестного художника.

кова хотела найти корни «либерализма» шестидесятых годов в явлениях предшествующей крепостнической поры. Со слов тетки Софья рассказывает о так называемом «Обществе вольности», раскрытом в декабре 1836 года в Чермозском заводе. Следственное дело взволновало власти, о «заговоре» было доложено самому Николаю I. По его распоряжению семь человек крепостных служителей, подписавших устав «Общества вольности» или просто знавших о его существовании, были отданы в крепостные батальоны в Финляндию или в полки действующей армии на Кавказ.

Поразительно, что устная память, на которую ссылается автор, не опирающаяся на документы, так много и точно сохранила для потомства знаний о стремлении к свободе, об уставе общества, об основных идеях его членов. В «толках» и «слухах» можно обнаружить и то, что постарались скрыть, но что сквозило в страхе властей, стоящем за строками следственного дела. Губернатор

и чиновники установили, что задуманное молодыми людьми пока не вышло за пределы письменного изложения критики крепостничества. Тем не менее расправа была суровой. Но в устных рассказах передаются слухи, что члены общества «хотели взбунтовать все заводы», «что у них есть там и люди надежные». Это опасение, что даже словесный призыв может зажечь крепостных рабочих и подвигнуть их на решительные формы протеста, и объясняет строгости и попытки изучить, нет ли в округе заводов какого-нибудь чрезмерного «отягощения рабочих». Правда, поручено это было изложить управляющему Поздееву, и жизнь крепостных господина Лазарева предстала совершенно в идиллической форме.

«Слухи и толки» донесли до нас и сведения о предателях: Кирпищикова называет двух братьев Шилохвостовых, скрыв за этой фамилией созвучную — Ширкалины. Это они тянули время, не подписывая устав общества, а потом сказали о «заговоре» управляющему и под его руководством овладели бумагой, которую Поздеев и доставил губернатору.

Образ повествовательницы Софьи в повести предстает во многих гранях. Простота и близость к рабочим, понимание сложных вопросов социальной борьбы и психологии людей, способность проникнуться чужими интересами, как своими, нетерпимость к фальши, ненависть к эгоистическому самоутверждению — все это черты, которые сближают Софью с лучшими женскими образами, воспетыми классиками русской литературы. При этом писательница дала свой собственный вариант женского характера и судьбы, рожденных особенностями развития рабочего Урала.

Рассказ «Петрушка Рудометов», уже лежавший в редакции «Отечественных записок» во время свидания писательницы с Салтыковым-Щедриным, был напечатан в декабрьской книжке журнала за 1878 год.

А. Кирпищикова шла по непроторенному пути, обратившись к личности рабочего человека, худо-

жественно исследуя и переживая беды и порывы, взлеты и падения простого душевного Петруши Рудометова. Его стремление быть «не хуже других» и открытая душевность, честность в отношении к женщине, и трепетное восприятие музыки, спокойная способность быть близким к природе тонко подмечены автором.

Сюжет рассказа построен на противоречии быта и духовных потенций рабочего человека, чья жизнь кончается гибелью от чахотки. Сам же быт — писательница прилагает особые усилия, чтобы показать это, — определен отношениями зависимости, эксплуатации, расчета.

Вскоре после публикации рассказа обстоятельства жизни самой писательницы увели ее в сторону от творчества. Приезд в Петербург и хлопоты за брата-революционера сменились тревожным ожиданием: старший сын, воспитанный в революционно-демократическом духе, становился одним из участников движения. В 1881 году, в волне репрессий после убийства Александра II по приговору «Народной воли», Алексей Кирпищиков был выслан на родину.

Только через год ему удалось возвратиться в столицу. Он писал матери в августе 1884 года: «Ты не как другие женщины, не будешь отговаривать меня от исполнения того, что я считаю своим долгом. Ты, напротив, поддержишь меня, когда не хватит у меня нравственной силы, когда блага жизни и страх за шкуру возьмут перевес над требованием совести».

В 1885 году матери пришлось ехать в Петербург на помощь сыну, который был арестован и сидел в доме предварительного заключения. Полицейский департамент потребовал за освобождение сына «на поруки» тысячу рублей. Такой суммы в руках писательницы никогда не бывало. Поторговавшись, полицейские согласились на пятьсот рублей. Она их внесла. Как это было трудно, знает только она. Сын был с ней, но ему запрещалось поступать на государственную службу, давать частные уроки. Надо было снова изы-

скивать средства к существованию. Трагические перемены произошли в семье младшей дочери, потерявшей мужа. Заботы о двух ее крохотных детях тоже пали на плечи писательницы. Как видно, все не благоприятствовало дальнейшему развитию писательского дарования Кирпищиковой.

В 1879 году на Урале стала выходить «Екатеринбургская неделя», где попыталась найти приют сотрудница «Отечественных записок». Ей было ясно, что позиции провинциальной газеты очень далеки от передовых, но она напечатала там в 1879 и в 1880 годах два рассказа «Луховский мельник» и «Искатели». Оба были подписаны: «А. Быдарина».

После публикации заключительной части трилогии А. А. Кирпищикова напечатала в той же газете повесть «Из-за куска хлеба». В ней глубоко отражены страдания рабочих людей, упадок уральской промышленности, высвобождение от «привязанности» к заводам, не дававшим пропитания, выход уральских мастеровых из «своего» завода в город. Повесть была удачна в деталях, но построение сюжета оказалось несколько искусственным, «притчевым», элементы его — иллюстрациями «к случаю».

Еще менее удачной была повесть «К свету и жизни» — об истории становления личности простой девушки, сделавшейся учительницей. Эта обычная для восьмидесятых годов сюжетная схема. Не было здесь ощущения подлинности жизни. Повесть как бы рассказана с чужих слов. Более ярким был рассказ «Екатерина Алексеевна», особенно интересный тем, что в нем повествуется о некоторых моментах жизни одного из самых замечательных крепостных театров Прикамья — театра в селе Ильинском. Мешает в нем лишь натуралистичность некоторых подробностей и недостаточная объясненность характера центральной героини.

В книге А. Кирпищиковой «Повести. Рассказы. Очерки» (Пермь, 1956) М. М. Верховская напечатала оставшуюся незавершенной и неопублико-

ванной при жизни писательницы повесть «Фельдшер Крапивин», где та попыталась, во многом удачно, развернуть ряд эпизодов трилогии.

После этой повести, которая была, видимо, написана в девяностые годы, писательница больше ничего не создала.

Скончалась А. А. Кирпищикова в Перми 17 июня 1927 года.

В мае 1926 года общественность Перми, по инициативе Кружка по изучению Северного края при Пермском университете, отметила шестидесятилетие творческой деятельности писательницы. Доклад о ней сделал профессор П. С. Богословский. Анна Александровна сидела в президиуме, маленькая, скромная, какая-то высохшая, растерянная и радостная. У присутствующих возникало ощущение прямой связи современности и той напряженной эпохи, времени деятельности Некрасова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина.

Сегодня произведения А. Кирпищиковой — живой документ ее эпохи. Прошлое, воссозданное писательницей, — наше прошлое — помогает нам понять ход истории, ощутить связь времен, трепетно приобщиться к душе человека минувшего времени, нашего предшественника на земле.

И. А. Дергачев,
доктор филологических наук



КАК ЖИЛИ В КУМОРЕ

Повесть

I

Славный весенний вечер. Солнце уже низко, и его теплые золотые лучи, пронизав густые ветви лип и берез, ещё покрытых цветом, уперлись в стену большого бревенчатого здания, называемого конским двором. Лицевая сторона этого здания симметрично прорезана тремя широкими дверями, запиравшимися толстыми железными полосами и большими висячими замками. Одна из этих дверей была отворена, и перед ней, на рундуке из толстых брусьев, сидел старик и починивал сапог. Лицо старика все было покрыто множеством мелких морщинок, сильнее сгущавшихся у углов рта и глаз, и носило на себе отпечаток

трудовой жизни, сопровождаемой заботами и лишениями. Небольшая курчавая бородка, в которой еще виднелись кое-где темные волоски, соединялась на висках с такими же волосами и резко отделялась от его открытой коричневой шеи. Глаза у него были небольшие, белесоватые, будто выцветшие от времени, но не совсем еще утратившие свою подвижность и выразительность. Кротко и любовно смотрели эти старческие глаза из-под седых бровей; терпение и благодушие выражалось в них и во всей фигуре небольшого, но крепкого и бодрого старика. Он был в белой холщовой рубахе и таких же штанах, из-под которых высовывались широкие ступни пожелтевших и растрескавшихся ног. Какими-то безобразными наростами торчали ногти на ножных пальцах, да и самые пальцы имели странную форму искривленных четырехугольников, несколько суженных у основания. Видно было, что не знавали эти мозолистые ноги другой обуви, кроме лаптей с баклушами, да разве изредка, в праздники только, обувались они в жесткие, точно из железа выкованные сапоги, подбитые чуть не вершковыми гвоздями, от которых остались глубокие знаки на толстых, покрытых мозолистыми наростами пятках. И не один год служили эти сапоги своему хозяину, но наконец износились же они. Сначала у одного сапога распоролся боковой сшивок. Помочил его старик, зашил и думал носить еще долгое время, как у другого сапога отпала подошва. Опять старик положил в воду свой сапог, приготовил крепкую дратву, выбрал острое шило

и, вытащив сапог из воды, попробовал подошву шилом. Жестко, точно железный пласт. Уж, кажется бы, и острое шило, а не берет. Пришлось оставить сапог в воде до вечера, и только вечером мог он наконец приняться за свою работу. Прокалывая подошву, он плотно сжимает губы и наморщивает брови, точно думает прибавить этим силы своим неуклюжим, выпачканным в дегте пальцам, и щурит глаза, продевая дратву, и кряхтит, и стискивает зубы, стараясь продернуть ее с быстротою и ловкостью, свойственными коренным сапожникам. Весь погружен он в свое занятие, и ничто не может привлечь его внимания, кроме разве ржания застоявшихся жеребцов, смотреть за которыми была его обязанность. Уж несколько времени из лесу, с левой стороны от конского двора, слышна заунывная песня и потрескивание сухих веток; но старик не слышит их и не видит, как вышел из лесу молодой, двадцатилетний парень в таком же наряде, какой был на старике, с тою только разницей, что голова парня была покрыта истасканной фуражкой, а ноги обуты в дырявые коты, привязанные у лодыжки толстыми шерстяными шнурками. Он подошел к старику и несколько времени молча стоял возле рундука, где сидел старик.

— Что, починил? — спросил парень, когда тот продернул дратву в последний раз, связал ее узлом и отрезал.

— Починил, Гришенька, починил, — весело отозвался старик, поднимая голову и самодовольно поглядывая на парня, появление ко-

торого, по-видимому, нисколько не удивило старика.

— Починил, — продолжал он, весело разглядывая свою работу, — теперь крепко будет, ни вовеки не отпорется, потому дратва во какая здоровенная!

И он показал концы своей здоровенной дратвы парню.

— У тебя что это коты-то, не распоролись ли? — добавил он, поглядывая на ноги парню. — Давай подошью, вот и дратва осталась.

— Ну, это дыра; лопнули, значит. Не стоит починять, потому худы очень. Так только в лес надел, чтоб ног не кололо.

Говоря это, парень поднял свою ногу и и подставил ее чуть не к самому носу старика. Тот посмотрел и, увидев, что действительно починять не стоит, стал убирать шило и дратву.

— А где серуха ходит? — спросил старик, вставая и уходя в отворенную дверь.

— Здесь, недалеко, — ответил парень, — слышь, побрякивает? Это она.

— Ты разве брякунцы на нее навязал?

— Навязал, потому больно она лукава, без брякунцов ее и не сыщешь; затянется в самую глушь, да и стоит не ворохнется, только ушами прядет, я этта сколько места обегал, искал, а она тут и есть — у Лысой горы ходит.

— А игренько где? — продолжал спрашивать старик.

— Игренько тут, у озерка.

И он показал рукой, где ходит игренько.

Старик опять уселся на прежнее место и снова принялся рассматривать и разглаживать рукой починенный сапог. Парень сел возле него, и оба несколько времени молчали. Налюбовавшись своей работой, старик поставил сапог возле себя, поглядел искоса на парня, поглядел кругом, как-то особенно сжал губы, будто собираясь заговорить, и опять искоса взглянул на своего собеседника. Тот упорно глядел в землю; его молодое красивое лицо было озабочено какой-то неприятной думой, густые и прямые, как палки, брови нахмурились, широкий лоб наморщился. Он глубоко вздохнул, тряхнул головой, снял свою истасканную фуражку и сильно почесал свои густые русые волосы.

— Что вздыхаешь тяжело? — спросил старик опять, с участием поглядывая на парня. — Скажи-ко, об чем?

— Да что сказать-то? Все я о том думаю, как бы мне из подконюшенников отпроситься: больно уж это мне не по нутру.

— Ну, ты потерпи маленько.

— И рад бы потерпеть, да коли терпенья нет, так что ты пособишь, — с досадой сказал парень, сердито тряхнув головой. — Ты сам посуди, дедушко Савелий, — продолжал он, оборачиваясь к старику, — что сколько я здесь ни живи, ничего путного не выживу. Пятой месяц пошел, как я здесь, а котов купить не на что; плата больно малая; опять же и от работы я здесь отвыкну. А мне теперича во как робить надо, я теперь только в силу вхожу и должен учиться робить. Ведь как бы я хорошень-

ко-то зачинал робить, может, скоро бы подмастерьем стал, а здесь что я выживу? Одежи завести не на што. Коло дому что поладить — время нет, потому завсегда при тебе должон быть, дома почти што и не бываю.

— Ты бы к Василию Миколаичу сходил, отпросился бы, — сказал ему на это старик и поглядел на него искоса.

Парня будто передернуло при этом имени; он насупился пуще прежнего. Кулаки его здоровых, хорошо сложенных рук сжались; он обернулся к дедушке Савелью и поглядел ему в лицо.

— Гостинцу бы ему снес, — прибавил дедушка Савелий, спокойно встретив его сверкающий взгляд.

— Ты подумай, дедушко Савелий, что ты говоришь, — тихо заговорил парень, опуская глаза и, видимо, стараясь побороть в себе мгновенно вспыхнувшее чувство раздражения и злобы. — Рассуди ты, что я ему снесу? Ежели нести какой гостинец, так надо нести хороший, а я где возьму? Опять же и то посуди, что он меня не любит, и, значит, все едино, хошь неси, хошь не неси.

— Не любит за дело, — сказал на это дедушка Савелий, — зачем ты согрубил ему? Не знашь ты тово, што тебе за это, может, всю жисть терпеть причтется? Я Василия Миколаича знаю: он грубости ни в ком стерпеть не может — такой уж нрав у него крутой; он и своему брату не спустит, а ты што против его? Щенок, углан, а туда же, начальству грубость оказывать смеешь. Ты дол-

жон это завсегда помнить, что начальству грубить нельзя; хоша бы он и пьяной был тогда, а ты все должон себя от грубости судержать. Потому — с пьяным и своим братом связываться не надо, а ты, вишь, с начальством спорить стал! Как это можно? И добро бы ты за сестру свою заступился, а то за чужую девку. Да он тебе этого и вовек не забудет — вот помяни мое слово; я его всю природу знаю, и отца его, и брата, все они такие злопамятные.

Старик покачал головой, сострадательно и вместе укоризненно поглядывая на парня. У того по-прежнему был наморщен лоб, сжаты кулаки и стиснуты зубы; в глазах сверкала непримиримая, упорная ненависть. Он молчал.

— Покорись, парень, — заговорил опять старик, — послушайся меня, я те не на худо учу, тогда же я говорил, что сходи, мол, к нему, пади в ноги, може, и простил бы. Ека штука, што хмельной прикащик к вам на вечорку заехал да стал с девками заигрывать. Это и завсегда так бывало, чего тут есть худого? Ничего нету. Потому, коли девка себя смирно ведет, так тут што хошь делай, ничем не возьмешь.

— А зачем он рукам больно много воли давал? — процедил парень сквозь зубы.

— Каку же таку волю он рукам давал? Разве похлопал их маленько, на колени к себе посадил? Так што ж тут такого худого? Разве они с нашим братом не дурят? Не так ишшо дурят.

— Ты, дедушка, на вечорке этой не был и про дело это, стало быть, не знаешь, — сердито сказал парень, еще более рассерженный укорами старика.

— Ну, как не знать, знаю тоже; Грунька-то, кажись, мне мнучкой доводится, — сказал старик, медленно поднимаясь с места, и, поглаживая поясницу, пошел в конюшню. В дверях он остановился и прибавил:

— Ведь хмель его всему причиной был! Кабы не хмелен он был, так поехал ли бы к мастеровому мужику на вечорку? Ты то посуди, голова.

И старик опять сострадательно покачал головой, глядя на парня.

— Пойдем-ко, брат, время уж лошадей на водопой выводить, — прибавил он опять, видя, что парень молчит и не трогается с места.

— Ишь, хмелен был, так и спускай ему все! — с сердцем молвил парень, вставая. — Тешатся они нами, кровопивцы, вот словно мы и не люди.

II

Но дедушка Савелий уж ушел в конюшню и не слыхал этих слов. Из лесу послышался свист, затрещали сухие сучья, и к конюшне подошел другой парень, несколько моложе первого; он вел в поводу славную вороную кобылу.

— Где поймал? — спросил старик, выглядывая из конюшни.

— Да уж за изгородью поймал, почитай што коло однодворки был, там и поймал.

— Ишь, куда ее унесло! — удивлялся старик. — Ставь в стойло.

Парень завел лошадь в конюшню.

— А ты с чего туда кинулся искать-то ее? — продолжал расспрашивать старик. — Я думал, што ты к Круглому пойдешь.

— Я ко Круглому и пошел, да мужик в лесу дрова рубит, так сказал, что видел ее коло однодворки. Я туда и кинулся. Кабы не мужик этот, ни за што бы не найти, понапрасно пробегал бы только.

— Около однодворки, бают, медведица ходит престрашная, — продолжал рассказывать парень, поставив лошадь и помогая старику обуздать рыжего жеребца, ржавшего и скакавшего в стойле. — Тереха бает, что у Луки Веселого телушку задрала третьёва дни.

— А ты где Тереху видел? — спросил старик.

— А я по верхней дороге шел, мимо кирпичного сарая, так там и видел. Прикащик там верхом приехал, надо быть, сюда будет.

— Будет, так стану мужика из поторжных просить себе в подмогу, — сказал старик, — потому с вами нам не справиться, коли за грехи медведь к нам пожалует. Гли, третьёва дни у нас этот сокол-от в лесу ночевал, — прибавил он, хлопнув рыжего по холке, — да и игренько тоже.

— Беда! Уж мы судили это с Терехой. Помнишь, в запрошлом году карька медведь

заел? Какая лошадь была сильнеющая, а вот не могла же убежать! — судил парень, накидывая веревочную петлю на шею рыжку и помогая старику выпятить его из стойла.

Кое-как удалось им вывести хрипевшего жеребца из стойла; тот от дверей вскачь бросился к пруду. Старик и парень крепко ухватились — один за веревку, другой за узду — и волоклись за ним, едва успевая перебирать ногами. Первый парень, между тем, вывел других двух, более смирных жеребцов и тоже пошел вслед за ними. Едва успел старик напоить и привести обратно в стойло своего рыжего соколика, как из лесу, справа от конюшни, послышался конский топот, и скоро к конюшне подъехал верхом на сивой лошади мужчина лет тридцати с небольшим, очень смуглый, с черными глазами и волосами. На нем был коричневый сюртук и круглая поярковая шляпа. В руке он держал крепкую казацкую нагайку.

Завидев его, дедушка Савелий поспешно выскочил из конюшни и низко поклонился.

— Ну что, старик, все ли в порядке? — спросил приехавший.

— Все в порядке, батюшко Василий Миколаич, — заговорил старик, складывая ру́ки на груди и подходя поближе к лошади. — Вот только вороная кобыла сегодня из поскотины выскочила, да Тимка поймал; мужики его натакнули, он и нашел. Теперь в стойло поставили.

Василий Николаевич вынул из кармана папироску и закурил.

— Не будет ли вашей милости, — заговорил старик будто робко, — нарядить к нам мужика из поторжных на подмогу, потому я один с конями справиться не могу, стар стал, а ребята-подконюшенники молоды, опять же и не свычны. Тимка ишшо-таки попривычнее, потому сызмальства в подконюшенниках живет, а вот Гришка — так совсем не свычен к этому делу.

— А ты приучай, — пропустил Василий Николаевич вместе с клубом дыма и как-то подозрительно взглянул на старика.

Тот переступил с ноги на ногу и опять заговорил:

— Я стараюсь, батюшка Василий Миколаич, сколько сил моих есть, одначе все мне одному с имя боязно здесь, потому, сказывают, медведь коло однодворки ходит. Беда, коли до нас доберется.

— А вы к ночи лошадей в конюшню загоняйте, — ответил на это Василий Николаевич, бросая докуренную папироску. — А работника с поторжной я вам дать не могу. И так вас тут трое, этого довольно.

— Ваша воля, Василий Миколаич, как угодно. Я потому молвил, што как теперича у меня сила худая, годы мои старые, да окромя того ишшо я и увечья от этих лошадей много примал, не одинова у смерти бывал, так теперь желательно бы помощника себе поопытнее иметь. Нельзя ли, батюшко Василий Миколаич? — И старик поклонился низко, придавая глазам и лицу просящее, чуть не слезливое выражение.

— Полно врать! Какого тебе еще помощника надо? — сказал Василий Николаевич, поворачивая лошадь. — Вот Гришку и приучай; парень бойкий; слушает ли он тебя?

— Как не слушать, батюшко Василий Миколаич, завсегда слушат, — торопливо заговорил старик, идя рядом с лошадью приказчика, который шажком поехал к лесу.

— Ну то-то, ты смотри за ними, чтобы они даром не жили, — говорил приказчик, похлестывая нагайкой по ветвям лип, отчего его сивая лошадь вздрагивала и пугливо косилась по сторонам. — Да я вот пошлю завтра жердей, так ты вели изгородь, где низка, так поправить, поднять повыше, чтоб лошади из поскотины не выскакивали, да подконюшенников ночевать домой не отпускай — пусть при тебе будут безотлучно.

— Слушаю, батюшко Василий Миколаич, слушаю, — говорил старик, пускаясь бежать вприпрыжку за побежавшей рысью лошадью.

— А работника я вам дать не могу, — добавил Василий Николаевич, делая старику знак, чтоб он возвратился к конюшне.

Пока он объяснился с приказчиком, парни разговорились.

— Дунька сказывала мне, — говорил младший парень, — что Груньку на работу выписали кирпич делать, тысячи две, бает, написали на ее.

— Неужели? — встревоженно удивился Гриша.

— Право, я Дуньку видел, мимо сараю шел. Сказывает, што и нарядник уж сегодня ез-

дил наряжать, да она не пошла; отпрашиваться, надо быть, хочет.

Гриша молчал.

— Ну, робята, теперя надо игренька и серуху загонять на ночь в конюшню, в лесу-то боязно оставлять их, — сказал старик, подходя к парням. — Пойдемте-ко вместе, я только лапти обую.

— Я, дедушка Савелий, хотел было домой бежать, — заговорил Гриша недовольным тоном. — Ты ведь сулился меня ночевать отпустить.

— Не, брат, ночевать нельзя; прикащик не велел вас домой отпускать на ночь, бает, здесь чтобы всем спать. Я было зачинал ему баять, што ты коло лошадей не свычен, чтобы кого ни на есть другого мне дали в подмогу, кто поопытнее, да он и думать не велел — тебя велит приучать; значит, тебе уж отсель не вырваться, — говорил Савелий, глядя на сердитое лицо Гриши с участием и сожалением.

Тот плюнул, накинул пониток и пошел в лес выгонять игренька и серуху. При входе в лес, однако, он остановился и подождал Савелия.

— Ты хоша ненадолго меня отпусти домой сбегать по хлеб, — сказал он, когда старик подошел к нему.

— Ну, ступай, по хлеб сбегай да и мне принеси хлеба: у меня тоже мало; да вели молодушке бурак браги налить.

— Ладно, я живо слетаю, а ты с Тимкой загонишь игренька-то, он тут недалеко ходит.

И Гриша быстро поворотил на тропинку, по которой недавно уехал приказчик. Старик поглядел ему вслед с грустной улыбкой.

III

Описанные сцены, как уже сказано, происходили около конского двора, построенного в трех верстах от завода Кумора, в том самом месте, где глубокий куморский пруд значительно суживается и становится похожим более на речку, чем на пруд. И конский двор и завод Кумор, построенный на речке Куморке, и богатая лесом куморская дача с громадными сосновыми борами, тянущимися на многие десятки верст, принадлежали одному богачу-помещику, владевшему в разных уездах П-кой губернии еще несколькими другими заводами с железными рудниками, лесными дачами и двадцатью тысячами крестьян, из которых половина была приписана к заводам и работала на чугуноплавильных и железоделательных фабриках помещика. Главное управление всеми заводами было поручено вольноотпущенному того же помещика, бывшему дворовому человеку, который жил в самом большом по производительности и населению заводе, называемом Кушгорт и отстоявшем от Кумора верстах в шестидесяти. Сам помещик никогда не жил в своем имении, хотя и посещал его раз в тридцать лет на короткое время, а жил в Петербурге или Москве, где у него были свои дома и при

них особые конторы, которыми заведовал другой управляющий, тоже из его бывших крепостных дворовых людей. Управляющий этот, уже давно отпущенный на волю, хотя и записался в купцы, по-прежнему оставался на службе у своего бывшего барина, был его правой рукой и служил посредником между ним и управляющим заводами. От управляющего заводами он принимал донесения, рапорты и отчеты о делах заводов и докладывал их на рассмотрение помещику.

Управляющий имением хотя и был до некоторой степени в зависимости от московского управляющего, но все-таки имел много власти и, почти бесконтрольно распоряжаясь в заводах своего доверителя, имел огромный вес в губернии, был хороший знакомый губернатора и оказывал даже некоторое влияние на дела губернии. Например, на места исправников и становых назначались только те лица, которых управляющий надеялся иметь у себя в вассальных отношениях. Что же касается помещичьих людей, состоявших под его непосредственным ведением, то все они вполне находились в его власти, трепетали и дрожали перед управляющим больше, чем перед самим помещиком. Заведование всеми другими заводами поручено было приказчикам из дворовых людей того же помещика, называвшимися служителями и состоявшими в ведении управляющего. Обязанности приказчиков состояли в надзоре за исправным действием фабрик, за порядком и повиновением работающих на фабриках ма-

стеровых, за выделкой железа возможно лучшего качества и в возможно большем количестве, а также в заведовании делами контор, которые были во всех заводах. Они же обязаны были наблюдать за правильной рубкой дров и своевременным выжигом и доставкой необходимого для действия фабрик количества угля. За исполнение всех этих обязанностей приказчики получали значительные, по-тогдашнему, денежные жалованья, жили в господских домах, ездили на господских лошадях, держали при себе большую прислугу и имели так много власти, что подчиненный им народ относился к ним с таким же раболепием и страхом, как и к управляющему. Некоторые из приказчиков сверх курса приходского училища, содержимого помещиком в заводе Кушгорте, были посылаемы им для окончательного образования в Петербург, в горнозаводскую школу графини С-вой, где обучались геогнозии, минералогии, геометрии, алгебре и лесоводству.

Приказчик завода Кумора, Василий Николаевич Чижов, с которым читатель уже несколько знаком, принадлежал к числу обучавшихся в горнозаводской школе, и хотя давно уже кончил в ней курс, но приказчиком в Кумор поступил только за два года до начала этого рассказа. Чижов не пользовался расположением бывшего в то время старика-управляющего за свободный, по-тогдашнему, образ мыслей и за суровый, неуступчивый характер, в котором было слишком мало ра-

болепства и низкопоклонничества. Чижов не умел ни льстить там, где это было нужно, ни кланяться с выражением подобострастия на лице, ни наушничать на своих сослуживцев, и если иногда унижался до подобных дел, то делал их так неискусно и с таким нехорошим выражением лица, что за одно уж это выражение состоял на счету людей подозрительных, недостойных доверия начальства. Кроме того, еще за Василием Николаевичем водился порок, строго преследуемый стариком-управляющим, ведшим весьма воздержанную жизнь: он пил запоем. Запивал он обыкновенно после каких-нибудь неприятностей на службе, после сделанной подлости, на которую был вынужден обстоятельствами, после ссоры со своим товарищем по службе, вторым куморским приказчиком Ермаковым, стремившимся захватить всю власть в свои руки, которую до сих пор они делили пополам, и после резких выговоров из правления, которые Чижов в последнее время получал чаще и чаще. В семейной жизни Василий Николаевич тоже не был счастлив. Женился он на дочери бывшей горничной помещика, проживавшей на пенсии в одном из заводов, вскоре по приезде своем из Петербурга, и скоро увидел свою ошибку. Анна Васильевна, его жена, была пустая, бесхарактерная женщина, чванившаяся перед другими своими изящными манерами и умением к лицу одеваться. Горько пожалел Василий Николаевич о том, что связал свою судьбу с такой женщиной, и часто, особенно после вспышек гнева,

чувствовал себя до того несчастным, что впадал в хандру и уныние, продолжавшиеся иногда целые недели и кончавшиеся обыкновенно сильнейшим кутежом. Случалось также, что Василий Николаевич искал развлечения и в интрижках с заводскими девками и женами служащих в конторе. В гневе Василий Николаевич часто не помнил себя, и много народу плакалось на него за наносимые им в сердитый час увечья. Несмотря на все это, Василий Николаевич был самый умный, самый развитой по-тогдашнему и даже самый честный человек из всех своих товарищей, и несправедливое предпочтение, которое оказывал им управляющий, жестоко оскорбляло и возмущало его строптивую душу. Долгое время добивался он места приказчика, подчиняясь людям, стоявшим гораздо ниже его по умственному и нравственному развитию, наконец достиг этого места, но держался на нем на волоске. Лишиться места приказчика считалось и было в самом деле большим несчастьем. Кроме страха лишиться места, строптивость Василия Николаевича укрощало еще и то обстоятельство, что он не имел ни наследственного, ни благоприобретенного, а жить любил на широкую барскую ногу и не только проживал все свое жалованье, но даже состоял всегда в долгу у помещика на довольно значительную, по-тогдашнему, сумму. К расположению долгов Василия Николаевича много способствовали затеи его жены, ее незнание практической жизни и неуменье ни за что взяться, кроме вышивания по канве затейливых узоров. Тяже-

ло жилось Василию Николаевичу всегда, но в 185... году ему жилось особенно тяжело. Замечания и выговоры от управляющего получались беспрестанно, а в последнем предписании, полученном Василием Николаевичем в тот день, по вечеру которого он был на конском дворе, грозили даже донести на него заводовладельцу, а такое донесение влекло за собою непременное лишение места, и хорошо еще, если только лишение места, а то могли быть и другие, гораздо худшие последствия. Все благосостояние крепостного, как известно, вполне зависело от воли и усмотрения помещика. Он мог отдать его в солдаты, сослать на поселение, заставить работать в своих рудниках. Самая меньшая мера наказания состояла в разжаловании из приказчиков в рядовые служители, обязанность которых состояла в развачивании почты между заводами и оказывании услуг всякого рода управляющему, его помощникам, приказчикам и всем начальствующим лицам. Содержание, получаемое рядовыми, было самое ничтожное. Всем этим наказаниям Чижов мог подвергнуться по одному донесению управляющего, хотя бы и самому несправедливому, и не мог на него никуда апеллировать, так как апелляция считалась только усугубляющим вину обстоятельством. Обо всех этих наказаниях Чижов думал в тот вечер, когда возвращался с конского двора, и ни одному из них не хотела подчиняться его строптивая натура; он порешил избежать их всех непременно, избежать во что бы то ни стало. На первый раз он решился

выразить смирение и написать управляющему письмо в самых униженных и льстивых выражениях, просить у него прощения и обещать быть вперед более исправным и преданным слугой.

«Хорошо бы было послать ему при письме живого осетра или пудик свежего меду, да негде взять теперь, — думал Чижов. — Напишу так, а взятку пошлю после», — решил он, принуждая свою лошадь перескочить через высокую изгородь, которой была обнесена поскотина при конском дворе, и пуская ее галопом по дорожке, огибавшей косогор над прудом, к самой куморской конторе, помещавшейся вместе с больницей в большом каменном доме.

У конторы он слез с лошади и, сдав ее рассыльному мальчику, ушел в контору, заперся в особенной комнатке, называвшейся присутствием, и стал сочинять свое просительное письмо.

Когда через час после этого он вышел из конторы, лицо его было мрачно и пасмурно, но не сердито, а скорее печально.

— Пошлите сказать служителю, чтобы готовился ехать в Кушгорт, да скажите Ермакову, что я посылаю нарочного, так не имеет ли он чего-нибудь отправить, — сказал Василий Николаевич, проходя через контору.

— Слушаю-с, — было почтительным ответом конторщика, вскочившего на ноги при входе Чижова.

— Рапорты прикажете отправить? — сказал он уже вслед уходившему Чижову.

— Отправляйте да спросите у Ермакова, нет ли у него к отправке нужных бумаг,— еще раз повторил Чижов и вышел.

IV

Было уж часов десять вечера, когда Гриша подбежал к конторе, и, вместо того, чтобы идти вправо от нее, в верхнюю улицу, к своему дому, повернул налево, миновав дом Чижова, спустился к плотине и, оставляя влево фабрики, побежал по берегу речки, поза огородам, примыкавшим к домам обывателей. У одного из таких огородов он остановился и заглянул в отворенную калиточку, выходившую на реку: молодая, красивая девка с русой косой торопливо поливала капусту. Увидев ее, Гриша осмотрелся кругом и, удостоверившись, что никого нет около, вошел в огород.

— Бог в помочь, Грунюшка,— сказал он, остановившись перед девкой и снимая шапку.

Та вздрогнула и подняла на него серые глаза, в которых выразилось радостное изумление.

— Ах ты, окаянный! Почево ты сюды полез?— заговорила она, весело улыбаясь.— Как это ты подкрался, вор? Я и не слыхала.

— Задумавшись больно была. О чем это ты так задумалась?— сказал Гриша.

— Известно о чем, все об тебе да об твоих речах,— сказала девка, оставляя ведро с водой и подходя к Грише.

— А что об моих речах думать? Худова в них ничего нету, — ответил тот, устремив на нее свои серьезные, умные глаза с выражением какой-то грустной нежности.

— Потому-то и думаю об них, что худова в них ничего нету, — ответила на это девка. — Стала бы я об них думать, кабы в их что худое было!

— А я думал, ты о том задумалась, что на работу тебя выписали.

— А ты от кого слышал, что меня на работу выписали?

— От Тимки. Он бает, что и нарядчик уж был к вам наряжать тебя.

— Был сегодня, да я не пошла. Завтра мать хочет идти отпрашивать к Чижову, гостинцы хочет нести.

— Не примет ведь, варнак этакой. Это он по насердке тебя написал в регис, беспременно по насердке, — сказал Гриша угрюмо.

— Не доймет он меня этим, — сказала Груня с энергическим жестом. — Невелика беда две тысячи кирпичей вытоптать. Все другие девки таки же, как я, да робят тоже; пойду и я.

— Так-то так, да все жалко мне тебя, Грунюшка, — заговорил Гриша, подвигаясь к Груне поближе и ласково заглядывая ей в глаза. — Кабы моя была воля да сила, откупил бы я тебя от всякой работы, посадил бы за стеклышко да только поглядывал, и то еще не каждый день, а только по праздникам.

Груша рассмеялась.

— Ты бы спросил прежде, еще сяду ли я? — сказала она. — Не из таких я, кои за стеклами-то сидят.

— А все мне тебя жалко, — продолжал Гриша тем же ласковым и грустным тоном. — Ноги ты свои должна в глину до колена увязить, и целый день должна ты месить ее. Вот попробуешь, узнаешь, каково это легко. У меня мать прежде кажный год по две тысячи вытаптывала. Бывало, голосом завоет, как придет домой-то, ногам-то места изобрать не может.

— Ну, мне легче будет, потому я девка, — ответила на это Груша. — Бабам, известно, завсегда уж робить тяжелее, чем девкам.

— Это все едино, — что девкам, что бабам робить, потому тут нужна сила, а у вас какая сила? Вот как увязишь ноги-то в глине да не сможешь вытащить, тогда что будет? — пошутил Гриша.

— Эк что выдумал! Ног не смогу вытащить! Да ты с чего меня за такую худосильную считаешь? Хошь, я те на землю брошу?

И Груня, неожиданно обхватив своего собеседника обеими руками, старалась побороть его, но Гриша устоял, и сам, обняв ее за талию, крепко прижал к сердцу.

— Пусти, пусти! — встревоженно заговорила Груня, отбиваясь от него и отворачивая лицо, на которое сыпались горячие поцелуи. — Что ты делаешь? Ну беда ведь, коли кто увидит! Ночи светлые.

— Полно, не бойся, кому видеть, все уж давно спят, и чего ты боишься? Ведь я-то по-

целую только, не убудет ведь тебя? Во как я люблю тебя, Грунюшка, во как!

И он всё крепче жал к своей груди, все горячее целовал.

За огородом послышалось хихиканье; Гриша поспешно выпустил свою подругу и присел на межу, а она побежала к плетню и выглянула в калитку. За огородом скакал на одной ноге кудрявый мальчишка лет девяти и смеялся.

— Ты чего по-за огородам-то шныряешь, постреленок? — закричала на него Груня. — Разве не слыхал, что мать ужинать звала?

— Слыхал.

— А слыхал, так что ж нейдешь?

— А ты что нейдешь? — переспросил мальчик.

— Да видишь, капусту поливаю; полью, так и пойду.

Мальчик опять громко засмеялся и, показав Груне кукиш, убежал на берег и стал бросать гальки в воду.

— Вишь, постреленок, напужал до смерти! — говорила Груня, возвратясь к Грише, все еще сидевшему на меже. — Я думала, и невесть кто идет, а то Митька-углан шныряет, как заяц.

— Смотри, он скажет твоим-то!

— Не, не скажет, не велю. А ты чего тут сидишь? Убирайся-ко домой, пора уж.

— Рано еще, Грунюшка; сядь, посидим маленько, поговорим, еще ничего не говорили. Может, долго не видаться, потому мне безотлучно велено на конюшне быть.

— Ну, ладно, ино сяду. Только чур не озорничать, рукам воли не давать, — уговаривалась Груня, садясь возле него на межу.

— Да ведь сама же ты зачин сделала, — сказал ей на это Гриша улыбаясь, — я бы сам собой не смел.

— Вишь какой несмелый! А тебе кто сказал, что меня на работу выписали? — круто поворотила Груня разговор.

— Сказал я, что от Тимки слышал.

— А Тимка от кого?

— Ему Дунька сказала. Он ее под сараем видел.

— А она тоже робит?

— Робит, третий день уж робит!

— Ну, вот видишь. Она со мной одногодка, а ее тоже робить выгнали, значит, и меня уж не ослободят.

— Тебя бы ослободить можно, потому ты одна дочь, а у Дуньки две сестры уж с ее же. Не ослободит он тебя разве по насердке только, — сказал на это Гриша задумчиво.

Несколько времени они оба молчали.

— Станет он ездить там, смотреть, как ты в глине-то топтаться будешь, — заговорил опять Гриша, — будет на тебя кричать, командовать над тобой.

— А что ему надо мной командовать, коли я во всем буду исправна? Не бойсь, я в обиду не дамся.

— Ох-хо, Грунюшка, больно мне тебя жалко. Когда уж это осень-то придет: по осени я беспременно тебя сватать буду. Вот разве не отдадут тебя за меня.

— Отдадут, беспременно отдадут, — отвечала на это Груня уверенным тоном.

Заскрипела верхняя дверь, которая вела в огород из двора, и испуганная Груня поспешно вскочила и схватила ведра, а Гриша шмыгнул в калитку и бегом пустился по тропинке под огородом.

В огород вошла сырая, приземистая баба с простоватым широким лицом. Это была мать Груни.

— Грунька! — крикнула она, остановившись у дверей. — Что ты долго домой-то нейдешь? Ведь уж ночь на дворе-то, отец ругатся.

— Я капусту поливала, — отвечала Груня, — сейчас буду, вот только Митьку созову, он под огородом бегает.

— Ах он постреленок! А я ево на улице смекаю. Тащи его, углана, домой; давно уж спать пора.

И баба вышла из огорода.

— Митька! Ступай домой! — кричала Груня, перегнувшись через плетень и встревоженно оглядывая берег.

Никого не было видно; Гриша уж успел повернуть в переулок; в соседних огородах тоже все было тихо. Только Митька рылся в песке, собирая раковины, занесенные в большую воду с Камы. Груня успокоилась и опять закричала:

— Бежи скорее, постреленок! Мать зовет.

— Иду, — отозвался, наконец, мальчишка и, высыпав раковины, вприпрыжку пустился к огороду.

— Что ты долго бегаешь, полуношник? Дав-

но уж спать пора,— ворчала Груня, запирая за братишкой калитку.

— А ты не ворчи, не то я мамке нажалуюсь,— огрызнулся Митька.

— Чево нажалуешься? Чево? Ну-ко, скажи!

— А то и нажалуюсь, что у тебя Гришка Косатченок был.

И Митька, отскочив от сестры, подразнил ее языком и пустился бежать к дому.

— Ах ты, углан вострошарой! — вскрикнула Груня, бросаясь за ним. У ворот во двор ей удалось схватить его в руки, и она проговорила запыхавшись:

— Только смей матери сказать! Я тебе такую волосянку дам, что вовеки не забудешь.

— Пусти! — вырвался Митька.— Пусти, не то мамке нажалуюсь; задень только, беспременно нажалуюсь.

И в голосе Митьки слышались слезы, он начинал хныкать.

— Полно, дурак! Я те не трону, только ты мамке не смей пикнуть; я тебе за это пряник дам.

Лицо мальчика просияло.

— Когда дашь?

— Завтре дам.

— А не обманешь?

— Пошто обманывать? Беспременно дам.

— Ну ладно, я ино не скажу.

— Не сказывай, Митенька, пойдем домой, я тебе молочка похлебать принесу.

И сестра и брат, примирившись, ушли из огорода.

V

В тот же вечер у себя в доме мастер куморской фабрики Сергей Ларионов Набатов, коренастый сорокапятилетний мужчина, с суровым, загорелым лицом, обложенным густой, уже наполовину поседелой бородой, производил расправу над своей дочерью, молодою семнадцатилетнею девкою Натальей: колотил ее своими тяжелыми мозолистыми кулаками по спине и голове, таскал за косу и приговаривал, задыхаясь от ярости:

— Я тебя выучу, подлая рожа, развратничать! Я тебя в гроб вколочу! С живой шкуру сдеру, а стыда терпеть через твои поганые шары не буду!

В азарт вошел Сергей Ларионов. Глаза у него налились кровью, стиснутые зубы скрипели, на посиневших губах выступила пена.

Девка только стонала тяжелыми грудными стонами и даже не пробовала отбиваться. Лицо у ней было в крови, кровавые пятна виднелись на полу. Не слыхал Набатов торопливых шагов в сенях и не видал, как отворилась дверь в избу и сосед его, Тимофей Рясов, высокий русобородый мужик, торопливо вошел в избу и остановился у дверей, пораженный ужасом. Сергей Ларионов только тогда почувствовал присутствие третьего лица в своей избе, когда пришедший захватил ему руки и сказал, стараясь оттащить его от полумертвой девки:

— Полно, Сергей Ларивоныч, перестань, ведь ты ее изуродуешь.

— Не тронь! — заревел Набатов, вырываясь из сильных рук Тимофея Рясова. — Я убью, я ее живую из избы не выпущу!

— Ну, убить ты ее не убьешь, а изуродовать можешь. Только не дам я тебе этого греха на душу взять, — говорил Рясов, обхватив Сергея Ларионова и стараясь посадить его на лавку, что и удалось ему после недолгой борьбы.

Девка, между тем, пользуясь свободой и руководимая чувством самосохранения, поползла к двери.

— Куда ты, бесстыжая? — закричал Сергей Ларионов и опять рванулся к двери.

Но Тимофей Рясов удержал его, и девка выползла в сени. Когда предмет гнева Сергея Ларионова скрылся от него с глаз, самый гнев его стал утихать. Он сидел на лавке, опустив голову, и тяжело дышал. На нем был накинут понито́к сверх пестрой холщовой рубахи и кожаного запона; порыжелая поярковая шапка валялась на полу. Видно было, что Набатов или только что пришел с работы, или собрался идти на работу.

— Не дело ты делаешь, Сергей Ларивоныч, — заговорил мужик, притворив дверь за уползшей девкой и не спуская глаз с Набатова. — Этак родителю поступать не след.

— А ты что за судья такой? — с сердцем спросил Набатов, отирая рукавом свой широкий морщинистый лоб. — Кто те спрашивал не в свое дело соваться?

— А что бы ты думал, кабы убил ее? — сказал Рясов тоже сердитым тоном.

— Не вдруг их, поганых, убьешь, живучи они, как кошки, — заговорил на это Набатов, подвигаясь к окну и отворяя его.

Ему было душно; лицо его было сине-багрово; он расстегнул ворот своей рубахи и, высунув голову за окно, несколько раз глубоко вздохнул.

— Неладно ты делаешь, Сергей Ларивоныч, — опять укоризненно заговорил Рясов, — ведь ты за ее под суд попасть можешь!

— Кто сказал? Под какой такой суд? Дела никому до меня нету, потому я свою дочь учу, свою плоть наказую, значит, и знать никого не хочу, — все еще гневно отвечал Набатов.

— Учить-то ты ее должен, это точно; что должен, да не этак, по-зверски, а тихонько, да не после время, а спервоначалу, когда она в разум входила.

— А разе я ее не учил? Разе не наставлял я ее добром? Ведь она одна у меня только и есть. У, убью я ее, негодную! Острамила она меня, стыд мне теперича, стыд!

И Сергей Ларионов завыл воем, похожим на рычание дикого зверя. Тимофею стало жалко его: он сел на лавку неподалеку от дверей и, оглядывая пол, испещренный кровавыми пятнами, придумывал, что бы сказать ему в утешение.

— Охо-хо! — стонал Набатов, закрывая лицо руками. — Стыд моей голове, стыд! Никуда мне теперь глаз показать нельзя, стыд да и только!

Рясов только крякнул и молчал, повесив голову.

— И ведь какая девка была разумная, смиреная, воды не замутит! Думано ли, гадано ли, что ей такая беда приключится? Покарал меня бог за мою гордость: охоч я был над людьми смеяться да мудрять их — вот за то меня бог и нашел! — сокрушался Набатов, продолжая стонать.

— Что делать! — промолвил Рясов вздыхая. — Теперя уж ничего не поделаешь, пролито — полно не живет.

— Веришь ли, Тимофеюшко, что кабы я бога не боялся, так взял бы вот да голову в петлю и сунул, таково мне тяжко.

— Как не тяжко! Известно дело, хошь до кого коснись, всякому тяжко! — задумчиво молвил Рясов и потом прибавил, желая переменить разговор: — Ты разве не знал до сегодня, что она брюхата?

— Где знать-то? Ничего не знал.

— Кто же тебе сказал?

— А Кучко, вот кто и сказал. Окроме Кучка, разве мне смеет кто такие речи говорить? Никто не смеет.

— Когда он тебе сказал?

— А вот сейчас. Иду я на работу, в фабрику, значит, а он и попади мне навстречу, — стал рассказывать Набатов медленным, глухим голосом, точно насильно выдавливая слова. — Остановился, шапку снял кланяться. Я иду, будто не вижу, — знашь ведь, что мы сыздавна во вражде с ним. «Что, — бает, — Сергей Ларивоныч, не кланяешься аль загордел больно? Что с прикашшиком породнился, так нашим братом уж брезговать стал!» А сам

хохочет, рыло на сторону своротил. Меня точно обухом треснуло: я так и стал. «Говори, к чему ты такую речь завел?» — «А к тому, — бает, — что скоро, де, у тебя внучек будет, прикашшицкий сынок; вари пиво, — бает, — я проздравить буду». Я боле и слушать не стал; хотел было ему в рожу дать, да рука не поднялась, заворотился и побежал домой. А она сидит вот тут на лавке, голову повесила. Стал я против и гляжу, еще слова единого не вымолвил, а она бух в ноги: «Батюшко, прости! Не погуби! Виновата!» Тут уж я и себя и не вспомнил.

Набатов опять тяжело застонал.

Рясов молчал, качал головой и поплевывал в сторону.

— Замечал я давно, — снова заговорил Набатов, — что с девкой что-то неладно: прямо она в глаза не взглянет, идет мимо тебя — сторонится, вот словно боится завсегда, одначе все я этова в ей не думал... Охо-хо! Горе мое, горе!..

— Однако и зол же ты, Сергей Ларивоныч, ведь ты изуродовать мог, — заметил Рясов.

— Како изуродовать, до смерти убить хотел. Кабы ты не пришел, беспременно бы ее убил, потому я как в злость войду, то себя не помню. Ты скажи ей, Тимофей, чтоб она мне теперя на глаза не казалась, потому я в себе не властен, — добавил Набатов тихо.

— Да куда же она денется? — спросил Рясов, озадаченный этими словами.

— А хошь куды, хошь в омут головой, и то не пожалею. Не дочь она мне теперя, и я ей

не отец; так ей и скажи,— проговорил Набатов, опять вспыхнув гневом.

— Нет, это ты не дело говоришь,— ответил на это Рясов озабоченным тоном.— Право слово, не дело. Ну что ты думаешь, как она на себя руки наложит? Ведь ты тогда в ответе будешь. Ты то посуди, что теперя ведь не пособишь, назад не воротишь. Что ее понапрасно-то увечить? Брось, скажи, что не тронешь больше.

— А ты думаешь, легко мне ее бить?— сказал Набатов в порыве опять сильно подступившего чувства.— Ведь моя плоть она, ведь сам знаешь, как я ее любил, души не чаял. Сорок пять лет я на свете прожил, а экие муки до сегодняшнего дня не примал. Было горе, как жену хоронил, да и то не столько было тяжко. Другое дело — погорел; помнишь, как я в полымя-то бросился по Натальку, на руках ее вытащил чуть живую, сам чуть в дыму не задох. Изба обнялась пламенем, приступу нет никому, все мое добро погорело, а я стою да молитву творю над Наташкой: «Слава тебе, господи, слава тебе, девка-то у меня жива осталася!» И то горе, значит, было не горе, лишь теперя оно меня, настоящее-то горе, сустигло. Охо-хо! Легче бы мне ее мертвую видеть!

Застонал опять Сергей Ларионов и, стиснув кулаки, скрежетал зубами.

— Всякой над ей теперь в глаза надсмеется, надругается всячески, а она знай молчи да принимай все!— сокрушался Набатов, ломая руки.— Мастера-то Набатова дочь непотреб-

ной девкой стала, за худыми делами пошла! И хошь бы со своим братом связалась, а то...

И он, не договорив, вскочил с лавки, как раненый зверь, и кинулся на улицу. Рясов бросился за ним и настиг его уже в другой улице.

— Куда ты, Сергей Ларивоныч? — спросил он, хватая его за плечо.

— Не трожь меня, я робить пошел, — ответил Набатов глухим голосом и, сердито высвободив свое плечо, ускорил шаги.

— Без шапки, без рукавиц! — промолвил Тимофей, разведя руками.

Дойдя до фабрики, он послал мальчика к Набатову за рукавицами и наказал ему сказать Наташке, чтоб не боялась, что отец больше бить не будет.

— Да забеги, скажи моей бабе, чтоб она сходила Наташку проведала, — добавил Рясов вслед убегающему мальчику.

Всю ночь Рясов следил за Набатовым. Горны были у них рядом, так же, как и до́ма, и следить ему было удобно. Набатов же ни разу не поглядел в сторону, ни с кем не промолвил слова; да, правда, никто и не заговаривал с ним. Градом катился пот с его загорелого лица и тут же высыхал от жару; с лихорадочной энергией работал Набатов эту ночь у своего горна, ни разу не присел отдохнуть и только воды выпил несколько ковшей. Подмастерью Набатова принесли из дому пива, хотел было он попотчевать мастера, да робость напала, не посмел: очень уж злое было лицо у Набатова в эту ночь.

VI

На другой день жена Василья Галкина, дочь старика Савелья и мать Груши, наложила в лукошечко сотню яиц, покрыла их тонким узорчатым полотенцем и пошла к Чижову отпрашивать дочь от работы, но не застала его дома. Велели ей подождать. Села баба на крыльцо, поставив подле себя лукошко с яйцами, и ждала с час, задумалась и не слыхала, как Чижов подошел к самому крыльцу.

— Что тут сидишь? — спросил ее Василий Николаевич.

Галчиха поспешно встала.

— Батюшко Василий Миколаич, не побрезгуй чем богата, прошу покорно, — и она, кланяясь, подавала ему лукошко.

— Что это? Зачем это? — будто удивился Чижов.

— Да вашей милости, Василий Миколаич, нельзя ли девку от кирпича уволить? — пояснила Галчиха, продолжая кланяться и подавать ему свой подарок.

— Нет, матушка, не надо; ведь знаешь, что я ничего не беру, а для вас же я и сделать ничего не могу, — сказал Чижов, всходя на крыльцо.

— Сделай милость, родимый, уволь. Девка молодая, не в силе еще, где ей две тысячи вытоптать, — умоляла Галкина слезливым тоном.

— Ступай сама, коли дочери жалко, ты еще сама работать можешь, — сказал ей на это Чижов и пошел в комнаты.

Галчиха направилась было за ним. Чижов остановился в дверях и сказал, полуобернувшись и несколько возвысив голос:

— Не ходи напрасно: сказано — не могу уволить. Ступай-ко лучше домой да скажи ей, чтоб завтра непременно на работу шла.

И он ушел, сильно хлопнув дверью.

Постояла Галчиха с своей ношей в руках, потерла сухие глаза кулаками, покачала головой и пошла домой, повторяя в уме: «Не откупишься уж! Ничем не откупишься! Видно, не миновать!»

У ворот своего дома она встретилась с Груней.

— Не принял? — спросила та, взглянув на лукошко с яйцами.

— Нет, дитенок, не принял, — грустно ответила Галчиха. — Велит завтра беспременно на работу выходить.

Груня сердито хлопнула воротами.

«Ишь, подлец, чем донять хочет, — подумала она, сверкнув глазами, — да не доймет, не на ту напал!»

И она так сильно затопала, поднимаясь по лестнице, что лестница задрожала.

Вошли в избу; Галчиха поставила на стол лукошко и вздыхая села на лавку.

— Что делать, мати, пойду робить. За тысячу нешто по полтине платят? — обратилась Груня к своей опечаленной матери.

— По полтине, дитенок, — ответила та.

— Ну что же, по крайности, не даром; и полтина — деньги, с полу не подымешь, — утешала Груня свою мать и принялась чинить

старый сарафан для завтрашней грязной работы.

Галчиха между тем сидела, повесив голову; и жаль ей было отпускать свою молоденькую Груню на тяжелую работу, но еще больше боялась она, чтоб не прошла про ее дочь худая слава, чтоб не загуляла девка.

«Завсегда она там с мужиками будет, — думала Галчиха, — с девками и всякими гулящими, не усмотришь там за ей, не укараулишь. Девка она резвая; ну куда я с ней денусь, как она понесет? Беда, отец тогда меня со свету сживет: зачем худо смотрела! А где за ими усмотришь! Лукавы они, шельмы, шибко лукавы».

И Галчиха вздохнула и тут же почему-то вдруг припомнила, как сама она, будучи девкой, бегала в Косой переулок повидаться с молодым соседом и как на вопросы своей матери всегда отвечала, что ходила телушку загонять, что телушка у них совсем от рук отбилась: как только выпустишь ее из двора, она учнет скакать по переулкам. И верила ей мать и дивилась, что это с телушкой такое сделалось... «Быть бы беде, — думала Галчиха, вспоминая свое прошлое, — кабы меня той осени замуж не отдали. Горе мне с Грунькой будет, как никто ее ныне свататься не будет, не углядеть мне за ей, ни за что не углядеть. Вон у Набатова дочь загуляла, а какая девка была смирная, степенная, отец-то на ее синему пороху сесть не давал, а теперече что случилось!»

Надумалась Галчиха и заговорила:

— Грунька, ты смотри у меня, с гулящими девками не связывайся, тарабары не разводи, с мужиками не расчекмаривай; они, процинбалы, мигом тебя на смех подымут. Им верить вот на эстолько нельзя (и Галчиха показала дочери кончик мизинца), только и смотрят они, кабы вас обдуть. А ты тараторить да дурить лютая: как раз тебя по пустякам обнести могут.

— Я, мати, коли дурю или играю с кем, так у тебя же на глазах, а по-за глазам я смирная, — ответила на это Груня, не поднимая головы от работы.

— Кабы не так! — вздохнула Галчиха. — Знаю я, каки вы смирные по-за глазам-то. Вон у Сергея Набатова девка уж какая смирная была, да и та вот смыслила же, а отец-то теперь и принимай стыд из-за ее. Ты с ей не баяла: правда, не правда?

— Говорила еще на пасхе, отпирается, говорит, враки. А с той поры я ее не видала, — ответила Груня.

Галчиха вздохнула и помолчала.

— А уж отец-то любил ее — страсть, во всем ей верил, поил-кормил сладко, одевал хорошо, словно служительскую водил. А вот и вышло, что вам, козам, на грош верить ни в чем нельзя. Правду, видно, старики говорят, что бить вас за все надо.

И Галчиха опять вздохнула, думая о том, что не поднимаются у ней руки бить ее красивую, чернобровую Груню.

— Что же ты не бьешь меня? — рассмеялась Груня в ответ на ее вздох. — И била бы.

— Да нечего зубы-то скалить, — сказала Галчиха, стараясь придать своему голосу сердитый тон. — Вот заслужишь, так и побью, поубавлю косу-то, ишь отрастила какую! Смотри, девка, берегись, добром тебе говорю, что коли что худое замечу али от людей услышу, то беда тебе будет: отцу скажу, а он знашь какой, он те шкуру сдерет.

— Да ты с чего на меня напустилась сегодня? — спросила Груня, поднимая на мать вопрошающий взгляд. — Наплел тебе про меня кто али что?

— Никто мне про тебя ничего не плел, а так я говорю, тебе же добра желаючи, — сказала Галчиха ласково.

— Ну, и пустяки говоришь. Поди-ко, я без тебя не знаю.

И Груня принялась за работу. Галчиха замолчала, опять вздохнув о том, что она и пригрозить-то своей дочери не умеет как следует.

— Вечерком отпусти-ко меня, мати, к Оринке сбегать на часок, узоры на полотенцах посмотреть, — попросилась Груня после нескольких минут молчания.

— Ладно, сбегай, — согласилась Галчиха.

Когда Василий Галкин пришел домой с работы, жена сказала ему:

— Не могла отпросить Груньку, сотню яиц носила да полотенце браное, ничего не примат. Нельзя, говорит, отпустить, завтра на работу велел выходить.

— Я ведь тебе баял, что не отпустит, — сказал на это Василий угрюмо, — так не поверила; непочево и ходить было. Сбирай-ко ско-

рее на стол, смерть есть хочу, — добавил он, умывая руки и садясь за стол.

Василий Галкин был высокий сухощавый мужик с болезненным лицом и угрюмым, но не злым взглядом.

— А где Грунька? — спросил он, сидя у стола и окидывая избу взглядом.

— К Оринке ушла узоры смотреть, — покорно, как будто даже робко ответила Галчиха, торопливо сбирая на стол.

— Что она больно часто к Оринке-то ходит?

— Коли же часто? В запрошлой неделе была, да с тех пор не бывала, — сказала Галчиха, ставя щи на стол.

— Мотри, баба, гляди за девкой в оба, — сказал Галкин, принимаясь за еду. — Я сперва за тебя примусь, коли девка избалуется. Вот у Сергей Набатова девка ребенка принесла; срам ведь отцу-то!

— Неужели принесла? Да когда это случилось? — удивилась Галчиха, выпуская из рук ложку, за которую она было принялась.

— Принесла, говорят, сегодня — ночью ли, поутру ли — не знаю; говорят, в худых душах ребенок-от, да и самое-то, де, отец избил так, что едва дышит.

— Что это, что это! — дивилась Галчиха, качая головой. — Я ведь чуяла, что она брюхата, да все не верила, думала, понапрасну про девку толкуют, а вот теперь и вышло, что правда.

Прибежал Митька с улицы и тоже было полез за стол.

— Умой руки да перекрести образину-то сперва да тогда за стол лезь! — крикнул на него отец.

Митька поспешно плеснул воды на руки, обтер их синей тряпицей, служившей вместо полотенца, помолился на иконы, и, пугливо косясь на отца, сел за стол.

— Ты, пострел, жри скорее да ступай к Оринке по сестру, скажи, — мамка домой звала, — обратился к нему отец.

— Полно, Васильюшко, что тако пришло уж посылать, сама придет, — сказала Галчиха.

— Да я ее по другой вечер дома не вижу, — возразил Василий, вставая из-за стола.

— Она вчерась... — заикнулся было Митька, но тотчас же умолк, почувствовав, что мать толкает его коленом.

— Что вчерась? — спросил Галкин.

— Да в огороде капусту поливала, ведь я тебе сказывала, — договорила Галчиха за Митьку.

— Ой, как рученьки болят! — застонал Василий, растягиваясь на лавке. — Спинушку всю разломило; ой, хошь бы баню про меня истопили завтра!

— А пошто не сказал? — заговорила Галчиха ободрившись. — Я бы и сегодня истопила, кабы сказал.

— Ну, живет уж севодни, истопи завтре... Ой, спинушка болит, ой, ноженьки ноют! — стонал Василий, ворочаясь на лавке.

— А пошто ты тут ложишься? Ложись сюда вот на голбчик; я тебе постелю постелю, — ухаживала Галчиха за мужем.

Она знала, что если Василий начнет стонать и жаловаться на болезнь, то все другое уж потеряет для него всякий интерес. Уложив мужа, все продолжавшего стонать и охать, и прибрав со стола, Галчиха вышла за ворота и тревожно поглядывала вдоль по улице, поджидая свою дочь.

«Что она долго, где она? С кем она там засиделась?» — тревожно думала Галчиха.

Митька выбежал вслед за матерью и вертелся около нее, видимо, желая и не решаясь заговорить.

— Мамка! — сказал он наконец. — А Грушка-то вчерась ведь не одна в огороде-то была.

Галчиха встрепенулась.

— Кто с ней был? — спросила она.

— Да Гришка Косатченок был.

— Врешь ты, углан! — испуганно удивилась Галчиха.

— Вот те бог, не вру; право был, я сам видел.

— У меня молчи, пострел, никому не говори, а то я те такую волосянку дам, что страсть! Зачем мне вчерась не сказал?..

— Да Грушка не велела, хотела пряник дать, да и не дала.

— Ишь лукавая, вот я ей ужо полкосы-то выдеру, пусть только домой придет. А ты молчи, постреленок, отцу не пикни.

— Я не скажу, мне что! — ответил Митька, обидевшись тем, что мать на него же и взъелась.

Однако ж, когда вскоре после этого Груня подошла к воротам дома, Галчиха не только

не выдрала ей полкосы, но даже и не поругала как следует, а только велела скорее спать ложиться.

VII

На другой день Груня вышла на работу. Надсмотрщик указал ей яму, в которой она должна была топтать глину, дал ведро и рассказал, сколько следует принести воды, сколько прибавить песку. Сделав все, как было сказано, Груня сняла свои худые порыжелые башмаки, заткнула за пояс подол, соскочила в яму и принялась месить глину ногами. На краю ее ямы стояли две девки и давали ей советы и наставления, как лучше и легче работать.

— Ты тихонько, не торопись, — говорила одна из них, — ногу-то не вдруг выдергивай, а сыспотиха, а то устанешь скоро.

— Вот этак? — спрашивала Груня, начиная медленнее переступать с ноги на ногу.

— Вот так, — ответила девка, — да дай-ко я те укажу.

И она, соскочив к ней в яму, принялась показывать, как следовало топтать глину. Груня старалась подражать ее движениям.

— Эки у тебя ноги-то белые, — говорила ей девка, — не жаль тебе их?

— Жаль, не жаль, да ведь не пособишь, — сердито ответила Груня.

— Исцарапаешь ты их, исседаются они у тебя все, — продолжала сокрушаться девка. — Ты свечку купи, к ночи-то их мажь салом.

— Ладно, — угрюмо ответила Груня.

Ей начинала надоедать ее новая подруга, тем более, что Груня начинала догадываться, что значат все эти сожаления.

Прошло два дня. Груня вытоптала не одну яму глины и выносила ее в сарай, где, сидя верхом на скамьях, девки и бабы-резчицы накладывали глину в станки и проворно хлопали ими, вынимая готовые кирпичи. На второй день к яме Груни подходил Чижов, приезжавший к кирпичному сараю через день, молча постоял, глядя на Груню, и потом отошел к соседней яме, из которой торчала любопытная голова той самой девки, которая учила Груню. Чижов сказал ей несколько слов, но так тихо, что Груня не слыхала.

Вскоре после отъезда Чижова к яме Груни подбежал Митька с синим узлом в руках.

— Вылезай! — крикнул он весело. — Мамка тебе шанег послала.

Груня вылезла и, сев на краю ямы, принялась уплетать принесенные шаньги. Митька убежал побегать около сарая и поглядеть, как режут кирпич. Соседка Груни тоже вылезла из ямы и, пообчистив глину с ног, подошла к ней.

— Хлеб-соль, Грунюшка! — сказала она заискивающим тоном.

— Спасибо, Марянушка, — ответила Груня и подала ей парочку шанег.

Марянка уселась возле Груши и, съевши шаньги, несколько времени сидела молча, желая и не решаясь заговорить.

— Я ведь с тобой, Грунюшка, говорить хочу, — проговорила она, наконец, поглядывая на Груню.

— Что ж, говори! — ответила та, продолжая уплетать шаньги.

— Видела ты Василья-то Миколаича, как он стоял у твоей-то ямы?

— Не видала я. А тебе что за дело до этого? — сердито сказала Груня, переставая есть.

— А то и дело, что от тебя он ко мне перешел да и говорит, что жалко ему тебя, велел тебе сказать, что завтра же тебя от работы уволит, коли ты сегодня к нему ночевать будешь.

Груня молчала; брови у ней нахмурились; решительно очеркнутые губы сжались; она торопливо связывала в узел оставшиеся шаньги и искала глазами убежавшего Митьку. Марянка приняла ее молчание за колебание и продолжала уже смелее и настойчивее:

— Согласись, Грунюшка, он тебя подарить хочет, он дарит помногу, не скупится; вон Таньке Ларьковой что надарил, на всю жисть будет; опять же и ласковый, говорят, не то что наш брат мужик...

— Пошла к своей работе, сволочь! — грозно крикнула Груня, вскочив на ноги. — Эк с чем подъехала! Проваливай-ко дальше! Не на ту напала!

— Да ты чего заругалась? — обиделась Марянка, тоже вставая. — Я тебе же ладила на пользу, потому подарков тебе от него не переносить будет.

— Ты и поди сама к нему, и пусть тебя дарят, — огрызнулась Груня. — Чего других-то травишь?

— И пошла бы, да не меня ему надо, — ответила на это Марянка.

Груня между тем подозвала Митьку и, отдав ему узел, велела идти домой, а сама пошла к ручью напиться. Возвратившись, она увидела, что Марянка все еще стоит у ямы.

— Что стоишь здесь? — спросила она сердито. — Сказано, ступай в свою яму.

— А ты так и не сдашься, Грунюшка? — опять заискивающим тоном спросила Марянка.

— Пошла ты от меня к лешему! — выругалась вспылившая Груня. — Сказано тебе, что не на таковскую напала. Убирайся, чтобы и духу твоего не было, и не смей со мною говорить больше.

И Груня сердито соскочила в яму. Марянка отошла, обиженная и злая.

«Ишь ломается тоже, тварь! — думала она. — Пусть-ко, де, походит за мною да покланяется. Беспременно она кого ни на есть да имеет в полюбовниках, потому без этого ни одна девка не обойдется. Вон Наташка Набатова — уж на что богомольная да чванная была, а и та ребенка принесла... Какой ни на есть, да уж заведен приятель, — продолжала думать Марянка, спускаясь в свою яму и злобно поглядывая на Груню. — Ужо подкараулю я тебя, не проминуешь ты меня, выведу я тебя на чисту воду».

VIII

У дочери Набатова действительно родился сын; он родился преждевременно, вследствие побоев, нанесенных Наталье отцом, пожил всего часа три и умер. Наталья тоже была чуть жива. Приглашенная женою Тимофея Рясова старуха-повитушка ухаживала за ней как умела, в то же время ругая Набатова и дивясь, за что он так озлился.

— Ну мало ли бывает, что носят девки робят, и бьют их отцы за это, да все не так же зверски, — рассуждала старуха, перетаскивая Наталью из сеней в избу и укладывая ее в кути на лавке.

Наталья только тяжело стонала, вздрагивая каждый раз, как отворялась дверь в избу, и ожидая, что войдет отец и опять начнет бить ее. Но она напрасно боялась: Набатов не приходил домой.

Возвращаясь с работы, он зашел к Рясову и узнал от его жены, что младенец родился чуть живой; что бабушка, не будь плоха, завернула его в лоскутину и тотчас же понесла к попу, где его и окрестили, пока еще был жив; что после крещенья он дышал еще с полчаса; что теперь он уж обряжен и лежит на столе; что Наталья очень плоха и все боится, что отец придет и станет бить ее. В заключение Григорьевна — так звали жену Рясова — предложила Набатову пообедать у них и отдохнуть.

В ответ на это Набатов только тяжело вздохнул, сел на лавку и долго сидел молча,

погруженный в глубокую думу. Только когда Григорьевна стала собирать на стол для Набатова, он как будто очнулся.

— Не надо, — сказал он, вставая, — я есть не хочу, — и пошел из избы, нахлобучив шапку на глаза.

В ограде он встретился с Рясовым, тот опять стал его звать в избу, но Набатов отказался и пошел домой. Дома он в избу не вошел, а сел на нижних ступеньках лестницы и опять задумался. Он не заметил поклона старухи-повитушки, хлопотавшей по хозяйству и уже несколько раз прошедшей мимо него. Тяжело налегло горе на гордую душу Набатова, и не видел он возможности освободиться от него. Кроме того, что Набатов крепко любил свою дочь, он страдал еще от других причин. Недаром он слыл гордецом и во всем Куморе не имел ни одного искренно расположенного к нему человека, кроме добродушного силача Рясова. Набатов действительно был и самолюбив, и горд. Презирая в душе класс служителей, пользовавшийся такими громадными преимуществами пред мастеровыми, он отдал бы полжизни, чтобы самому попасть в этот класс, и если уж это было невозможно, то хоть выдать дочь за служителя. Но этому его желанию теперь не было никакой возможности осуществиться. Примеры, когда кто-либо из класса служителей женился на дочери мастерового, бывали очень редки, да и то только в таком случае, если за невестой давались в приданое деньги. Правда, у Набатова в сундучке под лавкой хранилось рублей триста ассигна-

циями — сумма по тогдашнему курсу на деньги довольно значительная, но все же этого было бы достаточно в том случае, если б Наталья не опозорила себя и отца. После же этого позора не было никакой возможности рассчитывать на жениха для Натальи из служительского класса, и Набатов горько вздыхал и проклинал свою злую долю.

Бабушка-повитушка, несколько раз проходившая мимо Набатова, все поглядывала на него, желая, но не решаясь заговорить с ним. Наконец она не вытерпела и сказала:

— Грех тебе, Сергей Ларивоныч, девку ты свою уходил до полусмерти, уродом сделал.

Набатов молчал. Его гнев на Наталью прошел, и место его заступило чувство жалости, страха и угрызений совести за безвинно пострадавшего младенца.

— Ну, да что об этом убиваться, прошлого не воротишь, — заговорила опять старуха, — ступай-ко лучше в избу да поешь и отдохни маленько. Надо ведь заказать гроб делать, ребенка-то завтра хоронить надо.

На этот раз Набатов поднял голову и поглядел на старуху.

— Гроб делать? — спросил он.

Старуха рассердилась.

— Да ведь не без гроба же ты его в могилу-то свалишь! Хоша и найденыш он, одначе не щенок же, душа, поди, в ём така же, как у тебя! — заговорила старуха.

Набатов быстро встал.

— Я пойду закажу гроб делать, — сказал он и пошел к воротам.

Старуха озлилась еще пуще и плюнула ему вслед.

— Да хоша бы пообедал, хоша бы слово какое путное сказал, — ворчала она, поднимаясь на лестницу, — то словно дерево какое — не расспросил, не рассказал, так и ушел, тут хошь что без него делай.

Перед вечером уж воротился Набатов домой и принес под мышкой крошечный гробик. Он не вошел в избу, а поставил гробик на крыльце и, постояв тут с минуту, повернулся и опять вышел из дому. На этот раз он пошел к Рясову, где и просидел до вечера, а вечером, поужинав вместе с Рясовым и не заходя домой, ушел в кричную работать. Но эту ночь Набатов работал уже далеко не с таким усердием, как прошлую; он чувствовал сильное утомление, часто садился отдыхать и тяжело вздыхал. Утром, только что сменившись с очереди, Набатов торопливо пошел домой; ему предстояла тяжелая обязанность хоронить своего внучка. Но как он ни торопился, а шел медленной, неровной походкой; ноги отказывались ему служить с прежней скоростью. Войдя в свою избу, он изнеможенно опустился на лавку, стараясь не глядеть на крошечное мертвое тело, лежавшее на столе.

— Что, милой, пристал? — обратилась к нему старуха на этот раз с участием. — Отдохнуть бы надо тебе, да некогда, вишь. Поп уж в церковь прошел, надо тебе идти.

— Что ж, ладь младенца, а я сейчас, — сказал Набатов и стал вынимать из ящика медные деньги.

Старуха принялась приготовлять гробик, устилая дно его белыми тряпицами и продолжая выражать Набатову свое сожаление о том, что ему некогда отдохнуть. Она положила младенца в гробик, закрыла его крышкой и, сказав: «Теперь совсем готово, неси в церковь», — подошла к Набатову и, посмотрев на него, прибавила:

— Хошь бы умылся ты, ведь лица-то у тебя совсем не знать: весь ты в саже. Ужо после в баню сходи помойся, я про Наталью баню истопила, хочу ее попарить, не даст ли бог лучше.

Набатов заторопился, засунул деньги в пазуху и взял гробик под мышку.

— Да ты хоть запон-от сними да накинь зипун — все бы лучше было, а то так и пошел весь в саже, — опять заговорила старуха, идя вслед за Набатовым, выходившим из избы.

Он остановился, поглядел на свою покрытую сажей одежду и, сказав: «Ладно и так», — торопливо сошел с крыльца.

На дороге в церковь ему встретился Савелий, шедший домой с конюшни.

— Чьего это ты хоронишь? — спросил он, здороваясь с Набатовым.

— Своего, — пробормотал тот, не глядя на него и не останавливаясь.

Савелий удивился и, остановившись на дороге, глядел ему вслед.

Поровнявшись с домом Рясова и увидев выходящую Григорьевну, Савелий указал рукой на удаляющегося Набатова и спросил:

— Чьего это он хоронит?

— Да Наташкина, — ответила она, остановившись, — вчера утром бог дал, а сегодня, вишь, он уж и хоронить поспел. Сама-то Наташка в худых душах. Иду к ним, пособить бабушке-то хочу стаскать ее в баню.

— Эка напасть какая! — дивился Савелий, хлопая руками. — Девка была смирная, ничего худого не слыхать было, а вот случилося. Чать, Набатов зол на ее?

— И не приведи бог, избил до полусмерти, оттого, надо быть, и младенец-то помер, — ответила Григорьевна.

— Ну и слава богу, что помер, по крайности на глазах нету, — рассуждал Савелий и пошел своей дорогой.

Схоронив ребенка, Набатов возвратился домой и сел на крыльце. Когда в церкви поп велел ему поцеловать маленькое посиневшее личико, Набатов почувствовал припадок сильнейшего горя, смешанного с каким-то невольным страхом, и, застонав, опустился на колени возле гробика. Крупные слезы покатились по его лицу. И теперь он опять плакал, утирая слезы кулаками и размазывая сажу на лице. Он снял свой кожаный запон и лапти с баклушами и сидел в одной рубахе, облокотившись руками на колени и положив на них свою голову, в которой в две последние ночи заметно прибыло седых волос. Пока он сидел на крыльце, Наталью мыли в бане. Там она страшно ослабела и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. В баню Григорьевна стащила ее за плечами, но назад она могла донести ее только до крыльца.

— Не поднять ведь мне ее одной-то! — проговорила она, задыхаясь и спуская Наталью на пол. Набатов быстро встал.

— Не умерла ли она? — спросил он, испугавшись и поспешно сходя с лестницы.

— Нет, жива, угорела только, — ответила ему старуха. — Пособи-ко бабе-то. Да подымите ее на крыльцо, — добавила она, махнув рукой на Григорьевну, наклонившуюся к Наталье.

Набатов взял Наталью на руки и унес в избу. Когда он положил ее на постель, платок, закрывавший ей голову, упал, и Набатов увидел мертвенно-бледное лицо своей дочери. Губы у ней посинели, растрескались и чуть пропускали слабые, едва заметные вздохи; у угла губ с левой стороны и под правым глазом были большие синяки. Жалость и страх заставили Набатова задрожать всем телом, ноги под ним подогнулись, он опустил голову и громко зарыдал.

— Взяла же тебя жалость-та, — заговорила старуха, подходя к постели и укрывая Наталью. — Вишь, как ты ее устряпал, ажно небось, самому страшно стало. А еще то ли будет, как и ее в могилу свалим! Ведь два душегубства на твоей совести будет. Ох, грехи наши тяжкие! — ворчала старуха без всякого сострадания к Набатову.

— Зверь я, а не человек, — проговорил он, тяжело подымаясь с коленей. — Не мог совладать с своим сердцем.

И медленно, шатаясь, вышел он из избы и без сил свалился в углу сеней.

IX

Прошло с неделю. Марянка все выжидала случая подкараулить Груню, зорко следя за ней, и случай этот ей скоро представился. Однажды к яме Груни подбежал Гриша и, заметив, что Марянка смотрит на него из своей ямы, он обошел кругом и стал к ней спиной. Что они говорили с Груней, Марянка, к великой досаде своей, не могла услышать, но зато весь день она не спускала глаз с Груни. Вечером, когда пришло время возвращаться домой, Груня заметно стала отставать от других девок. Марянка сделала вид, что уходит вместе со всеми, но, отошедши несколько шагов, она тихонько возвратилась под сарай. Груни уже не было там. Марянка обошла кругом всего сарая и, уверившись, что Груни нигде нет, хотела было перелезть через плетень, подходящий сзади к самому сараю, в конскую поскотину, как послышавшийся сзади конский топот привлек ее внимание и остановил ее. Она оглянулась: к сараю подъезжал Чижов.

Марянка отошла от плетня и, поклонившись Чижову, ждала, пока он разговаривал с надсмотрщиком. Скоро Чижов подъехал к ней и спросил вполголоса:

— А где Грунька? Я не видал ее там с девками.

— Она, надо быть, на конюшню пошла дедушку проведать, — лукаво улыбнувшись, ответила Марянка.

— А ты не видала, никто не приходил к ней? — спросил он.

— Гришка Косатченок приходил, он тут каждый день бегает, потому из поскотины близко.

Чижов ничего не сказал на это и только ударил лошадь нагайкой, заставляя ее перескочить через изгородь в поскотину. Марянка поглядела ему вслед с довольным видом и побежала догонять девок, песни которых все еще неслись с дороги. Отъехав несколько сажен от изгороди, Чижов слез с лошади, привязал ее к стволу березы и пошел по узенькой, извивающейся между лесом тропинке. Скоро он увидал впереди на тропинке Груню. Она была одна и шла неторопливо, не оглядываясь. Чижов ускорил шаги и скоро настиг ее. Груня вздрогнула всем телом и быстро обернулась. Выражение испуга и неудовольствия, быстро омрачившее ее спокойное лицо, не ускользнуло от внимательного взгляда Чижова, и его лицо, прояснившееся за минуту перед тем, когда он увидел, что Груня одна, опять омрачилось. К чести Чижова нужно сказать, что он не любил прямого насилия в любовных делах; в подкупах же и подговорах, к которым он прибегал в таких случаях, он себя оправдывал тем, что на них могли не согласиться. Кроме того, ему почти не случалось получать отказа на свои предложения, и потому-то сопротивление Груни волновало и раздражало его особенно сильно — он порешил добиться ее согласия во что бы то ни стало. «Одно из двух, — думал он, — или она хочет взять подороже, или она в связи с Гришкой. Недаром он, щенок, в прошлый раз так заступался за нее».

— Здравствуй, Груша! — сказал он, поровнявшись с ней и слегка хлопнув ее по плечу.

Груня поклонилась молча и посторонилась, давая Чижову дорогу.

— Пойдем рядком, — сказал он, замедляя шаги. — Что ты меня боишься? Ведь я тебя не укушу.

— Знамо дело, — отвечала Груня, не глядя на него и пускаясь шагать так, что Чижов едва поспевал за ней.

— Да что же ты заторопилась так? — сказал он, наконец, с неудовольствием. — Иди потише, мне еще поговорить с тобой надо.

— Об чем тебе со мной говорить? — сердито ответила Груня. — Сказала я тебе еще в прошлый раз, что не об чем нам с тобой разговаривать.

— Ишь ты какая сердитая! — рассмеялся Чижов и, обхватив ее за талию, нагнулся к ней, чтоб поцеловать.

— Пусти, Василий Миколаич! Добром говорю — пусти! — отбивалась Груня от непрошеных объятий. — Не то я закричу, дедушку звать стану.

— Закричи, попробуй! — говорил Чижов, все крепче сжимая Груню в своих объятиях и покрывая поцелуями ее лицо.

Тщетно старалась Груня высвободить свои руки и уклониться от поцелуев. Чижов был очень сильный мужчина, и потягаться с ним в силе мог разве только один Тимофей Рясов. Груня, наконец, закричала.

— Полно, не ори! — говорил Чижов, закрывая ей рот рукой и стараясь отвести ее с тро-

пинки в лес. — Послушай меня, я тебя не трону больше, только не кричи, я только поговорю с тобой.

Но Груня не слушала и, продолжая отбиваться, громко звала дедушку. В противоположной от тропинки стороне послышался треск сухих сучьев, и из-за толстого ствола березы показалась суровая, рассерженная фигура Гриши. В руках у него была толстая палка длиной с него же. Увидев его, Чижов стиснул зубы со злости, но Груню не выпустил из объятий, а только закричал гневно:

— Пошел вон! Какого лешего тебе надо?

— Не, Василий Миколаич, я не уйду, а вот тебе уйти следует, потому ты тут не на своем месте, — ответил Гриша сдержанным тоном и, сделав еще несколько шагов, спокойно остановился перед Чижовым и устремил на него смелый, пристальный взгляд.

— Ах ты, щенок! — вспылил Чижов и, выпустив Груню, с поднятым кулаком бросился к Грише, но тот ловко увернулся, заслонившись палкой, за которую и схватился Чижов. Гриша выпустил палку и бегом бросился в лес вслед за убегающей Груней, которая начала звать дедушку. Чижов сгоряча пустился было преследовать бегущих, но скоро одумался и остановился, отыскал уроненную им нагайку и быстро пошел к лошади. И поплатился бедный сивко своими боками в этот вечер за все обиды, какие вынес его хозяин...

X

Убегая от Чижова, Груня не заметила, что Гриша бежал вслед за ней. Она ни разу не оглянулась и не перевела дух, пока не увидала, наконец, сквозь редеющий лес крыши конского двора.

Тут она пошла несколько тише и скоро увидела Савелия, ловившего лошадь, Груня подошла к нему.

— Отколь ты взялась? — удивился Савелий, увидев ее.

— Из-под сараю, — ответила Груня. — Мамка велела забежать по тебя, созвать тебя в бане мыться. Она сегодня баню топила.

— Ладно, ладно, — заговорил Савелий, видимо, довольный приглашением внучки. — А ты что так шибко запыхалась? Разе бегом бежала?

— Бегом, потому в лесу одной-то страшно, — ответила Груня. — А ты не слыхал, я тебя кликала?

— Нет, не слыхал. А ты Гришку не видела?

— Не видела.

— Где он, пострел? Вот бы только рыжка напоить, да и пошли бы мы с тобой, — хлопотал Савелий.

— Кличь его, дедушко, может, он и недалеко где-нибудь, — сказала Груня, подходя к конюшне и садясь на рундук. — А я подожду тебя здесь да пойдем вместе, одна-то я боюсь лесом идти.

— Хе-хе, — рассмеялся Савелий, — да какой это лес? Вот там, — добавил он, указывая

рукой вверх по пруду, — вот там лес, так лес, не то, что здесь.

И он стал накидывать зипун и снимать со стены аркан, подтрунивая над страхом Груни. На опушке леса показался Гриша.

— Где ты гулял, соколик? — обратился к нему Савелий. — Давай-ко напоим рыжка, да мне идти надо.

И Савелий ушел в конюшню.

— Что, чать досталось тебе от подлеца-то? — спросила Груня вполголоса, когда Гриша проходил мимо нее.

— Нет, не одинова не досталось, я убежал, — так же тихо ответил Гриша.

Скоро рыжко был напоен, и Савелий, заперши конюшню на замок, пошел рядом с своей внучкой, успевшей между тем отдохнуть и оправиться от испуга и волнения.

Проводив их глазами, Гриша сел на место, где сидела Груня, и задумался.

«Теперь мне от Чижова житья не будет, — думал он, — во всем как есть зачнет он меня сугонять. Беда мне будет от него. И ведь уродился же я такой бессчастной! С самого, значит, сызмальства мне во всем несчастье. Отца у меня деревом пришибло, как я еще мальчонком был маленьким, мать — старуха хворая, робить не может; покос, что от отца остался, сусед чуть не оттягал, спасибо Ермакову — заступился, а то бы совсем разорили. И так достатку никакого не имею, а тут еще Чижова лешак подсунул в этаком деле».

Гриша вздохнул и, порывисто встав с места, пошел бродить около конского двора.

«Хоша бы с кем посоветоваться, — думал он опять, — да и то не с кем. Один я, как палец; с матерью говорить не стоит, потому у ее на все один ответ: терпи да богу молись, а известна пословица: коли сам плох, так не поможет и бог».

И Гриша опять вздохнул. Вдруг его точно подтолкнул кто; он остановился и развел руками с довольным видом человека, внезапно осененного счастливой мыслью.

«Что ж это я дядю Набатова-то забыл? Ведь хоша он мне и не родной дядя, однако все родня же. Хоша он мать мою и не любит, однако, может, меня-то и ничего, — а он человек умнеющий. Вот к нему-то мне и надо бы сходить, поговорить, авось бы он что мне и посоветовал. Дурак я, дурак, что раньше не сходил к нему! Может быть, давно б уж не было меня на этой проклятой конюшне. Завтре же схожу», — решил Гриша в своем уме, опять усаживаясь на рундуке с целью дождаться тут дедушку Савелья и еще с вечера отпроситься у него домой. Но дождаться дедушки Савелья он не мог, потому что старик, разопревши в бане и плотно поужинав пельменями, не захотел идти ночевать на конюшню, а улегся на полатях рядком со своим зятем и проспал тут до утра, вопреки приказанью Чижова не отлучаться с конюшни по ночам. Было уж часа три утра, когда Савелий пришел на конюшню и отпустил Гришу домой, заставив прежде выпустить лошадей.

XI

Придя домой, Гриша нашел дом запертым, матери его не было дома, и он в ожидании ее принялся прибирать и подметать двор. Прибравши и без того чистый двор, Гриша вытащил засунутый в поленницу топор и стал заколачивать ступеньки лестницы, вываливающиеся из покосившихся брусьев. Он любил заниматься хозяйством и улаживать свой дом; но, несмотря на все его старания, дом и все надворные строения, требовавшие радикальной поправки, разваливались и явно клонились к упадку. Не успевал Гриша подпереть одно прясло изгороди, как падало другое, и Грише то и дело приходилось починять то то, то другое. Когда он сколачивал ступеньки и оглядывал крыльцо, окно соседнего дома, выходившее в ограду к Грише, отворилось, и в нем показалась всклокоченная рыжая голова его соседа, Семена Шестова, прозванного Жбаном. Гриша не заметил его и продолжал свое дело.

— Ай да сусед у меня молодец! — насмешливо заговорил Семен Жбан. — Как ни погляжу — все-то он по дворику похаживает да топориком поколачивает. Такой-то себе дворец сколотил, что просто на-поди! Экова, знать, и в Москве нету.

И Жбан рассмеялся неприятным смехом.

Гриша только оглянулся и, не сказав ни слова, продолжал свое дело.

— А вот что, суседушко дорогой, я тебе посоветую, — заговорил опять Жбан все тем же

насмешливым тоном. — Ты шибко-то топором не стукай, пожалуй, еще и уронишь крыльцо-то: вишь, оно у тебя словно живое, так ходенём и ходит.

И Жбан опять засмеялся.

Гриша все молчал; он положил топор на прежнее место, взошел на крыльцо и, вынув верхний косяк над дверью в сени, просунул туда руку и отворил дверь с защелки.

— Ишь загордел как, — продолжал подзадоривать Жбан, — с нашим братом и говорить не хочет. Да поговори, соседушко, пожалуйста, ответь хоть словечко.

Гриша обернулся и, показав ему кукиш, ушел в избу. Он злобно швырнул на лавку свою шапку и стал глядеть в окно на дом Жбана. Увидев, что Жбан затворил свое окно, Гриша несколько успокоился и стал искать, чего бы поесть. Не найдя ничего в избе, он сходил в погреб и, принесши оттуда каравай хлеба и крынку молока, усердно принялся за завтрак. За этим занятием застала его мать.

— Ты что это трескаешь? — вскричала она, всплеснув руками. — Ведь сегодня пятница!

Гриша положил ложку и обтер губы.

— Неужели? — удивился он. — Как же это я позабыл?

— То-то, позабыл! Вот жалобишься, что бог житья не дает, а сам что делаешь? Среду и пятницу почитать должно, потому это богом указано, — ворчала старуха, убирая горшок с молоком и ложку.

Мать Гриши была худенькая, тщедушная

старушка, с очень строгими понятиями относительно соблюдения постов и числа земных поклонов. Всякий день утром и вечером она простаивала перед иконами около часу, усердно отсчитывая по лестовке земные и поясные поклоны и повторяя множество раз иисусову молитву, которую она только одну и знала. Любила она ходить в церковь и, хотя по слабости слуха и потому, что стаивала в церкви всегда около входных дверей, никогда не слышала, что там пелось и читалось, все-таки молилась усердно, нашептывая все одну и ту же иисусову молитву. Никогда не пропускала случая поцеловать крест, а также и руку попа.

Все ее земные привязанности сосредоточились на Грише, единственном сыне, которого ей удалось вырастить. Мужа она лишилась рано и с тех пор вынесла много всякого горя и страдания, отбывая тяжелой работой господские повинности вплоть до того времени, когда Гришу, наконец, зачислили в действительные работники, а мать его избавили от господских работ. Рада-радехонька была этому старуха, потому что силы ее уже очень ослабели в последнее время, да и кашель начинал жестоко душить по зимам.

«Хошь бы еще мне годок да другой дал бог веку, — вздыхая думала старуха, — хошь бы я парня-то женила да поглядела бы, как он жить будет».

Убрав со стола молоко, Егоровна спросила у сына ласковым тоном:

— Хошь кваску с лучком похлебать? Я принесу.

— Не, мати, не хочу, — ответил Гриша, угрюмо уставившись в окно. Ему было досадно, что он забыл день и наелся скоромного.

— Я, мати, хочу к дяде Набатову сбегать,— сказал он немного погодя.

— Почто?

— Да поговорить насчет того, как бы мне в кричную робить перепроситься.

Егоровна вздохнула: она не жаловала работы в кричной как потому, что там человек легко подвергался разным опасностям, так и потому, что не под силу ей было стирать пропитанные сажей рубахи Гриши.

— Сам знаешь, дитенок, — ответила она, — а по-моему, так лучше бы ты себя пожалел, потому работа в кричной тяжкая, огненная, а сила твоя молодая, некрепкая; лучше бы ты силы еще покопил.

— Да ты посуди, мати, — с жаром заговорил Гриша, — что в подконюшенниках-то платят — как мы жить будем? Надо избу перестраивать, гли, вся она развалилась, а перестраивать не на что, — денег гроша нету.

— Ну, год-другой перестоит еще, — ответила на это Егоровна, окинув избу глазами.

Гриша нахмурился и почесал голову.

— Всего лучше к дяде Набатову сходить,— решил он, вздохнув, и встал с лавки.

— Что же, сходи, поговори, може, он что и пособит, — согласилась Егоровна.

XII

Набатова Гриша застал за обедом. Доходила другая неделя со времени несчастных родов Натальи, а она все еще не вставала с постели, и старуха-повитушка все еще жила у Набатова, заправляя его хозяйством, стряпая ему обед и надоедая своим ворчаньем. Суровый и гордый Набатов присмирел настолько, что не смел даже прикрикнуть на ворчливую старуху, покорно вынося ее каждодневное брюзжанье, и только старался как можно меньше быть в избе. С Натальей он не говорил ни слова и, видимо, избегал смотреть на нее. Правда, она и сама не показывалась отцу и, лежа за занавеской, не подавала признаков жизни, пока отец был в избе.

Приход Гриши заметно удивил Набатова.

— Садись, гость будешь, — сказал он в ответ на его поклон. — Бабушка, да-кось ложку, — добавил он, отодвигая стул и указывая Грише место за столом. — Садись, похлебай ухи-то.

— Я уж ел севодни, — отозвался Гриша, однако сел за стол.

Пообедав, Набатов тотчас же вышел на крыльцо, Гриша вышел вслед за ним.

— Я, дядя, к тебе пришел об деле поговорить, — сказал он, остановившись перед Набатовым, севшим на лавку.

— Како же твое дело? — спросил тот, несколько удивившись и внимательно поглядев в лицо Гриши. Оно было озабоченно и печально.

— Садись, — добавил Набатов, — что стоишь? В ногах правды нету; садись да расскажи, какое твое дело.

Гриша сел и подробно рассказал Набатову свое горе, не утаив и того, за что особенно невзлюбил его Чижов. Нахмуренное и печальное лицо Набатова оживилось при этом рассказе, глаза засверкали злостью. Он отвернул голову, стараясь скрыть от племянника свое волнение.

Кончив свой рассказ просьбой помочь ему перепроситься в кричную, Гриша уж давно ждал ответа, а Набатов все молчал, отвернувшись от него.

— Знаешь пословицу? — спросил он, наконец, обернув к Грише свое изменившееся лицо.

— Какую? — спросил тот, удивившись и растерявшись от неожиданного вопроса.

— А вот какую: кобыла с медведем тягалась, хвост да грива осталась, — сказал Набатов, мрачно устремив глаза на Гришу.

Тот понурил голову и молчал. Последняя надежда начинала покидать его. На глазах у него навертывались слезы, губы судорожно передергивались.

Набатов тоже опустил голову.

— Этот Чижов хуже мне ножа вострого, — проговорил он вполголоса, не глядя на племянника и будто рассуждая про себя. — Легче бы мне с лютым зверем в лесу сойтись, чем с им, проклятым. Он всему злу причиной.

Гриша удивился и слушал внимательно. Он не знал, кто был причиной позора Натальи, и

потому не мог понять злобы Набатова. А Набатов, облокотившись руками на колени и положив на них свою голову, думал. Гриша ждал с замирающим сердцем, что еще скажет ему дядя.

— Вот разве что мы сделаем, — проговорил наконец тот, подняв голову. — На Чижова нам надеяться нечего: его не проймешь ни крестом ни пестом; а вот разве Ермакову Степану Ефимовичу мы поклонимся. Он с Чижовым не в ладах, а потому, может, и примет нашу сторону.

— Да еще у меня поклониться-то нечем, — тоскливо проговорил Гриша.

— Ну, на это я тебе ссужу, на это немного надо, — сказал Набатов. — Сегодня у тебя день свободной?

— Свободной, — ответил Гриша, несколько приободрившись. — До вечерен свободен буду.

— Вот и ладно, — сказал Набатов, вставая. — Дам я тебе целковый денег и ступай ты сию минуту на Усть-Кумор, спроси там старика Пантелея, он рыбак сетной, у него в садке завсегда живая рыба сидит. Скажи ты ему, что послал, мол, меня мастер Набатов и велел-де тебе самолучших стерлядей отвесить — на целковый сколько причтется. Он мне старинный приятель и по приятству уступит. Этой рыбой мы и поклонимся Ермакову.

С этими словами Набатов ушел в избу и вскоре вынес оттуда засаленную рублевую бумажку и подал ее Грише. Тот завернул ее в обрывок платка и засунул в пазуху.

— Спасибо, дядя, — говорил он повеселевшим голосом, — даст бог, доживем до страды, так я отслужу за все это.

— Ладно, ладно, мне твоя служба не надобна, — ответил на это Набатов, — ступай-ко лучше скорее на Усть-Куморку, а я тем временем лягу сосну.

Гриша стал спускаться с лестницы.

— Смотри же, чтобы рыба была хорошая; живая, а не дохлая, — наказывал вслед ему Набатов, — потому я с тобой сам пойду, так чтоб не стыдно было.

Гриша ушел, и Набатов, спустившись вслед за ним с крыльца, лег в сани, стоявшие на дворе под навесом, но не мог он заснуть вплоть до прихода Гриши — так сильно расходился в нем гнев на Чижова.

— Чтоб ему ни дна ни покрышки, кровопивец! — мысленно ругался Набатов, ворочаясь в санях. — Не во всяком же разе ему уступать, найдем и на него управу.

И сильно кипела кровь в Набатове, и сжимались его здоровые, мускулистые кулаки.

До Усть-Кумора было всего версты две, и Гриша скоро воротился, неся на лычке трех больших и еще живых стерлядей. Услышав, что стукнули ворота, Набатов поднял голову и, увидав племянника, подозвал его к себе. Гриша подошел и показал рыбу.

— Ну, брат, рыба важная, экую рыбу не стыдно и управляющему поднести, — похвалил Набатов, вылезая из саней. — Садись отдохни, а я пойду накину кафтан, да и пойдем благословясь.

И Набатов ушел в избу, а Гриша сел на нижней ступеньке лестницы и ждал. Скоро Набатов вышел в нанковом кафтане и шапке. Гриша, перехватив рыбу из правой руки в левую, перекрестился, и они вышли. Прийдя к Ермакову, Набатов и Гриша прошли прямо в переднюю, не заходя в кухню, и остановились у дверей. Ермаков, мужчина высокий, плотный и красный, как рак, только что встал от послеобеденного сна и, сидя перед своей красной конторкой, допивал уже вторую кружку холодной браги. Услышав, что скрипнула дверь в передней, он громко спросил:

— Кто тут?

Набатов сделал несколько шагов вперед и, остановившись у двери в кабинет, поклонился.

— До вашей милости, Степан Ефимович, — заговорил он, — с покорной просьбой.

— Что надо? — пробурчал Ермаков, опять принимаясь за недопитую кружку и не глядя на Набатова.

— Да вот племяша охота бы в кричную перевести, — заговорил Набатов, опять кланяясь. — Покорно прошу, Степан Ефимович, нельзя ли как-нибудь, не будет ли вашей милости, потому парень-от сирота, охота бы при себе к работе приспособить.

— Какого племянника? — спросил Ермаков.

— Да вот Гришу Косаткина, сына Ондрея Косаткина, которого деревом-то в лесу зашибло, может, изволите помнить.

— Забыл я, — пробурчал Ермаков, отдуваясь. — Где он?

— Здесь, со мной пришел, — ответил Набатов. — Гриша, покажись.

Гриша несмело выступил вперед и неловко поклонился, причем стерляди мазнули хвостами по полу.

— А, знаю, — на этот раз внятно протянул Ермаков и встал со стула.

— Примите, батюшко Степан Ефимович, — заговорил Набатов, взяв стерлядей из рук Гриши и подавая их Ермакову. — Не побрезгуйте: чем богаты, тем и рады.

Тот не спеша взял стерлядей за лычко и, взвесив их на руке, с довольной улыбкой спросил у Набатова:

— Сам заловил?

— Нет, батюшко Степан Ефимович, я не рыбак; купил у приятеля.

— Хозяйка, а хозяйка! — крикнул Ермаков. — Степанида Матвеевна!

«Иду», — послышалось из других комнат, и маленькая, сутулая и некрасивая женщина в пестром платье и коленкоровом чепчике на голове вошла в переднюю.

— Возьми-ко, вот мужик стерлядок принес, да вели заколоть поскорее; а ему, — Ермаков указал на Набатова, — подай водки рюмку.

— Ладно, — ответила Ермачиха, взяла стерлядей и ушла.

— Так, в кричную тебя перевести? — спросил Ермаков у Гриши.

— Уж сделайте милость, — заговорил тот, кланяясь, — заставьте за себя бога молить.

— Да ведь ты уж начинал в кричной робить, зачем перестал? — спросил Ермаков.

— Василий Миколаич приказали на конюшне быть, — ответил Гриша.

Ермаков не сказал на это ни слова, а пошел к конторке и, вынув из бокового ящика лоскуток бумаги, написал на нем несколько строчек, засыпал их песком и, стряхнув песок, подал записку Грише.

— Ступай ты с этой запиской к распрометчику, он завтре с переклички пошлет на конюшню вместо тебя другого, а ты выходи робить в кричную. Вот с Набатовым и работай в одной смене.

Гриша низко поклонился, радостным голосом бормоча благодарность. Набатов тоже поблагодарил, выпил рюмку водки, вынесенную Ермачихой, поблагодарил еще раз и вышел.

XIII

На другой день узнал Чижов о переводе Гриши в кричную и страшно разозлился на Ермакова. Злость его увеличилась еще более, когда он увидел, что Гриша работает с Набатовым, а Набатов был одним из исправнейших мастеров в куморской кричной фабрике; стало быть, притеснять его было бы большой несправедливостью. Да и, кроме этого, были еще причины, по которым Чижову не хотелось явно ссориться с Набатовым, и он поневоле должен был на время затаить свою злость на Гришу. Преследование Груни тоже остановилось на время, потому что Чижову вскоре понадобилось ехать в курени осматривать заготов-

ленные там крестьянами дрова для выжига угля. Эта поездка отняла у него более недели и привела к весьма неутешительным результатам. Готового и оставшегося от прошлого года угля не было ни в одном из ближайших к заводу куреней; в куренях же более отдаленных уголь хотя и был, но не было возможности перевезти его в завод летом, а имевшегося в запасе угля не могло достать до зимы, и, стало быть, фабрики приходилось остановить по недостатку угля. Мысли одна неприятнее другой теснились в его голове, когда он пробирался верхом на крестьянской лошадке по едва заметным тропинкам, проложенным дровосеками. Куренный надзиратель и несколько человек крестьян, тоже верхом, тянулись за ним гуськом. На привалах и ночлегах крестьяне угощали Чижова водкой и ромом. Он пил, чтобы затушить тоску и не думать о последствиях своей оплошности, которая могла переполнить меру гнева управляющего и приблизить тучу, и так уже недалекую. Пьяный, недовольный собой и всеми, возвратился он из этой поездки.

Анна Васильевна, увидев в окно подъехавшего к воротам мужа, с радостным криком бросилась к нему навстречу.

— Васенька, голубчик ты мой! — кричала она, подбегая к телеге, из которой Чижов не имел сил вылезти без посторонней помощи. Он вылез с помощью куренщика, приехавшего вместе с ним. Шатаясь, пошел он в комнаты. Анна Васильевна хотела взять его за руку, но он грубо оттолкнул ее, чем, впрочем, Анна Ва-

сильевна нимало не обиделась, и, проговорив только, что Васеньку сильно растрясло и что пора ставить самовар, пошла вслед за мужем.

Войдя в комнату, Чижов тяжело опустился на диван и, отпустив куренщика, попросил чаю.

— А ты, верно, мне к чаю-то медку привез на гостинец? — спросила Анна Васильевна, подсаживаясь к мужу.

— Как же, привез полну телегу, — насмешливо отвечал Чижов. — Ты что же без ложки навстречу-то выбежала?

— Ах, Васенька, что же смеяться-то? — заговорила Анна Васильевна обиженным тоном. — Мне Степанида Матвеевна сказывала, что когда ее муж ездит по куреням, то крестьяне дарят ему и меду и денег...

Но Чижов прервал речь своей супруги, послав ее к черту вместе со Степанидой Матвеевной, и велел наливать чай.

Вошел служитель с пакетом только что привезенных из Кушгорта бумаг. Чижов, не читая, положил их на стол. Расспросив служителя о том, сколько часов он ехал, здоров ли управляющий и нет ли чего нового в Кушгорте, Чижов отпустил его и принялся за чай, приготовленный Анной Васильевной. Обиженная и приунывшая, сидела она у самовара, отвернувшись от мужа и украдкой отирая слезы. Чижов пил чай, не обращая на нее внимания и тупо смотря на запечатанный пакет. Хмель начинал разбирать его все сильнее и сильнее. Он не допил второго стакана и, отложив чтение бумаг до вечера, пошел и лег спать.

Анна Васильевна убрала чай и села за пяльцы дошивать целующихся голубков, отирая то и дело набегавшие на глаза слезы. Ей было скучно, она сердилась на мужа и кляла свою горькую участь. «Не любит он меня, ничего для меня сделать не хочет, никакого удовольствия мне не хочет доставить, — думала она. — Вон Ермачиха сшила себе новое платье с оборками, сегодня обновила его к обедне, а мне и думать об этом нечего. У Васеньки денег нет, жалованье вперед забрано чуть не за год. — И Анна Васильевна тяжело вздохнула. — А уж как бы мне хотелось на лето кисейное-то платье иметь! Вот скоро семинаристы приедут на вакацию, стали бы у нас собираться, танцевать бы стали, в поле бы с чаем ездить». Но тут Анна Васильевна, вспомнив, что у ней не только на платье, но и на чай денег не станет, расплакалась так, что не могла больше шить и ушла в сад. Но и там она не могла отвязаться от своих печальных мыслей и, вспомнив, что ее приглашала к себе Ермачиха, отправилась к ней.

XIV

Соснув часок-другой, Чижов встал и, вспомнив о полученных из главного правления бумагах, пошел прочитать их. В одной из этих бумаг был строгий ему запрос, отчего выделка железа на куморской кричной фабрике не только не увеличилась, как того следовало ожидать вследствие перестроек и поправок,

произведенных в этой фабрике, но даже уменьшилась. Затем следовал строгий выговор Чижову за нерадение к пользам владельца, за пьянство, за поблажки мастеровым. Оканчивалась эта бумага приказанием начинать в фабриках работу с 10 часов вечера в воскресенье, чтоб не пропадала даром ночь на понедельник. Крепко выругался Чижов, прочитав эту бумагу, и, закурив папироску, крикнул Алешку. Вбежал парень с всклокоченными волосами и заспанным лицом, одетый в сюртук, как видно, с плеч Василья Николаевича.

— Уставщика ко мне! — сказал Чижов, не оборачиваясь и принимаясь читать другие бумаги.

Скоро пришел уставщик. Он был навеселе по случаю воскресного дня и немножко трусил; однако ж, подождав немного, слегка кашлянул, докладывая тем Чижову о своем прибытии.

— Кто тут? — спросил Чижов, не оборачиваясь.

— Уставщик. Изволили требовать...

Чижов обернулся к уставщику вместе со стулом и сказал, ткнув пальцем в лежавшие перед ним бумаги:

— Сейчас получил предписание: велят пускать кричную в действие с десяти часов вечера сегодня. Теперь уж восемь; ступай и вели сейчас наряжать мужиков на работу.

Уставщик выступил на шаг вперед и, переминаясь с ноги на ногу, чесал голову.

— Нельзя ли, Василий Николаич, уволить сегодня? — заговорил он несмело. — Сами

знаете, день сегодня воскресный, народ весь пьян; посылать его сегодня на работу на одно увечье.

Чижов, рассерженный и без того, рассердился еще пуще и, вскочив со стула, закричал:

— Знать ничего не хочу! Мне, что ли, за вас работать? И то вот тут пишут, что даю вам поблажку. Вон! И чтоб сейчас выходить на работу.

Уставщик струсил и проговорил только:

— Воля ваша, как угодно.

Он торопливо вышел от Чижова и торопливо направился к старому деревянному зданию, где помещалась заводская полиция; он спешил послать оттуда десятника собирать народ на работу. А Чижов, просмотрев бумаги, выкурил несколько папирос и принялся за «Московские ведомости», которых накопилось в его отсутствие несколько номеров. Он отворил окно и, читая газеты, время от времени посматривал, не задымились ли видневшиеся в окно фабрики, расположенные под горой, недалеко от его дома. Скоро, однако же, он так занялся газетами, что забыл посматривать в окно и был отвлечен от чтения только появлением Алешки, доложившего, что пришли мастера, стоят на крыльце и просят Чижова выйти к ним. Чижов нахмурил брови и скорыми шагами вышел на крыльцо, где толпой стояли кричные мастера, почти все пьяные. В числе их не было только Набатова. Он, тоже подкутивший для праздника, стоял за воротами с опущенной головой и угрюмым взглядом. Ему не хотелось идти с просьбой к

Чижову, да не хотелось и отстать от товарищей, решившихся сообща просить Чижова не начинать сегодня работы.

— Зачем? — сердито спросил Чижов.

— Да что, батюшка Василий Миколаич, — заговорил колосс Рясов, выступив из толпы и пошатываясь из стороны в сторону всем своим длинным корпусом. — Показаться пришли твоей милости, каковы мы есть для праздника.

И он обвел глазами своих товарищей, улыбнувшись широкой, добродушной улыбкой.

Чижов рассердился.

— На работу вам приказано идти, а не ко мне! — закричал он, топая ногой. — Ведь я не от себя выдумал заставлять вас сегодня робить. Ведь сказано, что я предписание получил. Слушали али нет? Из правления, от управляющего предписание. Понимаете али нет?

— Да помилуй, Василий Миколаич, — заговорил один из мастеров, который был потрезвее других, — ведь мы не знали, что предписание это сегодня придет. Как бы знали, так и не напились бы. А теперь ты что хошь делай, а мы робить не можем, потому все пьяны: и подмастерья, и работники, и мы.

— Вон! — закричал на это Чижов, топая ногами. — Знать ничего не хочу. Пьяницы! Стельки кабацкие! Вон! И чтоб сейчас на работу!

И заворотив Тимофея Рясова, стоявшего к нему ближе других, Чижов ударил его в спину так, что тот одним прыжком соскочил с лест-

ницы. За Рясовым посыпались толчки и брань на других, и все испуганной толпой побежали к воротам.

— Что? — спросил Набатов, увидав их.

— Да и слышать не хочет, в толчки прогнал, — отвечали ему.

— Мне такого здоровенного поддал, что инда искры посыпались, — сказал Рясов, опять добродушно оскалив зубы.

Великан и силач Рясов, хладнокровный и рассудительный в трезвом виде, в пьяном становился кротким и добродушным, как ребенок.

Выслушав, что сказали, Набатов еще пуще понурил голову.

— Что делать? — спрашивали мужики, с недоумением поглядывая друг на друга.

Один из них, не в силах будучи держаться на ногах, сел на подворотню, двое других прислонились к стене, а Рясов стоял перед Набатовым и, качаясь во все стороны, тупо смотрел на него.

— Надо еще просить, — сказал Набатов, помолчав, — не зверь же он, может, и уймется. Ступай, уставщик, проси до утра отложить, скажи, что все пьяны и робить не можем. Пусть только до утра дадут проспаться.

— Вестимо, только до утра, а там мы уж знать будем и будем исправны.

Уставщик почесал голову и нехотя пошел на крыльцо. Вслед за ним пошли еще двое из мастеров. Все другие стояли у ворот и ждали. Скоро послышалась хриплая брань Чижова, и уставщик и мастера опять быстро сбегали с

крыльца и шли к воротам. Постояли мужики у ворот еще несколько времени и, толкуя, перешли через улицу к полиции, где и уселись на ступеньках лестницы. Некоторые прилегли и захрапели; другие, потрезвее, все еще советовались между собою и придумывали, что делать. Сидели, сидели мужики на крыльце полиции и порешили еще раз сходить к Чижову всей толпой.

— Набатов, иди и ты с нами, тебя еще он не видал,— обратился кто-то из них к Набатову. Тот молча встал и пошел впереди всех. На этот раз мужики не остановились на крыльце и прошли в переднюю. Чижов, еще не успевший успокоиться, скорыми шагами ходил по комнате. При виде толпы мужиков, вошедших в переднюю, гнев его вскипел с новою силою, и он с поднятыми кулаками бросился на них, не дав им произнести ни слова. Набатов, стоявший впереди всех, схватил Чижова за руки и удержал его.

— Уймись, Василий Миколаевич,— сказал он глухим голосом,— молод еще ты толчками-то нас кормить, мы не за тем пришли.

Чижова точно обдало холодной водой от прикосновения Набатова. Он, отдернув руки, спятился назад и сказал, стараясь сдерживать свою ярость:

— Говорят вам, что не от себя я выдумал заставлять вас сегодня робить; понимаете или нет, что предписано мне это из правления? Ведь я за вас отвечать буду.

— Это точно, что ты за нас отвечать будешь,— сказал ему на это Набатов.— А коли

кто под колесо попадет или другомя как изувечится, тогда кто отвечать будет? Ведь ты же, Василий Миколаевич. Ну, рассуди ты сам, что за работник пьяный человек? Кои здесь, так те еще потрезвее, а ты вот на тех погляди-ка, кои без чувства-то валяются. Ну что ты с ними станешь делать? Переувечатся все в одну ночь, да и только.

Чижов, казалось, убедился этими доводами. Он отошел к окну и, повернувшись к мужикам спиной, молчал.

— Помилуй, батюшка Василий Миколаевич, — заговорили другие мужики, ободренные его молчанием, — делай ты завтра с нами что хошь, а сегодня мы тебе не работники.

— Ну, ступайте, спите до двух часов, а с двух чтоб робить, — сказал Чижов, не оборачиваясь.

— Нет, Василий Миколаевич, не проспаться им до двух часов, — сказал уставщик, — увольте уж до утра.

Чижов опять не мог совладеть со своим гневом.

— Вон! — заревел он, бросившись на уставщика и толкая его в шею. — Сказал, чтоб в два часа выходили на работу. Вон!

Все поспешно пошли из передней вслед за вытолкнутым уставщиком.

Пошел и Набатов, крепко стиснув зубы и стараясь спрятать от Чижова свои сжатые кулаки.

Пробило уж десять часов, когда мастеровые вышли от Чижова и разошлись по домам, порешив спать до утра.

— Ведь не станет же он нас всех драть, — рассудили они. — Сегодня он сердит, а завтра ведь уходится же его сердце.

XV

«Злодей! — думал Набатов, сердито шагая к своему дому. — Попадешься ты мне в темную ночь в каком переулке».

Упреки эти относились к Чижову, на которого Набатов перенес свою злобу во время болезни Наташи. Вид ее страданий, которых единственною причиною Набатов считал Чижова, забыв, что сам он своей жестокостью много увеличил их, постоянно поддерживал и разжигал в нем упорную ненависть. С сердцем, полным злобы, весь погруженный в свои мрачные думы, подходил Набатов к своему дому и вздрогнул всем телом, когда увидел, что у ворот его дома кто-то стоял, прислонившись к ним. Скоро он разглядел, что это был Гриша, и сплюнул в сторону.

— Что, дядя, робить? — спросил его Гриша.

— Нет, уволил, — процедил Набатов и, войдя в ограду, сел на нижней ступеньке лестницы.

— Так я ино домой пойду? — сказал Гриша, все стоявший у ворот.

— Зайди, поговорим, — пригласил его Набатов.

Гриша вошел и сел рядом с дядей. Несколько минут они оба молчали.

— Что это за приказ такой вышел? — спросил Гриша. — Как этого прежде не было?

— А лешак их знает, что они там делают. Приказанье, сказывают, такое пришло, чтобы с вечера в воскресенье фабрику на действие пускать, — сердито проговорил Набатов. — Ишь, варнаки, хомутаются над нами всячески, готовы из нас и жилы вытянуть, не то ли что чего.

— Однако! — произнес Гриша в раздумье и потом прибавил, поглядев на дядю: — Что, небось, Чижов ягал на вас во все горло, как вы отпрашиваться пришли?

— Уж ты бы лучше не поминал его, — с гневом сказал Набатов, оборачиваясь к Грише. — Уж так тому не быть, чтобы я с ним за все как есть не рассчитался! Поплатится он мне своими боками за все мое горе и за весь мой срам.

Гриша поглядел на него с удивлением.

— Да что он тебе сделал? — спросил он.

— Как что? А ты думаешь, не срам это моей голове, что Наташка ребенка принесла? Разве мне это не обида? Да повесить его за эти дела мало! — горячился Набатов, вставая с места.

Гриша только теперь понял, в чем дело, и в душе согласился с дядей, что Чижов и в самом деле стоит виселицы.

— Кровь ведь они нашу пьют, — говорил Набатов, стоя перед Гришей, — в работе нас морят, вот словно скотину, да еще и девкам-то нашим житья от них нету. Ведь сам ты видишь, на чего теперь у меня Наташка-то похожа стала. Стень одна осталась от ее.

Ох-х! — простонал Набатов, садясь на прежнее место и подпирая голову рукой.

Гриша молчал, не зная, что отвечать на это... Молчал и Набатов. В избе что-то стукнуло; он вздрогнул и, подняв голову, слушал... Но стук не повторился, и все стало тихо по-прежнему.

— Не поверишь ты, — сказал Набатов, не переставая слушать, — что я вот только того и жду, что Наташка умрет... Хоть и зачала она ходить по избе, а все видно, что через силу. А коли она умрет, — добавил он глухо, — я ему голову сверну, потому всему злу он причиной.

— Полно, дядя, что ты! — сказал Гриша, поглядев на Набатова, и потом прибавил тихонько: — Ведь не силой же он взял?

— А я почем это знаю, может, и силой; от ей ведь теперь ничего не узнаешь. Сперва, может, и силой, а после уж что? После уж и сама пошла... Дурак я был, что бабьему уму поверил, одну девку оставлял по ночам, вот оно что и вышло, — сокрушался Набатов.

— Почто ты не женился, дядя? Ведь ты еще молодой овдовел?

— Жениться я спервоначалу и думал было, да все боялся, что баба попадет недобрая, Наташку жалел.

И вдруг Набатов замолк, увидев, что в избе отворилась дверь. На крыльцо вышла Наталья и спросила отца, станет ли он ужинать. Было уж с неделю, как бабушка ушла от них, и Наталья сама принялась за хозяйство, хотя еще и не чувствовала себя совершенно здоровой.

— Пожалуй, изладь на стол, — сказал ей Набатов, — мы вот с Гришей поедим.

— Ты разве не ужинал еще? — удивился Гриша.

— Нет, только было хотел, как прибежали наряжать на работу, я так и ушел.

И Набатов встал и, умыв на крыльце руки, пошел в избу, пригласив с собой Гришу. Перед ужином Набатов выпил сначала сам рюмку водки, а потом подал Грише. Тот стал было отнекиваться.

— Пей! — сказал ему Набатов. — У меня выпить можно; ты у другого кого не пей, а у меня завсегда можно.

После ужина дядя и племянник еще посидели на крыльце, толкуя о подступающей страде. Во всех домашних делах Гриши Набатов стал принимать живейшее участие с тех пор, как он обратился к нему с просьбой помочь ему против Чижова, и советовал, как и что лучше сделать.

— Вот даст бог женишься на осень, заведешь хозяйство в доме, так жить тогда тебе не в пример лучше будет, — сказал Набатов Грише на прощанье.

— Как я и женюсь? — печалился Гриша. — Ничего-то у меня нету, ни одежи, ни скота, ни живота.

— Не тужи, это все дело наживное, — отвечал Набатов, сходя с крыльца и направляясь к своим саням под навесом.

Но долго не могли уснуть в эту ночь дядя и племянник, думая каждый о своем.

XVI

Наступила сенокосная страда, и после петрова дня мастеровым дали две недели времени на страду. Все они пользовались сенокосной землею и спешили, сколько могли, кончить все свои работы в эти две недели. Перестали дымиться фабричные трубы, и Кумор опустел и затих на это время, и только по вечерам он несколько оживлялся песнями возвращавшихся с покосов баб и девок с граблями и косами на плечах. У некоторых из мастеровых делались помочи, и тогда песни и пляски продолжались всю ночь. Груня, давно уже кончившая свою тысячу кирпичей, тоже выпросила у матери помочь и накануне назначенного дня, сбираясь идти сзывать на помочь своих подруг, сказала матери, что она зайдет по Наталью Набатову, что Наталья выздоровела и уж сама носит воду.

— Что же, позови, — согласилась Галчиха, — оно хоша и не след бы тебе с робятницами знаться, да уж грех ее бей, пусть придет. Отца у ее жалко.

Груня в прежнее время была очень дружна с Натальей. Когда же дошли до нее слухи, что Наталья загуляла, и когда Груня, увидавшись с нею, сама стала подозревать, что слухи эти справедливы, она спросила у Натальи, правду ли говорят про нее.

— Пустяки, напраслина одна, — ответила Наталья, отворачиваясь от пытливых глаз Груни. — Мало ли что бают!

— То-то пустяки, а коли правда это, то я

тебе больше не подружка, так и знай! — горячо сказала ей Груня.

После этого разговора Наталья заметно стала удаляться от Груни, не звала ее к себе и сама перестала ходить к ней. Груня же оскорблялась в поведении Натальи не тем, что Наталья загуляла, — девки, уж дело известное, завсегда гуляют, надо же, чтоб было чем помянуть свою девичью волю, — а тем, что загуляла она не со своим братом, да еще и с женатым человеком. Между классом мастеровых и служителей всегда существовал упорный и непримиримый антагонизм, особенно сильный между мужчинами и постоянно поддерживаемый кичливостью служителей, получавших большее вознаграждение за свой несравненно более легкий труд, которое давало возможность иметь и лучшие дома, и лучшую одежду, чем могли иметь мастеровые. Предпочтение, оказываемое помещиком служителям, заставляло их думать, что они более полезны, чем мастеровые, и давало им повод гордиться и кичиться перед ними своим мнимым превосходством. Мастеровые же, завидуя в душе огромным, по их понятиям, привилегиям, какими пользовались служители, платили им за их пренебрежение и кичливость затаенной, но тем не менее упорной ненавистью. Антагонизм этот был отчасти присущ и Груне и в последнее время еще более усилился вследствие наглых требований Чижова. Все это имело влияние на ее отношения к Наталье в последнее время.

Наталья сидела у окна, выходившего на двор, и глядела на воробьев, скакавших под

окном по навесу над крыльцом, куда она выбросила несколько хлебных крошек. При входе Груни она вздрогнула всем телом, и кровь на мгновение обожгла ее бледные щеки. Машинально взялась она за чулок, отодвинувшись от окна, и не поднимала глаз на свою сердитую подружку. А та до того была поражена худобой и страдальческим видом Натальи, что забыла даже помолиться на иконы и, совершенно растерявшись, глядела на нее с выражением участия и сожаления, не зная, как начать разговор. Наконец, она села возле нее на лавку и спросила тихонько:

— Никак все еще хвораешь?

— Все, — ответила Наталья. — Грудь болит, кашель, здыхать не могу.

И она опять повернулась к окну и, подпершись рукой, стала глядеть в него. Две слезы медленно покатились по ее лицу; навернулись слезы и у Груни.

— Не плачь, будет уж убиваться-то, — сказала она ласково, — и то уж ты вся иссохла, только кожа да кости остались.

В ответ на это Наталья громко зарыдала и припала головой на колени своей подруги. Та не вытерпела и сама заплакала.

— И что с тобой сделалось? — дивилась Груня, отирая слезы и гладя Наталью по голове. — Ни в речах у тебя, ни в чем ничего такого не заметно было. Как он, варнак, и подошел к тебе, чем тебя и улестил! Задарил он тебя али что?

— Не бирала я от него никаких подарков, — проговорила Наталья, немножко поуспокоив-

шись и отирая лицо передником. — Так уж я и сама не знаю, что со мной сделалось.

— Да как же так, да с чего же? — дивилась и допытывалась Груня. — Полюбила ты его, что ли?

— И не то чтоб полюбила, а так вот словно обошел кто меня; увижу где, так даже задрожу вся и слова не могу вымолвить, вот ровно страх меня ошибет, — тихо сквозь слезы припоминала Наталья, припав к плечу своей подруги. — Ходила я к нему в дом полы мыть, ну, он со мной заигрывал все, то по плечу потреплет, то по щеке, а я так и трясусь, так трясусь. Осенью уж как-то, когда меня от поломоек уволили, сижу я вечером одна, слышу вдруг, кто-то по сеням идет, я так и обмерла, а он вошел в избу, сел подле меня да и говорит: «Здравствуй, Наташа! Я, — говорит, — вечеровать к тебе пришел!»

— А ты бы его в шею! — горячилась Груня. — Да поленом бы!

Наталья только вздохнула.

— Обнял он меня, — продолжала она полушепотом и вздрагивая всем телом при одном воспоминании, — и точно по мне струя горячая пробежала. Отпали у меня и руки и ноги.

На это Груня уж не нашлась что сказать и только покачала головой, с укором и состраданием глядя на свою подругу. Посидели подруги молча несколько времени, Наталья — глядя в окно, а Груня — оглядывая избу и думая про себя, что она уж слишком долго засиделась.

— А я ведь пришла тебя на помочь звать, — сказала, наконец, она. — Пойдем!

— Нет, какая уж я работница: воды принесу — так и то отдохнуть не могу, силы у меня совсем не стало.

— Ну, хоть не робь, а так походи с нами по лугу-то, хоть траву-то потопчи. Ягод поберешь там, у нас на лугу смородины много, — уговаривала Груня Наталью.

— Нет, не зови, — ответила та грустно, — у меня и охоты нет. Я бы и на свет не глядела. Умереть бы мне.

— Ну, вот выдумала умирать! Не тужи: все перемелется — мука будет, — сказала Груня, вставая и собираясь уходить.

— Прощай, Наталья, оздоравливай скорее.

— Прощай, Грунюшка, спасибо тебе, — зашла, заходи еще, когда удосужишься.

— Ладно, зайду.

И Груня ушла. У ворот она встретилась с Гришей, который шел к Набатову, и велела ему приходить на помочь. В три часа утра уж все помочные были в сборе и веселой толпой отправились на луг.

XVII

В ту же ночь в куморской фабрике случилась пропажа: из припасного амбара потерялись медные подшипники. О пропаже их узнали только в полдень, и тотчас же было арестовано несколько мастеровых, которых было хоть маленькое основание подозревать в краже. В числе арестованных был и сосед Гриши, Семен Жбан. Подозрение на него было очень сильно; все говорили, что это его дело, хотя

при обыске, произведенном у него в доме, ничего не было найдено. При допросе он твердил одно, что знать ничего не знает и ведать не ведает, что ночью он не бывал вон из двора. То же показали и все его семейщики. Тщетно кричал Чижов, угрожая рекрутами и Сибирью: Жбан упорно стоял на своем. Чижов решился, наконец, сам ехать к Жбану и произвести вторичный обыск. Жбану он приказал связать руки и отправился в дом к нему с понятыми и полицейскими. Перевернули все вверх дном, обшарили все мышиные норки и опять не нашли ничего. Чижов выходил из себя от злости и несколько раз принимался допрашивать Жбана, не щадя кулаков, как самого убедительного при допросе средства. Жбан стоял на своем — знать не знаю, ведать не ведаю. «Не я один роблю в заводе, — прибавил он, когда Чижов после бесполезных розысков стал опять его спрашивать. — Вот и соседи тоже робят, прикажите и их обыскать, коли так».

— А кто твои соседи? — спросил Чижов.

— Справа Гришка Косатченок, а слева Степан Онучин.

Чижов, не сказав на это ни слова, пошел из избы. У ворот он остановился и думал, ехать ли ему домой, или отправиться с обыском в дом к Грише. Не было причины подозревать его в краже, но злость Чижова на Гришу была еще очень сильна, и он, садясь на дрожки, приказал тщательно обыскать его дом, а сам поехал домой.

Дома он не успел еще выкурить папироски, как к нему запыхавшись вбежал полицейский.

— Нашли! — доложил он.

Чижов встрепенулся.

— Где нашли? У кого?

— У Гришки Косатченка в огороде.

— А-а... — протянул Чижов и скорыми шагами заходил по комнате.

— Прикажете его арестовать? — спросил полицейский.

— А разве не арестовали его? — удивился Чижов.

— Да его дома нет, обыскивали без него, а он на помочь ушел к Василью Галкину.

Чижов помолчал.

— Уж дело под вечер, — сказал он, поглядев в окно, — скоро будут возвращаться с покосов, тогда и взять Гришку.

— Слушаю-с.

И полицейский вышел.

Вечером Гриша, не подозревая грозившей ему беды, весело возвращался с покоса в компании парней и девок, распевавших песни. Поровнявшись с полицией, мимо которой они должны были проходить, Гриша был крикнут полицейским, караулившим его на крыльце. Он бегом подбежал к крыльцу и, поклонившись, спросил, на что его требовали.

— Дело есть до тебя, войди, — сказал ему полицейский, указывая на дверь полиции.

Гриша вошел.

— Садись-ка, брат, да побеседуй, — пошутил полицейский. — Ты еще у нас не гащивал, так вот погости, ночуй ночку-другу, клопиков с нами покорми.

Гриша думал, что он шутит, и, отшучиваясь

сам, хотел было выйти из полиции. Но его остановили и, объявив ему, в чем дело, заперли в арестантскую. Гриша был до того поражен взведенным на него обвинением и тем, что подшипники нашлись у него в огороде, что даже не заметил, что сосед его Жбан тоже сидит в арестантской. «Это дело Жбана, — думал он, — однако мне беды не миновать: Чижов мне не поверит, потому он рад, случая дождался».

Он сел на лавку и заплакал с горя и досады.

— Ну, чего ревешь? — крикнул на него полицейский. — Умел воровать, так умей и ответ держать.

— Видит бог, не я, и дело не мое! — побожился Гриша, утирая слезы кулаком. — Без вины погибаю.

— Подшипники сами зашли в огород, суседушко! — ядовито подшутил Жбан из своего угла.

Гриша вскочил, как ужаленный, при звуках ненавистного шипящего голоса и, подойдя к Жбану, сказал, сдерживая свою ярость:

— Твое это дело, Жбан, попомни ты мое слово, что я тебе отплачу.

— Что же, я от платы не отпираюсь, — шипел Жбан, скаля зубы. — Я возьму, коли милость твоя будет заплатить рублишек десяток, пожалуй, и больше возьму, сколько дашь.

— Так на же вот, возьми! — крикнул Гриша и, размахнувшись, ударил Жбана по щеке, да так, что тот свалился с лавки и закричал караул.

Гришу схватили, связали ему руки назад и отвели в другой угол.

— Что ты наделал? — говорили ему полицейские. — Беда ведь тебе будет, за две вины тебя тожно судить будут.

Полицейские жалели его и были убеждены, что Гриша не виноват и что кража подшипников — дело Жбана.

— Братцы вы мои милые! — взмолился им Гриша. — Пошлите Христа ради сказать дяде Набатову, чтоб сюда пришел.

От Чижова не было приказа, чтоб никого из родных не допускать к Грише, и потому его просьба была исполнена. Через четверть часа Набатов, встревоженный, торопливо входил в полицию.

Увидав его, Гриша взвыл голосом.

— Что воешь? — спросил тот, пристально глядя на племянника.

— Да вот без вины пропадаю, — заговорил Гриша, насилу сдерживая свои рыдания.—Поклеп на меня сделан: бают, я подшипники украл, а я и сном-то своим ничего не знаю.

— А не знаешь, так и выть не о чем, — сказал Набатов уже ласковее и сел на лавку возле Гриши.

— Что это у тебя, никак руки связаны? — удивился Набатов, увидев, что у Гриши связаны руки. — Кто велел связать?

Гриша молчал. Полицейские объяснили ему, в чем дело. Тот подробно расспросил их об обыске, о том, где нашли подшипники, в каких местах была примята трава в огороде, и, выслушав рассказ, обратился к племяннику:

— Слепой разе не увидит, что твое дело правое, — сказал он ему. — А вот что ты на Жбана кинулся, так это плохо. Не надо рукам волю давать... Ох, не надо!

Набатов понурился и помолчал несколько времени. Гриша тоже молчал.

— Развяжите ему руки, братцы, — обратился он к сторожам. — Он больше драться не станет.

— Не станешь, что ли? — спросил сторож, подходя к Грише.

— Не стану, — уныло ответил тот. И сторож развязал ему руки.

— Ты бы, дядя, к Ермакову сходил, обсказал бы ему все дело как есть, может, он за меня и заступился бы, — сказал Гриша, тихонько подвигаясь к дяде.

— Схожу беспременно; ты не тужи много, я Чижову ни в жисть не поддамся, — горячо сказал Набатов. — Ты Жбана не слушай, плюнь на него да и только, а уж я за тебя постою.

И Набатов встал с лавки. Уговаривая племянника не слушать Жбана, Набатов сам насилу удерживался от того, чтобы не броситься на Жбана и не исколотить его тут же до полусмерти.

— Прощай, утро вечера мудренее, — прибавил Набатов и вышел из арестантской. Он был сильно взволнован и раздражен, и попадись ему Чижов навстречу в этот сердитый час — Набатов вряд ли бы совладел с своим сердцем. Он зашел было к Ермакову, но было уж поздно, и Ермаков спал.

XVIII

Утром Гришу повели на допрос в контору, где его ждал Чижов; повели и Жбана, и тот тотчас по приходе сказал Чижову, что Гришка его избил ночью. Чижов спросил сторожей. Те показали, как было дело.

— Так ты еще буянить! — закричал Чижов на Гришу. — Мало того, что ты вор, так ты еще бунтовать, в полиции драться? Под арестом? А-а?

И Чижов с сжатыми кулаками подошел к Грише.

У того засверкали глаза. Он не спятился ни на шаг, но, смело устремив свои глаза на Чижова, заговорил дрожащим от волнения голосом:

— Я коли Жбана ударил, так ударил за дело, потому что он подшипники украл и ко мне в огород подкинул да еще стал смеяться надо мной, ну, я и не мог стерпеть. Хошь бы до кого коснись такая напраслина...

— Ты еще разговаривать смеешь? — закричал на него Чижов, топая ногами. — Молчать, подлец!

— Нет, я молчать не стану, Василий Миколаич, — заговорил опять Гриша, — потому я ни в чем ни на волос не виноват...

— Так ты молчать не станешь? — крикнул Чижов и ударил Гришу по щеке. — Так ты сознаться не хочешь?

И он хотел ударить его по другой, но Гриша схватил его за руки повыше кисти и так крепко стиснул их в своих руках, что как ни

был силен Чижов, а не мог высвободить своих рук без помощи полицейских.

А Гриша, задыхаясь от волнения и борьбы с полицейскими, говорил:

— Ты меня не бей, Василий Миколаич, ты рассуди сперва, виноват я али нет, а бить я тебе не поддамся.

— Так ты не поддашься? — закричал на него Чижов, когда его руки были освобождены из рук Гриши. — Розог! Драть его, да так, чтобы он и с места встать не мог!

Полицейские бросились исполнять его приказание.

В то время, как Чижов тешился над своим слабейшим противником, в контору вошел Ермаков. Следом за ним шел Набатов. По просьбе Набатова, Ермаков хотел было заступиться за Гришу, но, узнав в конторе, в чем дело, раздумал. Он понимал, что не должен поощрять в мастеровых буйства и неповиновения властям ни в коем случае, потому, во-первых, что сам был власть, а во-вторых, что был довольно труслив и, несмотря на свою вражду к Чижову, не хотел на этот раз противоречить ему. Чижов, думал он, напишет управляющему, и кто знает, как там взглянут на это дело; лучше подождать, что дальше будет.

А Чижов, насытив свою злость, велел Гришу заковать в кандалы и увести в полицию, угрожая ему ссылкой на поселенье.

В это время в контору ворвалась Егоровна и с воплем повисла на шее у Гриши. Истерзанный стыдом, болью и злобой, Гриша сурово оттолкнул ее и пошел из конторы, побря-

кивая кандалами. Егоровну тоже хотели вывести вслед за ним, но она бросилась в присутствие, куда ушел Чижов писать донесение, и плача ползала у него в ногах, прося за своего любимца, но дождалась только того, что ее велели вывести и не впускать больше. Она села на конторском крыльце и предалась сильнейшему отчаянию. Смотрел на все это Набатов и только кусал до крови свои посиневшие от душившей его злости губы. Выходя из конторы, он сказал Егоровне:

— Полно выть, старуха, ставай-ко лучше да пойдем ко мне.

И, не дождавшись ответа, он быстро сошел с крыльца и пошел домой. Егоровна встала и покорно последовала за ним.

Придя домой, Набатов сказал дочери:

— Наташка, не отпускай тетку, покуда я домой не ворочусь.

И стал одеваться по-дорожному, ожидая, что Наталья спросит его, куда он. Но Наталья молчала. Вынул он из сундука бумажник с деньгами, привязал его к шнурку, на котором носил большой медный крест, и, взяв шапку, готовился выйти из избы.

— Я пойду в Кушгорт, — сказал он, не глядя ни на Егоровну, ни на Наталью и не обращаясь ни к той, ни к другой в особенности.

— Будь отец родной, — взвыла Егоровна, — заступись за сироту, бог тебе за это заплатит.

И она хотела поклониться Набатову в ноги. Тот нетерпеливо удержал ее рукой и сказал с сердцем:

— Сказано, что иду, так чего еще тебе надо? Что могу, то сделаю и без просьбы.

И он, перекрестившись, пошел к двери.

— Сходи в полицу, скажи Грише, что я ушел начальство за его просить, — прибавил Набатов, взявшись за скобу, — да поживи до меня с Наташкой, пособи ей.

И Набатов вышел. У ворот он встретился с Груней, которая шла к ним с узелком под мышкой. Поклонившись ему, Груня с минуту смотрела ему вслед, спрашивая себя, зачем это он такой сердитый и куда пошел. И потом бегом бросилась на лестницу. Она знала, что Гриша арестован по подозрению в краже подшипников, но и только. Войдя в избу и поздоровавшись с Натальей, она тотчас обратилась к Егоровне с расспросами и узнала от нее все остальные подробности дела.

— В кандалы заковали! — плача закончила Егоровна свой рассказ. — На поселенье хочет его Чижов в Сибирь послать.

— Да разве он душегуб какой, что его в Сибирь на поселенье? Да за что? Да как он смеет! — горячилась Груня. — У, чтоб ему, проклятому, ни на том свете, ни на этом. Сквозь землю бы ему, в самые тартары провалиться, собаке!

И долго еще она злилась и кляла Чижова, призывая на его голову всевозможные бедствия. А Набатов между тем усердно шагал по дороге к Кушгорту, обливаясь потом. Он снял с себя свой суконный бешмет, связал его опояской и повесил за плечи. Снял и поярковую шляпу и нес ее в руке, подставив свою голову

под яркие лучи июльского солнца. Не отошел он еще и пяти верст, как его обогнала ямская телега парой. В ней ехал нарочный служитель, посланный Чижовым с донесением к управляющему.

XIX

Прошло два томительно длинных для Гриши дня. Вечером второго дня в Кумор привезли почту, а с ней и решение Гришиной участи. О том, что почта пришла, Гриша узнал в тот же вечер, но решение о себе узнал только на другой день в десять часов утра в конторе. «Сослать на шесть месяцев в работу в Ялакшинские рудники» — предписало правление, и Гриша вздохнул несколько посвободнее. Он боялся, чтоб не было чего хуже, да и не он один боялся этого. В конторе говорили, что такое милостивое решение по делу Гриши сделано, вероятно, только по просьбе его дяди, а что иначе Грише не миновать бы солдатов. Чижов заметно был недоволен таким решением и говорил в конторе, что Гришу следовало бы по крайней мере отдать в работу на рудники года на три. Отправить его в Ялакшинский завод, отстоявший в двухстах верстах от Кумора далее к северу, Чижов приказал на другой день поутру. Кандалов снимать не велел. Весь день Гриша с величайшей тревогой ждал возвращения Набатова из Кушгорта и уж начинал думать, что ему не придется видеться с дядей до отправки, как вечером пришла Его-

ровна и сказала, что Набатов пришел домой и скоро будет в полицию. Через полчаса Набатов действительно пришел в полицию; он был угрюм и очень утомлен и, войдя в арестантскую, тотчас же сел и несколько времени сидел молча.

— Что, милой, — спросил он, наконец, Гришу, — все еще в кандалах?

— Так и везти приказано, — ответил Гриша. — Неужели их и там с меня не снимут?

— Как не снять, снимут! — сказал Набатов. — Просил я за тебя, Григорий, всех, и управляющего, и членов, и все сказали, что нельзя тебя простить за буйство, — стал рассказывать Набатов. — Для примеру других, говорят, наказать надо. Один только Углов сказал, что он напишет в Ялакшу, чтоб тебя в рудниках не морили, а заставили бы робить в кричной: как и здесь робил; а больше этого ничего не мог выпросить.

Набатов понурил голову и замолчал; молчал и Гриша; только его мать, вздыхая, шептала иисусову молитву и терла рукавом рубахи свои распухшие глаза. Она уж выплакала все свои слезы и теперь только стонала и вздыхала, наглядываясь на своего милого сына, возвращения которого она не надеялась дождаться.

— Что делать, — заговорил опять Набатов, — надо потерпеть, и жалко мне тебя, парень, а пособить нечем; кабы можно было деньгами откупиться, так я бы уж и денег не пожалел, да управляющий спервоначалу сказал, что нельзя простить. «Другим, — гово-

рит, — будет повадно, и то уж народ весь извольничался — начальство ни во что не ставит». Я было стал ему обсказывать, как и что было: безвинный, мол, поклеп на парня взвел сусед по насердке, а теперь и просить нечего. Так с тем и ушел.

И Набатов опять понурил голову и задумался. Видно было, что сознание своего бессилия и полнейшей зависимости от начальства тяжело давило его. Он несколько раз поглядывал на Егоровну, уныло слушавшую его рассказ, как будто она мешала ему, но не сказал ей ни слова. Егоровна, наконец, встала и спросила у Набатова, вместе ли пойдет он с ней, аль останется.

— Ступай одна да ложись спать. Утре ведь надо раньше ставать да стряпать подорожники Грише, — сказал ей Набатов. И когда она вышла из арестантской, он встал и выглянул вслед за нею в другую комнату. Там никого не было, кроме сторожа и рассыльного мальчишки, спавшего на лавке. Было уж часов двенадцать вечера, и все из полиции ушли. Арестантов только и был один Гриша.

Набатов возвратился и сел опять на прежнее место.

— Слышал я в Кушгорте, что Чижову смена будет в этом году, — заговорил Набатов, не глядя на Гришу и стараясь придать своему голосу совсем равнодушный и спокойный тон. — Провинность, говорят, за им есть большая. Углов все у меня про него расспрашивал: каков, де, он с народом, да как к нему народ, да как дела в заводе идут.

— Дай-то бы бог, чтоб его поскорее убрали! — вздохнул Гриша. — А кого на его-то место изладят — не слыхать?

— А есть ведь у них там, небойсь, недостатка не будет. Недостатка у нас в рабочих бывает, а в начальниках никогда, — злобно сказал Набатов, вставая с лавки и выпрямляясь во весь рост. — Только не бывать этому так, и обиды своей я не прощу Чижову. Он от меня не уйдет.

Гриша, вполне сочувствуя дяде в его ненависти к Чижову, хоть и желал, чтоб его постигли всевозможные напасти, однако же не желал, чтобы они постигли его через Набатова. Мысль о том, что Набатов при своей горячей, неукротимой натуре легко может решиться на убийство, уже не раз приходила ему в голову с того вечера, как между дядей и племянником произошел первый откровенный разговор, из которого Грише выяснились все причины ненависти Набатова к Чижову. И теперь, взглянув на Набатова и встретив его сверкающий злобой взгляд, он опять подумал то же и испугался.

— Полно, дядя, — сказал он ему тихонько, — не говори таких речей. Пусть его бог накажет за нас.

— А что, разве у тебя уж зажила спина-то, что ты его на божью волю предавать стал? — мрачно спросил Набатов. — Не слыхал разве пословицы, что до бога высоко?.. Эх ты! Постегали тебя, так ты и укротился.

И в голосе Набатова слышалось что-то вроде укора. Гриша отвернулся и молчал. Он

только крепко стиснул зубы и нахмурил брови, стараясь побороть свое волнение, вызванное этими словами.

— Нету моей возможности терпеть больше, — заговорил опять Набатов. — Ты только рассуди, что какова теперь моя жисть будет? Вот словно завсегда у нас в дому покойник лежит — так оно тихо да пусто.

И Набатов с тяжелым вздохом опять сел на прежнее место и задумался. Грише стало жаль дядю, и он придумывал было сказать ему что-то в утешение, но ничего не мог придумать.

— А коли, даст бог, воротишься ты домой, — заговорил Набатов после нескольких минут молчания, — да со мной без тебя какая ни на есть беда приключится, умру али что, так ты мою Наташку не брось, у ее только и есть родни, что ты: одна как перст останется.

И Набатов замолк опять, сильно взволнованный, и, помолчав, добавил глухим голосом:

— Она на ладан дышит, долго хлебом кормить не придется... Ну, да и деньжонок я накопил немножко, на ее век достанет, да еще и тебе останется.

— Полно, дядя, что ты? Почто тебе умирать? — прервал его Гриша. — Не говори об этом, мне и без того тяжко.

— Зачем не говорить? Это не в нашей власти, и должны мы об этом завсегда помнить, — грустно сказал Набатов.

И долго еще, почти вплоть до рассвета, раздавались в арестантской голоса дяди и племянника. Прислушивался к ним дремлющий сторож и терпеливо ждал, когда они нагово-

рятся и Набатов уйдет домой. Торопить же его уходить сторожу и не приходило в голову. Он и знал, что это было бы бесполезно. «Да и нельзя же в самом деле родным не покалякать промеж себя на прощанье. Ведь Ялакшинские рудники не свой брат, и работа в них тяжкая, да и мало ли что человеку может приключиться», — думал сторож под неясные звуки голосов, доносившиеся из арестантской. Уж на рассвете Набатов ушел домой и лег на свое обычное место — в санях под навесом, но заснуть не мог. Часов в шесть утра он и Егоровна уже опять были в полиции. У крыльца уж стояла пара лошадей с ямщиком на козлах и еще другим мужиком, который должен был проводить арестанта до места ссылки. Егоровна с таким безнадежным отчаянием причитала над своим сыном, что можно было подумать, что она расстается с ним не на полгода только, а на всю жизнь. Набатов молчал, и только лицо его конвульсивно передергивалось всякий раз, как звенели цепи на ногах Григорья, одевавшегося в дорогу. Скоро он был готов и, поклонившись в ноги матери и дяде, пошел садиться в телегу. Набатов дал ему на дорогу два целковых. Все время Гриша был спокоен и бодр, но, севши в телегу и оглянувшись на свою хилую старуху-мать, он не выдержал и заплакал.

— Поезжай мимо моего дому, — сказал Набатов ямщику, влезая на козла, — пусть он с моей девкой простится — она его ждет у ворот.

Егоровну тоже посадили на край телеги и

поехали. У дома Набатова остановились. У ворот вместе с Натальей, державшей узел с пирогами, стояла и Груня. Она еще накануне узнала о времени отъезда Гриши и пришла проститься с ним. Когда телега остановилась, обе девушки подошли к ней, и Наталья молча поцеловалась с Гришей и положила узел с пирогами в телегу. Поцеловалась и Груня и, вынув из-за пазухи шерстяные чулки, подала их Грише. Тот слегка отстранил их рукой, сказав:

— Начто проторишься, Аграфена Васильевна, не надо.

— Полно, Гришенька, возьми, зимой-то сгодятся, — убеждала покрасневшая Груня.

Григорий не отговаривался больше и, взяв чулки, положил их в узел с бельем, приготовленный матерью, и перецеловался еще раз со всеми. Затем провожавший его мужик сел в телегу и велел ехать. Егоровна кинулась было вслед за телегой, но Набатов удержал ее и повел в избу. А Наталья и Груня долго еще стояли среди улицы, глядя вслед за удалявшейся телегой и отвечая прощальными знаками на поклоны Григорья.

XX

Ялакшинский чугуноплавильный и железоделательный завод, построенный на речке Ялакше, протекающей между двумя высокими горами, обильными железной рудой, имеет

весьма непривлекательный вид. Покрытые тощим ельником высокие горы, с обнаженными, изрытыми боками, вздымаются по обеим сторонам речки Ялакши; по склонам их, изрезанным логами и угорами, расположены бедные, невзрачные дома заводских мастеровых. В одном из этих бедных домов нашел себе пристанище наш ссыльный. С него по приезде в Ялакшу сняли кандалы и, выдержав его еще с неделю под арестом в заводской полиции, наконец, отпустили в квартиру с строгим наказом не бегать.

— Убежишь — хуже будет, — сказал ему приказчик, — потому что поймают и опять сюда же пришлют. А тогда уж кандалов не снимем да и из полиции не выпустим.

Но эти увещания были бесполезны. Гриша и не думал бежать. Затаив глубоко в сердце всю свою ненависть и злобу, он решился терпеливо вынести время ссылки. Сначала его заставили работать наверху, и работа не казалась ему особенно тяжела. Но когда пришлось опуститься в шахты глубиной сажен на шестнадцать, то Григорий сильно приуныл. Несносен был ему спертый, удушливый воздух в рудниках, и он с все возрастающим нетерпением ждал распоряжения из Кушгорта об освобождении его от работы в руднике. Но Углов или обманул Набатова, или забыл об обещании, данном ему, только никакого распоряжения в Ялакшу не получалось, и Гриша, прождав до октября месяца, надумал сходить к ялакшинским приказчикам попросить их о переводе его из рудников в кричную или хоть

на какую-нибудь другую работу. Мысль эта пришла ему в голову в одно холодное и туманное утро, когда Гриша, проработав в руднике ночь, вылез из шахты уставший и покрытый грязью и шел по дороге к заводу, где была его квартира. Туман в это утро был до того густ, что не было возможности видеть на два шага вперед, и как ни было холодно Грише в его мокром, облепленном жидкой красной грязью тяжелке*, он поневоле должен был идти тихо. Кое-как, чуть не ощупью доплелся он до своей квартиры и, сняв мокрую одежду, развесил ее на печи для просушки, а сам сел на лавку и ждал завтрака, который только что начала приготовлять его хозяйка. Он был очень голоден, очень утомлен и уныл, и его выразительные и умные глаза как будто потеряли свой блеск и как-то тупо следили за движениями хозяйки, стряпавшей лапшу. Скоро лапша сварилась, и хозяйка, перелив ее из котелка в чашку, поставила на непокрытый стол, положила возле нее ложку и краюху хлеба и пригласила Гришу за стол. Пока он ел, хозяйка его стояла у лубочной люльки и печально глядела на спавшего в ней больного ребенка. Она была еще молодая женщина с некрасивым и бледным лицом, на которое суровая бедность наложила свой тяжелый отпечаток. Как будто застыло на ее лице выражение покорного, тупого страданья. Она доживала замужем четвертый год и сбиралась хоро-

* Тяжелко — род халата из грубого дубленого или синего холста, подложенного другим, более тонким, затканным наполовину шерстяной пряжей. (*Примеч. авт.*)

нить своего третьего ребенка. Двое первых точно так же, как и этот, томились по нескольку недель в лубочной люльке и потом умирали.

«Умрет и этот», — думалось бедной женщине, и щемило и ныло ее материнское сердце, когда она смотрела на худенькое, бледное личико, выглядывающее из-под грубых синих тряпиц, служивших ребенку постелью и одеялом. Тяжело вздохнув, отошла она от люльки и, поглядев в окно, сказала:

— Зачинает же туман подыматься, можно уж теперь носить воду.

— Пустили постояльцев-то? — спросил у нее Гриша.

— Пустили еще троих, — отвечала ему хозяйка, выходя из избы.

Гриша вышел из-за стола и, влезши на полати, хотел было заснуть, но не мог, несмотря на свою сильную усталость. Ему все думалось, что будет он говорить приказчику и что скажет ему приказчик. Потом его мысль перешла на тяжелые рудничные работы, на работы в фабриках, более легкие, чем в рудниках, и еще более легкие поденные, или так называемые поторжные, работы.

«Вот бы хорошо, кабы мне хошь с недельку в поторжной поробить, — думалось Грише, — отдохнул бы я, а то уж совсем замучили в этих рудниках; силы у меня даже не стало». И он стал слезать с полатей и собираться идти к приказчику.

В избу вошла старуха в зеленой китайчатой шубке, с берестяным бураком в руках.

— Где Орина? — спросила она у Гриши.

— За водой ушла, — отвечал он.

Старуха заглянула в люльку и, промолвив: «Все еще жив», — села на лавку, поставив возле себя бурак.

— А Игнат на работе? — спросила она опять.

Игнатом звали хозяина Гришиной квартиры, Ориной — хозяйку.

— На работе, надо быть, — сказал Гриша.— Я недавно пришел, никого уж не застал.

Вошла Орина с водой и, вылив ее в кадку, поздоровалась со старухой.

— Я те молока принесла, — сказала старуха, — ребенка-то кормить.

— Спасибо, — сказала Орина и прибавила, подойдя к люльке: — Не жилец он у меня, Степановна, почитай что ничего и не ест.

Старуха тоже подошла к люльке.

— Пошто ты грудью-то перестала кормить? — спросила она.

— Да сам не стал брать. Молока-то у меня в грудях не было — так, малость самая: ну, он ссёт-ссёт, не попадет ничево — так и перестал.

— Ну и на что тебе робят-то? Дело ваше бедное да нужное; умирают, так и пусть умирают с богом, — рассудила старуха.

— А мне вот жаль, — сказала Орина грустно. — Хошь бы один-от жил, намедни в церкви была, свечу богородице поставила, не даст ли, мол, здоровья.

— А какой богородице-то? — спросила старуха.

Орина затруднилась и не знала, что отвечать на такой вопрос.

— Да известно какой — богородице да и только: одна ведь богородица-то, — отвечал за нее Гриша.

Старуха живо обернулась к нему.

— Как одна? — горячо заговорила она. — Что ты суешься, коли не знаешь? Молчал бы уж, — и потом прибавила внушительно: — Не одна, а двенадцать богородиц-то.

Гриша удивился, но так как его сведения по этой части были весьма ограничены, то он счел за лучшее промолчать.

— Вот я те скажу какие: перво-наперво смоленская, затем иверская, затем тихвенская, — принялась считать старуха. Считала да считала и действительно насчитала двенадцать.

На это Гриша уж совершенно не нашелся ничего сказать, и так как он уже оделся, то взял шапку и вышел из избы, оставив женщин рассуждать на свободе. Дойдя до угла, он остановился в нерешимости, к которому из приказчиков идти с просьбой. «Пойду к главному, — порешил он наконец, — говорят, он добрее до нас».

Но главного он не застал дома: сказали, что уехал в контору. Гриша пошел туда. В конторе было много народу. Судили каких-то жуликов за кражу чугуна. Приказчики оба были очень сердиты и сильно ругались. Гриша прижался к двери и ждал. Скоро подсудимых увели, и один из приказчиков обратился к Грише с вопросом, что ему нужно.

Гриша, сильно приунывший и потерявший надежду выпросить что-нибудь у сердитых приказчиков, высказал свою просьбу. Но, к удивлению и радости Гриши, просьба его была уважена, и ему на другой же день велели выходить на перекличку. Он поблагодарил приказчика и вышел из конторы весьма довольный таким результатом своей просьбы. Правда, если бы он знал, что просьба только напомнила приказчику о распоряжении, полученном из правления уже с месяц назад тому и по забывчивости не приведенном в исполнение, то удовольствие Гриши, может быть, и поубавилось бы; но он не знал об этом и, придя на квартиру, лег на полати и заснул спокойным, крепким сном. Проснулся он уж вечером, когда, возвратившись с работы, крестьяне, новые постояльцы Игната, громко заговорили в избе, снимая мокрую обувь и одежду и раскладывая ее на печи. Гриша свесил голову с полатей и поглядел, нет ли между ними кого знакомых. Но знакомых никого не было.

«Что это, — думал Гриша, перевертываясь на другой бок, — хошь кого-нибудь из знакомых встретить, про дядю бы спросил, про мать; а то как есть никого не встречал и, как из дому уехал, так и не слыхал про их ничего».

И, тяжело вздохнув, он принялся высчитывать, сколько еще ему осталось жить в Ялакше.

«Груне меня, знать, не дождаться, — думалось Грише, когда он сосчитал, сколько прожил в Ялакше, — теперь ее беспременно кто-

нибудь сватат, станет ее неволить отец, мать, вся родня зачнет уговаривать, вот она и выйдет. Вот тебе и любовь наша, тут ей и конец». И Гриша опять вздохнул. «Разе дедушко Савелий постоит за ее, он ее любит». Но в это время до слуха Гриши долетело имя, произнесенное одним из мужиков, имя, заставившее его вздрогнуть и внимательно прислушиваться.

— Чижов, — говорил один из крестьян, — он и есть самой. Застрелился, говорят, оружьем.

Гриша быстро слез с полатей и спросил, о ком говорят.

— Да вот в Куморе прикащик, говорят, застрелился, — сказали ему в ответ.

— Сам застрелился? — спросил Гриша встревоженным тоном.

— Не знам; надо быть, сам, мы вот на работе чули, — ответили ему крестьяне.

— А который — не знаете? — продолжал расспрашивать Гриша.

— Да Чижов, бают: тот, де, самый, коей смолоду-то здесь жил.

— Да правда ли это?

— А кто знат! Мы чули на работе от мастеровых, они промеж себя толкуют, так мы тут же послушали.

— А тебе что до приказчика этого? — спросили мужики у Григорья.

— Да так; я, вот видишь ты, куморский, так хотелось бы узнать-то — правда, не правда.

Посудили, потолковали еще и стали ужинать. После ужина двое мужиков полезли на полати, а третий сел возле Гриши и стал его

расспрашивать, кто он, откуда и зачем. Гриша отвечал вяло и неохотно. Слух о смерти Чижова ошеломил его, и он не знал, что делать. Страх, не замешался ли тут дядя Набатов, спутывал все его мысли и тревожил его все сильнее и сильнее.

Позднее всех пришел Игнат; это был сухощавый, невысокого роста мужик. Он работал в фабрике. Сняв свои лапти с баклушами и кожаный запон, Игнат молча сел за стол, и Орина, только что убравшая со стола, опять засуетилась, спеша подать мужу ужин.

Пока он ужинал, Гриша спросил у него, не слыхал ли он чего про куморского приказчика Чижова.

— Чул, — ответил Игнат, — убился, говорят, он.

— Как убился?

— Да из ружья, так и убился до смерти.

— Сам?

— Надо быть, сам, потому, говорят, убился.

— Эко диво какое! — говорил Гриша, хлопая руками. — И что ему сделалось такое? Как он так?

— А кто знат как? Попритчилось, надо быть: на притчу ведь мастера нет.

Скоро все улеглись и заснули. Не спалось только Грише, взволнованному неожиданной новостью, да Орине, укачивавшей на руках свое больное, расплакавшееся дитя. На полу было холодно, и Орина полезла с ребенком на печь и сидела тут, качаясь из стороны в сторону и шепотом творя молитву. Старуха, приходившая утром, сказала ей, что самая мило-

стивая из богородиц — иверская и что к ней следует обращаться за помощью. И вот Орина терпеливо сидит всю ночь над своим ребенком и шепчет с надеждой в душе:

«Мать пресвятая богородица иверская, помоги нам, грешным: исцели мово младенца от болезни!»

XXI

Рано утром вместе с крестьянами Гриша вышел на перекличку. Всю ночь шел снег и засыпал все дороги так, что приходилось брести в снегу по колено. Когда они подошли к распомечной, довольно просторной избе, где делалась перекличка работникам и распределение их по работам, было еще совершенно темно, но у избы уж стояла толпа мужиков. Все это были крестьяне, высланные для работ в Ялакшинском заводе из разных сел и деревень помещика. Некоторые из этих деревень отстояли от Ялакшинского завода верст на двести и более. Высылка крестьян на работы в Ялакшу разделялась на три: осеннюю, зимнюю и весеннюю. Весенняя, как бывающая в такое время года, когда крестьянину необходимо быть дома, считалась за тяжелейшую. Богатые крестьяне от высылки в Ялакшу откупались взносом известной суммы денег или наймом работника вместо себя; но таких было весьма немного, и большая часть крестьян отбывала господские повинности лично. Все крестьяне во все время высылки прокармливались в Ялакше взятым из дома хлебом и

только в крайних случаях получали от помещика вспоможения. Правда, все они получали за свою работу поденную плату, но она была до такой степени ничтожна, да к тому же еще большая часть крестьян забирала в счет этой платы разные припасы, так что к концу высылки приходилось чистых денег не более полтинника, а часто и менее. С этими скудными средствами мужикам приходилось возвращаться домой, и хорошо еще, если дорога была не дальняя — тогда денег доставало; жившим же в более отдаленных от Ялакшинского завода деревнях часто во время обратного путешествия приходилось пропитываться христовым именем. Дома у крестьян оставались одни женщины и малолетние дети, и семьи тех из них, у которых было достаточно земли, пропитывались без особенной нужды.

В ту осень, которую довелось Грише провести в Ялакшинском заводе, крестьян нагнали — как выражались они сами — чересчур много, и ялакшинские приказчики не знали, что с ними делать. Вместо того, чтобы посылать на некоторые легкие работы, требующие одного и двух человек, посылалось пять и шесть, и за всем тем еще оставались незанятые работники и жили даром по целым дням. Оставить же Ялакшинский завод прежде окончания срока высылки никто не смел. Такая самовольная отлучка называлась бегством и строго преследовалась. Само собой, что такое положение дел вовсе не способствовало увеличению благосостояния в народе, да и для самого помещика оно не было бы особенно при-

бывально, если б рабочие силы ценились им хоть во что-нибудь. Но тогда рабочие силы помещику вовсе ничего не стоили, и, разумеется, было выгодно заставлять десятерых плохих рабочих делать то, что при других условиях могли бы сделать двое.

Скоро к распомечной избе подошел распометчик, и толпа, молчаливо ожидавшая его, пришла в некоторое движение. Распометчик вошел в избу, и вместе с ним вошло столько мужиков, сколько могло поместиться.

Было еще совершенно темно, и потому сторож вздул огня, зажег свечку и поставил ее на стол. Распометчик, приземистый, коренастый мужчина с бритым подбородком и тупым взглядом, сел за стол и стал перекликать народ по книге. Из работающих в самом заводе недосчиталось только трех: одного придавило в руднике оторвавшейся глыбой земли, другой заболел горячкой — и оба были отправлены в больницу: третий просто пропал без вести. Против имен заболевшего и изувеченного распометчик отметил карандашом «больной», против пропавшего без вести — «донести» и стал распределять народ по работам. Прежде всего послано было по три человека к приказчикам, по стольку же к смотрителям, надзирателям и другим начальствующим лицам для исправления у них разных домашних работ, и затем уже остальных распределили по текущим господским работам. Гриша, как вновь прибывший, был внесен в книгу и послан, вместе с другими пятью мужиками, перекрывать крышу на каком-то господском здании. Тут он прора-

ботал до обеда, а после обеда распометчик, обходя по работам, нашел, что тут и без него достаточно людей, и послал его к себе домой топить баню. Там он не только истопил баню, но вычистил еще в хлеве, поправил у него плохо притворявшуюся дверь и сделал много других домашних работ. Отдыхать и простаивать даром, как это можно было на господских работах, ему не давали. Жена распометчика то и дело выходила в ограду и покрикивала Грише, чтобы не ленился и не стоял даром. И Гриша работал до поту и так усердно, что обратил на себя внимание распометчиковой жены, привыкшей иметь дело с ленивыми и неповоротливыми крестьянами. Она вступила с ним в разговор и, узнав, что он мастеровой из Кумора, разговорилась еще более. Между куморскими служителями у ней были знакомые и родные, и она стала расспрашивать Гришу про них, потом расспросила его, зачем он в Ялакшинском заводе и давно ли, и после всех этих расспросов раздобрилась до того, что велела ему зайти в кухню и накормила ужином, состоявшим из щей с говядиной и кислого молока, — ужином, какого Гриша не едал с самого приезда в Ялакшу. Гриша сказал ей за это искреннее спасибо и ушел домой, весьма довольный проведенным днем. Всего более он был доволен тем, что распометчица подтвердила слух о смерти Чижова, сказав, что она слышала об этом от родственников Чижова, получивших вернейшие известия. Теперь только из ее рассказов убедился Гриша, что Чижов застрелился сам, что никого не

подозревают в убийстве, и успокоился насчет своих опасений за Набатова. Отчего застрелился Чижов и застрелился ли он намеренно или нечаянно, распометчица не знала, да и Гришу мало интересовало это. Довольный и покойный, крепко заснул он в эту ночь, и хорошо спалось ему, несмотря на духоту, стоявшую по ночам в тесной избе Игната, увеличившуюся в эту ночь еще более оттого, что постояльцев прибавилось еще три человека.

Рано утром мужики пошли опять на перекличку, и вчерашний день повторился с самыми незначительными изменениями. Для Гриши была разница только в том, что ему не довелось работать у распометчика, говорить с его женой и поужинать вкусными щами с говядиной, о которых он вспоминал, принимаясь за неизменную капусту с квасом, которой постоянно кормили у Игната постояльцев.

Так прошло время до половины декабря, а с половины Гришу совсем уволили из Ялакшинского завода, предоставив ему возвратиться в Кумор как знает. В тот же день, в который Грише объявили увольнение, распростился он с своими хозяевами и отправился из Ялакши пешком, вместе с двумя другими крестьянами, которые отработали свое урочное время. Дорогой Грише приходилось питаться одним хлебом, так как из денег, данных ему Набатовым, оставалось у него уж весьма немного, а работая в Ялакше, он не получал, кроме двух пудов хлеба в месяц, никакой платы. Но, несмотря на все трудности обратного пути из Ялакшинского завода, Гриша совершил его с

большой бодростью, поддерживаемый чувством радости, что наконец кончилась его ссылка и он возвращался домой здоровый и невредимый.

XXII

Подойдя к своему дому, Гриша удивился, увидя сугроб снегу у ворот. «Неужели мать-то умерла, — подумал он, тревожно оглядываясь. — Никакого даже следу нет, словно и не живали тут всю зиму».

И он старался заглянуть в ограду, не решаясь забрести в снег, которого набило к воротам аршина на два в вышину. Из соседнего дома вышла женщина с ведрами, узнала Гришу, поздоровалась с ним и сказала ему, что мать его живет у Набатова уж другой месяц, что перешла она туда после смерти Натальи совсем, перевела с собой корову и кур и заправляет у Набатова хозяйством.

— Так неужели Наталья умерла? — спросил Гриша, и удивившись и опечалившись.

— Умерла, милой, до заговенья еще умерла задолго, — ответила ему женщина. — Да ты неужели ничего не слыхал про своих-то?

— Где слыхать-то? Ничего не слыхал.

И Гриша торопливо зашагал к Набатову.

Начинало уже смеркаться, когда Гриша пришел в Кумор, и Егоровна, плохо видевшая и днем, кое-как разглядела своего любимца, вошедшего в избу. С радостным криком обняла она своего сына и целый вечер повторяла с видом полнейшего удовольствия:

— Ну, слава богу, вышел, слава господу богу!

Обрадовался Грише и Набатов. Он совсем поседел в последнее время и как будто постарел вдруг на несколько годов. Сам он затопил для племянника баню и дал ему надеть после бани свое белье, так как у Гриши белья не оказалось — он износил в Ялакше все, что у него было, и пришел домой в лоскутьях. Очень не хотелось Набатову идти в эту ночь на работу, но делать было нечего, надо было идти, и он, отложив все разговоры с племянником до следующего дня, поужинал и ушел, подвязав свой кожаный запон и накинувшись сверху шубой. Гриша проводил его за ворота и поглядел ему вслед. Набатов ничего не говорил о смерти Натальи, но видно было по его унылому, потухшему взгляду и всей постаревшей и опустившейся фигуре, как глубоко поразила его эта смерть. И Гриша в душе крепко жалел старика. По уходе Набатова Гриша с удовольствием растянулся на чистых просторных полатях и стал расспрашивать у матери о куморских новостях: о том, кто из молодежи поженился в эту осень, какие девки вышли замуж, и Егоровна принялась рассказывать сыну все, что знала, и рассказывала чуть не всю ночь, не замечая, что он давно заснул под ее рассказы.

На другой день Набатов разговаривал с Гришей.

— Застрелился ведь ворог-от наш, — сказал он. — Осенью еще это было, в сентябре.

— Как он застрелился, почто, расскажи-ко, дядя, я ведь ничего не знаю, ни от кого не слыхал, как что было, — сказал Гриша и не мог удержаться от пытливого взгляда на дядю.

— А так и было, что застрелился да и только. Утром это случилось, часов в десять, услышали в кабинете его выстрел; хозяйка-то его и пошла к нему в кабинет посмотреть, чего, мол, он там палит; пришла, а у него уж и дух вон. Лежит, сказывают, на диване, череп с головы сорвало и мозг-от вышибло да на стену и ляпнуло. Ну, известно, испугалась она, заревела; послала по Ермакова — тот пришел, поглядел, видит, мертвый; кабинет заперли, караул поставили и послали нарочного с донесением в правленье и к исправнику.

— А отчего он застрелился, так неизвестно и осталось?

— Нет, неизвестно. Это уж богу судить — не нам. Толковали в народе-то, что нашли у него на груди пакет, тремя печатями запечатан, и на самого владельца подпись та написана, чтобы то есть к ему отправили, да Ермаков, говорят, взял да к управляющему и отправил. Может, тут что и было написано про то, отчего он застрелился; а окромя этого, ничего неизвестно. Отпевать его не велели: самоубийцев, де, не отпевают. Вот не помнишь ли, может, годов пять тому причетникова дочь утопилась? Так ее тоже схоронили без отпеву.

— Как не помнить, помню, — ту натомили еще.

— Ну и Чижова-то тоже ведь натомили, не без того. Лекарь был этта, и исправник, и все дни три жили. Хоронили его в воскресенье. Я пошел поглядеть — не то, чтобы я рад был, хоша он и ворог мой лютой был и сам я на его зуб грыз, а как учул, что он застрелился, так меня словно обухом треснуло — испужался я вот сам не знаю чего; лом у меня был в руках, даже лом этот выпал. Ну, и пошел я поглядеть, в гробу уж увидел. До этого я все на него злобу имел, говорил даже Рясову: ну, мол, туда и дорога, собаке — собачья и смерть. А тут как увидел его в гробу-то — черной, вот словно уголь, лежит, и лоб черным обвязан, — так словно меня страх какой взял, глядеть даже не мог долго, отвернулся скорее. Хозяйка его опять ревела шибко, вот словно кожу с тела сдирает, как она закричит: «А Васенька, почто ты меня оставил?» Я не мог тут и быть, ушел домой и не проводил. Закопали, говорят, где-то по-за кладбищу — там в лесу, и не знаю где.

— Правду я говорил, дядя, что бог его покарает за нас, — сказал Гриша, выслушав этот рассказ.

Набатов отвечал глубоким вздохом и долго молчал задумавшись.

— Не приведи бог никому такой смертью умирать, — сказал он наконец. — Хоша он и много мне зла наделал, одначе что теперь об этом говорить. Самоубивице, говорят, на том свете прощенья уж не будет, молиться даже за них не велят.

— Одначе хозяйка-то его молится,— сказала Егоровна, пришедшая в избу с холстом в руках и слышавшая только конец разговора.— Наняла какого-то нездешнего попа поминать сорок ден, даже, сказывают, и отпевали потихоньку на могиле-то.

Набатов не сказал на это ни слова и, помолчав, спросил у Егоровны, желая переменить разговор:

— Что это ты с холстом хошь делать?

— Да вот хочу парню-то рубаху скроить: ведь совсем он обносился,— сказала Егоровна, подходя к Грише и примеряя по нем длину рубахи.

— А шить кто станет: ведь ты шить-то не видишь? — спросил опять Набатов.

— А уж и не знаю кто, найму кого-то.

— Ты бы уж и скроить заставила кого другого, сама-то, пожалуй, только добро изведешь попусту,— посоветовал ей Набатов и потом прибавил, обернувшись к Грише:

— Жениться тебе надо, парень, старуха у тебя совсем плохая стала, еле ноги волочит, по хозяйству управлять уж не может; ее дело с ребятами водиться.

Гриша вздохнул.

— И рад бы жениться,— сказал он,— да ведь сам знашь, дядя, на свадьбу деньги нужны, а у меня что — ничего нету, одежи даже никакой нету, стыдно на улицу выйти.

— Ну, одежу завести недолго,— сказал Набатов ласково,— вот к празднику торговые наедут, так и купим; на свадьбу денег тоже не бог знает что надо, я дам, не тужи; мне

теперича копить не про кого — родни у меня только ты и есть.

И он тяжело вздохнул, грустно поглядев на племянника. А тот только беззвучно шевелил губами, стараясь выразить дяде свою благодарность, и не мог сказать ни слова: радость захватила ему дух.

— Будь ты место отца родного, пособи ты нам, сиротам убогим, — слезливо заговорила Егоровна, подходя к Набатову.

— Ну да полно, чего ты канючишь? Смерть этого не люблю, — сказал Набатов, но в голосе его не было обычной строгости, и потому Егоровна не унялась.

— Будь отец родной, не покинь нас, сам уж и сосватай по своему разуму, где найдешь лучше, — заговорила она.

— Ну, ладно, ладно, об этом еще речь впереди будет. А ты вот давай-ко собирать на стол — обедать пора, — нетерпеливо перебил Набатов.

Пока Егоровна накрывала на стол, Гриша спросил у Набатова:

— А ты, дядя, помнишь, об чем я с тобой летом говорил?

— Как не помнить — помню, — ответил Набатов, — а что?

— Да так, ты уж того, у Галкина-то и посватался бы, — сказал Гриша, поглядывая на дядю.

— У кого хошь, — сказал на это Набатов, — тебе жить-то — ты и выбирай, у Галкина, так у Галкина: Аграфена — девка славная, бойкая, работящая.

— Кто это?.. Про кого говорите? — спросила Егоровна, внимательно прислушивавшаяся к разговору.

— Да про Аграфену Галкину, ее хочет сватать.

— Чу, ково! Что же, с богом — девка хорошая.

Пообедали. Набатов лег спать, а Гриша оделся и вышел из дому. Ему хотелось повидаться с Груней, но он не знал, где и как.

«Пойду мимо их, авось, не выйдет ли за ворота», — подумал он, направляясь в улицу, где жил Галкин.

И точно, Груня вышла за ворота тотчас, как увидала его.

Она еще накануне слышала, что Гриша пришел домой, и с самого утра поглядывала в окно, ожидая, что он пойдет мимо. Увидав ее у ворот, Гриша подошел к ней и молча поклонился.

— Здравствуй, Гришенька! — сказала она, зарумянившись и кланяясь ему.

— Сколько времечка не видались — без малого полгодика, — сказал Гриша, глядя на ее раскрасневшееся лицо.

— Долго не видались, даже и слуху-то про тебя никакого не было, — заговорила Груня, несколько оправляясь от смущения. — Что ты там делал?

— Известно что — робил: сперва в рудниках, после в поторжной, а тут и совсем уволили; недели три еще до срока не дошло, да так уж по милости уволили.

— Ну и слава богу; мать-то, поди, рада?

— Как не рада, один ведь я у ее только и есть. А вы как поживали, все ли благополучно, все ли здоровы?

— Ничего, живем помаленьку, все здоровы. А вот у вас в родне-то так беда стряслась — Наталья умерла.

— Умерла бедняга, что делать!

Гриша вздохнул и прибавил:

— Мне вот дядю жалко; он хошь и ничего не говорит, а видно, что тоскует по ее шибко.

— Как не тосковать-то! Одна ведь только и была; ну опять, может, и об том тоскует, что сам не прав: от побоев ведь ей болезнь приключилась.

Гриша молчал.

— А вы все у него живете? — спросила Груня.

— Все, до праздников тут будем жить, а после праздников, как жениться стану, перейдем в свой дом, — сказал Гриша улыбнувшись.

Груня покраснела и спросила, чтоб переменить разговор:

— Что делает Егоровна?

— Рубахи мне кроит; шить-то не видит — не знаю вот, кому бы шить отдать.

— Мне одну принеси, я сошью, — вызвалась Груня.

— Грунька, а Грунька! — раздалось из дому.

— Иду, — отозвалась Груня, взявшись за кольцо. — Прощай, Гришенька, принеси рубаху-то.

— Ладно, принесу, прощай, Грушенька!

И Гриша поспешно отошел от ворот, заслышав на крыльце тяжелые шаги Груниной матери.

— С кем ты тут тараторила? — взъелась на Груню мать, когда та взошла на крыльцо. — Мотри, вот я скажу отцу!

Груня, не сказав ей ничего, шмыгнула мимо нее в избу.

«С кем это она? Ишь, лукавка, молчит ведь», — думала Галчиха, сходя с лестницы, и, отворив ворота, выглянула на улицу. Гриша уже поворачивал в переулок, и Галчиха не могла его узнать издали.

А Груня между тем принялась за прялку с какой-то лихорадочной поспешностью; у ней сильно билось сердце и дрожали руки.

«Какой же он баской стал, — думалось Груне, — словно вырос еще, борода зачалась у его... Жениться хочет... неужели он меня не возьмет?» И сердце у ней как будто упало при этой мысли.

XXIII

Наступили святки; заперли фабрики в Куморе, и загуляли мастеровые. Грише Набатов купил перед праздником кафтан, сапоги и ситцу на рубаху. Слух о том, что Набатов накупил племяннику обнов и после праздников хочет его женить и свадьбу сделать от себя, то есть на свой счет, скоро распространился между куморскими невестами. У кого будет сватать Набатов за племянника — никто не знал наверно, и те из невест, которым Гриша пред-

ставлялся приличной партией, наперерыв старались ему понравиться, зазывая его на вечорки; чаще других припевали его в песнях, где следовало целоваться, и крепко хлопали по спине в святочной игре в жмурки. Никто не думал ставить ему в вину ссылку в Ялакшинские рудники, напротив, все жалели его и говорили, что он пострадал безвинно. Молодежь наперерыв зазывала Гришу в гости, а Андрюша Ипатов, первый щеголь из куморских мастеровых, даже предлагал поставить его, Андрюшу, в дружки, когда Гриша будет жениться, и всячески старался выведать, у кого он хочет сватать невесту. Но Гриша или отмалчивался, или отшучивался до времени, простодушно удивляясь, отчего это все так ласковы и так льнут к нему и заискивают его дружбы даже те парни, которые прежде ему и не кланялись. А дело объяснялось очень просто: Гриша жил у Набатова — у богатого, вдового и бездетного Набатова, и говорили все, что Набатов души не чает в племяннике.

— На моду напал Косатченок, — толковали бабы между собой, — у девок только и разговоров, что про Гришку...

— Все до единой замуж за его собираются, — смеялись бабы. — Вот бы нашутил да взял нездешнюю! Уж поцыганили бы мы над нашими девками!..

— А он парень баской, — тараторила одна молоденькая баба, — ему надо и невесту брать баскую, за богачеством гнаться нечего — богачества и у Набатова много: умрет — все ему оставит.

— Когда еще умрет, — говорили другие.

— Ну, когда-нибудь да умрет же; а тогда Гришка, пожалуй, первый богач в Куморе будет.

Молва, разумеется, баснословно увеличивала богатство Набатова.

Прошли праздники, и в первое же воскресенье после крещенья Набатов нарядился в свой суконный бешмет и, помолившись на иконы, поклонился Егоровне и сказал:

— Благослови, старуха, иду свататься.

— С богом! С богом! — заговорила Егоровна. — Дай бог счастливо, — и перекрестила его вслед. Гриша хотел было выйти проводить дядю, но Егоровна удержала его, потому что видела в этом нехорошую примету.

— Не ходи, что провожать-то! Не на век пошел, — сказала она.

Гриша опустил голову на руку и задумавшись сидел у окна.

— Не тужи, отдадут ведь, — успокаивала его Егоровна.

— Отдадут ли, нет ли, еще неизвестно, — задумчиво сказал Гриша. — Знают ведь, что я нужной да бедной; может, и не захотят за бедного-то отдать.

— Ну, какой же такой бедной — есть и беднее тебя, — заговорила Егоровна с неудовольствием. — У тебя еще, слава богу, изба есть своя, покос, корова, робить станешь — хлеб станут давать, чего тебе еще надо?

Гриша не отвечал и, только вздохнув глубоко, с тревогой в душе ждал возвращения Набатова.

«Господи, как он долго, что он так долго», — думал Гриша, поглядывая в окно.

— Долго засиделся наш сватовщик, — проговорила Егоровна, как будто в ответ на Гришину мысль. — Надо быть, дело на лад идет.

Но вот часа через три, показавшиеся Грише целым веком, он завидел, наконец, дядю на улице. Набатов шел не торопясь; в последнее время он привык ходить с опущенной головой, и Грише из-под нахлобученной на дяде мохнатой шапки не было видно его лица. Вошел Набатов в избу, снял шапку, повесил ее на гвоздь и весело поглядел на племянника. У того отлегло от сердца.

— Что? — спросил он.

— Да то, что через два дня велел Василий за ответом быть, — сказал Набатов, садясь на лавку. — С родней хотят посоветоваться — с дедушкой, с бабушкой, со всеми.

— Неужли они не присоветуют? — встревожился Гриша.

— Почто не присоветуют; да и сказано это было так — для порядку только: по всему видно, что хотят отдать, — сказал Набатов.

— Невесту-то видел? — спросила Егоровна.

— Видел; как зашел, она в избе сидела, стал говорить-то — она соскочила да и вон из избы.

— Застыдилась, девка молоденькая! — с ласковой старушьей улыбкой молвила Егоровна.

Прошло два дня; опять пошел Набатов к Галкину и на этот раз уж вернулся с решительным ответом. Велели на другой день на

рукобитье приходить, а через неделю и свадьбу назначили. И всю неделю Гриша хлопотал около своего дома, убирал снег из ограды, белил в избе печь и потолок, перевез от дяди дрова — возов до пяти — и старался из всех сил все привести в порядок ко дню своей свадьбы. Набатов помогал ему во всем словом и делом.

Наконец наступил этот день, так долго ожидаемый. Повенчался Гриша и привез в свою старую, но чистую и прибранную избу, похожую на веселую, нарядившуюся старушку, свою молодую жену.

Набатов с блестящей фольговой иконой в руках, а Егоровна — с большой ковригой пшеничного хлеба чинно встретили молодых в сенях, благословили иконой и хлебом, дали укусить от него новобрачным и повели их в избу. Там Груне свахи тотчас же заплели распущенные по плечам волосы на две косы, обвили их вокруг головы, и Егоровна надела ей на голову шашмуру — убор замужних женщин.

Пировали на свадьбе весело, подпили все, но разгульных песен и плясок не было. Набатов и смолоду не любил буйного веселья, и гости из уважения к нему сдерживали свои чересчур веселые порывы. Даже в большой стол, бывающий на другой день после свадьбы и справляемый с особым шумом и весельем, не было ни пляски, ни музыки, ни битья посуды, обыкновенно сопровождающих свадебные празднества. После ужина разрумянившиеся от выпитого вина гостьи чинно уселись по лавкам и затянули песню про молодых, которые

то и дело обносили их пивом и брагой, низко кланяясь, и просили кушать по всей.

«Горько! Горько!» — слышалось беспрестанно, и молодых заставляли целоваться по нескольку раз за каждым стаканом.

— Ну вот и живите с богом, — говорил дедушка Савелий на прощанье. — Дай вам бог совет да любовь да долгий век. Ты, Груня, слушай мужа во всем, потому он глава, и свекровь почитай — старушку почитать следует, а про свата Сергея Ларивоныча я уж и не говорю, за его оба вы вовеки должны бога молить.

— Это точно, что должны они за него бога молить, — вмешался Василий Галкин. — И почитать его должны во всем паче отца родного, потому много он им добра сделал.

— Какое добро! — сказал Набатов. — Полноте об этом толковать! Вот выпейте-ко лучше на дорожку.

И он налил в рюмки вина и велел Груне подать собравшимся уходить гостям. Но, взявшись за рюмку, Савелий еще долго разглагольствовал о доброте Набатова и о том, что его следует почитать, и о том, что начальство надо уважать и слушать во всем. Галкин вторил своему тестю, соглашаясь с ним вполне.

Наконец, выпив вино, все перецеловались с Набатовым, Егоровной и с молодыми, которым еще раз пожелали совет и любовь и долгой век, и разошлись по домам.

— Слава богу, пристроили девку, — говорила Галчиха дорогой, поддерживая своего пошатывающегося мужа. — Что нужды, что дело

их небогатое: поживут — наживут. Парень он работящий, старательной.

Галкин произнес какие-то неясные звуки в ответ на слова своей жены. Он сильно раскис и кое-как шел, опираясь на ее руку.

— Ладно, пусть с богом живут, — заговорила опять Галчиха, не обращая внимания на молчание мужа, — все лучше, чем в девках сидеть, по крайности, заботы тепере у меня не будет.

И всю дорогу громко рассуждала она на эту тему, помахивая свободной рукой и выписывая разные фигуры по дороге вместе с своим мужем.

Простился с молодыми и Набатов и ушел в свою опустелую избу; и долго не спалось ему в эту ночь. Сел он под окно и, облокотившись на руку, уныло глядел на тихую, белую улицу.

«Не воротишь, не воротишь, — шептал он по временам, глубоко вздыхая. — Все прожито, и худое и доброе — все прожито и ничево впереди нету. Сызнова жисть начинать — охоты нету, да и стар уж я стал, поседел совсем, и не пристало мне с седой головой да под венец ставать. Не женился смолоду, так теперь уж думать нечего... Стану век доживать бобылем бессемейным, а под старость к Григорью уйду либо ево в свой дом переведу».

И долго еще думалось Набатову о предстоящей одинокой, невеселой жизни; вспоминалась Наталья, вспоминалось ее красивое бледное лицо, ее грустные, тихие глаза, и медленно скатывались слезы по морщинистым щекам

Набатова и падали на рукава его суконного бешмета.

Не вспоминались ли ему в эту тихую, темную ночь тяжелые, жалобные стоны? Не выступали ли на чистом полу его избы кровавые пятна? Кто знает!

XXIV

Прошла неделя после свадьбы, и жизнь Гриши, ставшая на время рядом праздников, приняла опять свой будничный, серенький колорит. По-прежнему стал он работать в кричной, подвязав свой кожаный запон и обувшись в лапти с баклушами. Толстым слоем сажи покрылось его молодое, красивое лицо, и только весело блестели глаза да белели зубы, когда он, возвратившись домой, улыбался на веселые шутки и заигрывания своей молодой жены. Все было как по-старому, но чувствовалась во всем перемена — и перемена к лучшему. Парнишкой Гришей он остался только для своей старухи-матери, а для всех прочих стал Григорьем Косаткиным — рабочим, семейным человеком. Мастера снимали ему шапки в ответ на его поклоны, знакомые бабы называли Григорьюшкой, а малознакомые называли по имени и отчеству. Чувствовать себя стал Григорий — будем уж и мы его называть так — лучше, будто сильнее физически и гораздо смелее и спокойнее. Усердно работал он, и скоро старики-мастера стали поговаривать про Григорья:

— Славный работник вышел из него, толковый, сметливый, весь в дядю пошел. Пожалуй, годиков через пяток сам мастером робить зачнет.

И с удовольствием прислушивался к этим толкам Василий Галкин, любо ему было, что зятя хвалят. «Ладно, значит, сделали, что девку-то за его отдали; не ошиблись, значит», — думалось Галкину после таких толков.

— Совестно ли, хорошо ли живут молодые? — спрашивали бабы у Галчихи. — Почитат ли тебя зятек-то?

— Слава богу, что бога гневить! Всем довольна, — крестясь и отплевываясь, чтоб не сглазить молодых, отвечала Галчиха.

А Груня между тем весело хозяйничала в своей старенькой избе, и не умолкая жужжало веретено в ее проворных, привычных к труду руках. Торопилась она выпрясть лен поскорее, чтоб успеть соткать до весны холст наравне с другими бойкими бабами, чтоб не сказали про нее, что она, тихоня, не умеет ни прясть, ни ткать. Но еще больше заставлял ее спешить недостаток белья у Григорья, которое, несмотря на то, что делалось из крепкого домашнего холста, изгорало и изнашивалось на работе очень скоро. Много было забот у молодой хозяйки и всегда полны руки работы, но ни уныние, ни недовольство своей участью не смущали ее. Весело, с надеждой на свои молодые силы начинала она свою трудную семейную жизнь и чувствовала, что только упорным трудом можно отбиться от суровой бедности, и все ее помыслы устремились к нему.

— Только было бы над чем робить, а уж мы бы стали, — говорила Груня мужу, когда он отдыхал дома после работы. — Вот вытку я холст. Наступит весна — стану садить огород; одна беда — огород у нас мал. Кабы дозволил прикащик загородить там, по-за огороду-то, место пустое, вот бы хорошо-то было.

— Что же, попросить сходить можно, — ответил Григорий, — может, и дозволит.

— Сходи-ко, право, попроси. Как только снег растает, так и сходи.

— Ладно, схожу.

— Да на что тебе, большая ты сыть, огород-от? — заговорила Егоровна, слушавшая с не совсем довольным видом этот разговор. — Ты думаешь, мало с им работы? Ведь надо скопать, посадить, поливать, полоть! И в этом, дитенок, досыта наробишься, а коли бог уродит, так ведь нам и с этова овощи-то девать некуда. Я вон веснусь сколько ведер картошки выбросила.

— Ну зачем бросать? Осталось бы, так продавать бы стали, — сказала на это Груня.

— Продавать, да кто купит? Ведь у каждова здесь свой огород.

— Ну, здесь не купит никто, так в город бы повезла; ведь город недалеко, всего тридцать верст.

Егоровна всплеснула руками при такой смелой, по ее мнению, мысли. Ей, никогда не бывавшей дальше своего покоса и ближайших лесов, куда она хаживала за грибами и ягодами, расстояние это казалось громадным. Да и мысль о том, что в городе все чужой, незна-

комый народ, что между этим народом много сердитых важных господ и чиновников, которые, пожалуй, и даром отнимут товар заезжей бабы, страшила трусливую, хилую старуху.

— Полно врать-то, молодушка! — сердито сказала она. — Эку штуку выдумала — за сорок верст овощу возить! Да и на ком ты повезешь? На себе, что ли?

— Почто на себе? — рассмеялась Груня. — Да ты не сердись, мать, ведь я еще не поехала, еще собираюсь только.

— И собираться нечего по пустякам — говорила Егоровна. — Ведь хлеб у тебя есть, коровушка есть, денег, хоть и немного, да все же заробит хозяин, ну и слава богу, чего тебе еще надо? Сиди-ко да сиди в избе-то; будет с тебя и домашней работы.

— В избе-то сидя, мати, ведь ничего не высидишь, — не утерпев, опять сказала Груня. — Да изба-то у нас, погляди-ко, какая худая: ведь развалится скоро, надо новую строить.

Григорий глубоко вздохнул при этих словах. Мысль, что надо строить новую избу, заботила его крепко. Набежали тучки и на веселое, румяное лицо Груни, задумалась и она.

— Ну, не тужите, дети, — кротко заговорила Егоровна, — надейтеся на бога да на добрых людей. Эта изба-то ведь простоит еще год-другой: ну, а там прикащик лесу даст, бог да добрые люди пособят — вот и построитесь.

— Не шибко добрые-те люди нашему брату пособляют, — заговорил Григорий. — Все бы норовят, чтобы из тебя чего вытянуть, а не

чтобы тебе дать; только и надежды что на отца — пособит, не пособит он, а окромя его кому нужно!

Отцом Григорий и Груня стали звать Набатова после того, как он благословил их иконой, и на его помощь они рассчитывали больше всего.

— Как не пособит — беспременно пособит,— заговорила Егоровна, с радостью ухватившись за эту мысль. — Свадьбу ведь пособил же сделать, ну, пособит и построиться. Ему ведь денег-то девать некуды. Намедни отпер при мне ящик, так я даже сдивилась, сколько у него денег накоплено: поди, рублев со сто есть.

Егоровна не знала счету больше ста рублей и не могла представить себе суммы больше этого.

Григорий и Груша переглянулись и засмеялись.

— А ты думашь, сто рублей — и бог знат кака сумма несметная, — сказал ей на это Григорий. — Молчала бы ты уж, коли толку у тя нету, — прибавил он, вздохнув, и потом сказал, обращаясь к жене:

— Весной надо нам помочь сделать да покос расчистить: все же, может, возик-другой лишка сенца поставили бы; вот бы, глядишь, на овечку-то и было.

— Беспременно надо, вот корова отелится, телушку бы ростить стали; кабы сено-то было на улишке, — сказала Груня и прибавила, взглянув на мужа: — Что бы отцу нам хошь один покосик отдать, у его покосов много и страдовать некому.

— А вы попросите, может, и отдаст, ведь он и всамдели один тепере, на что ему! — сказала Егоровна.

— А смерть я люблю, у кого земли много; хорошо тому жить, у кого покосы большие да как еще пашня есть: скота держи сколько хочешь — коров, овец, лошадь бы завел — то-то бы жисть-та была, — мечтала Груня и, воспламенившись нарисовавшейся в ее воображении картиной такого довольства, прибавила с решительным видом: — Нет, уж ты хошь чего говори, мати, а выпрошу я земли под огород; сама к прикащице схожу — снесу ей хоть ниток моток да выпрошу земли. Стану наперво овощой торговать; у Ипатовых вон овощей-то торгуют, так уж сколько чево завели, рублев на тридцать, говорят, в осень продают; а ведь тридцать рублев не шутка, сидя в избе-то, не высидишь.

— Известно дело! — задумчиво сказал Гриша. — А кабы на осень да рублев хошь двадцать зашибить, так и то бы куда хорошо было.

— Что же, и зашибем — неужли не зашибем? — сказала Груня весело. — Вот лето будет, страдовать станем, робить: свои покосы расчистим, у отца попросим — ему за то страдовать пособим. Он мне еще телушку посулил дать — вот выкормим ее, продадим; овощи вырастут — продадим, вот и деньги будут, и станем избу строить.

— Ой, молодушка, ребячий умок-от у тебя! — сказала на это Егоровна. — Еще мед-

ведь-то в лесу ходит, а ты уж шкуру дерешь; не загадывай далеко, дитенок, грешно!

— Вот опять грешно! Да что за грех? Ведь я не воровать собираюсь, — горячилась Груня, — я все как у добрых людей лажу. Говори-ко лучше, мати, что твои-те бы, мол, речи да богу в уши.

— Что ее слушать, — сказал на это Григорий, — ее дело старое, хилое — ей бы только на печке сидеть, а тебе уж надо самой всем домом править. Вот у отца спросить можно, потому он на все наставить может.

И часто повторялись в избе такие речи, и крепко надеялись молодые работники на свои силы и на лучшие будущие дни. Насколько сбылись их надежды и ожидания — покажет время.

ПРОШЛОЕ

Из записок управительской дочери

I. ПОЖАР НА РЕЗНОЙ

Я рано начала себя помнить, лет с шести или еще ранее; но первые мои воспоминания были отрывочны и смутны. Происшествия же последнего лета, которое мы жили в Куморе, где отец мой состоял пятнадцать лет в должности управителя завода, я помню отлично. Тогда мне было уже десять лет, и все наиболее крупные и рельефные события нашей несколько однообразной жизни я точно снова вижу перед собой. Те лица, между которыми я провела мое детство, встают в моих воспоминаниях как живые. И все резкие особенности их характеров, и черты их физиономий, даже подробности костюмов, какие они носили тогда, я помню так хорошо, как будто видела все это лишь несколько дней назад.

Прежде я весело вспоминала мои детские годы. Они казались мне самым счастливым временем моей жизни. Теперь я этого не думаю.

В жаркий летний день, уже после петрова дня, когда начался сенокос и все заводские рабочие были отпущены на страду, у нас сгорела резная, новая, недавно выстроенная фабрика. Это происшествие, как повлекшее за собой печальные последствия для моего отца и нехорошо повлиявшее на нашу последующую

жизнь, было как бы началом моих воспоминаний. Я помню, что в этот день мы с утра ждали пожара. У нас была няня, старая, семидесятилетняя старуха, и ей приснился на этот день сон, предвестивший пожар и несчастие. Все утро она вздыхала и охала, все утро проходила от окна к окну в несказанной тревоге, а после обеда, который был у нас в одиннадцать часов, даже отправилась с нами в мезонин, чтоб там из окна лучше видеть, все ли в Куморе благополучно. А из окна мезонина вид открывался не только на Кумор, а и на резную, построенную на Усть-Куморе тремя верстами ниже куморского завода.

— Господи, жар какой, сушь какая! — вздыхала она, крестясь. — Ежели да в этакую сушь искра куда западет, сохрани господи! Погляди-ко, Соня, никак из-за Камы туча подымается?

Не успела я отвечать, как на колокольне ударили в набат и этим ответили на вопрос няни. Поднималась не туча, а дым от загоревшейся резной. Я, как сумасшедшая, бросилась вниз будить отца, имевшего обыкновение спать после обеда, но застала его уже не спящим, а суетливо одевавшимся и отдававшим приказания.

— Где горит? Что горит? — спрашивала перепуганная набатом мать. Она очень боялась пожаров и страшно испугалась.

— На Усть-Куморе горит, — отвечала я и бросилась в каретник, вскочила в тарантас в одно время с кучером, и мы подлетели к крыльцу, где уже дожидался отец.

— Ты куда? — сердито крикнул на меня отец, подходя к тарантасу, и хотел ссадить меня. И если бы кучер Яков не заступился за меня, вряд ли бы отец взял меня с собой. Я была любимицей у нашего кучера, за что и сама любила его, и очень огорчалась, что не могла приобрести любви дворника Семена, отдававшего предпочтение моему брату.

— Возьмите, — сказал Яков, оборотившись к отцу, — ведь мне все равно нельзя же будет отойти от лошадей, так я и за ней присмотрю.

Отец молча сел, и мы покатили. Я как была, так и уехала в одном платье. Дорогой уже отец дал мне свой клетчатый носовой платок прикрыть мою всклокоченную голову. Лошади неслись во всю прыть.

Через несколько минут мы были на резной. Густой, черный дым, который мы сперва приняли за тучу, широко расстилался в воздухе. Крыша уже горела и начинала решетиться. Длинные огненные языки взвивались высоко, прорезывая дым, и точно отрывались и пропадали в нем.

Из окон левого конца резной тоже вырывалось пламя; проскальзывало оно узенькими змейками и сквозь щели широких затворенных дверей, разделявших резную на две равные половины, и только правый конец еще не горел, но из всех его отверстий валил густой дым. Перед дверьми, точно полоумный, бегал взад и вперед растрепанный и босой старик в синей рубахе и таких же штанах. Я с трудом узнала его — до того испуг исказил черты его лица. Это был Кузьма, сын нашей няни. Меня

всегда удивляло, что у няни был такой старик сын: он казался нисколько не моложе ее. Ему было всего лет пятьдесят, но когда-то он подвергся какому-то увечью, когда еще был действительным работником, и это его состарило. Теперь он был причислен в разряд исправляющих обязанности караульных.

В рабочее время, когда отец приезжал на резную, его встречали надзиратель, главный мастер и караульный. Последнему большей частью поручался надзор за мной, покуда отец ходил по работам; Кузьма брал меня за руку и водил по резной, а частию носил на руках, останавливаясь перед валами, из-под которых широкие, добела раскаленные полосы железа выходили разрезанными на узенькие мелкие полоски.

Он был первое и единственное в настоящем случае ответственное лицо, так как время было нерабочее и Кузьма один оставался сторожем и охранителем резной. На него-то прежде всего и накинулся отец.

— Отчего загорелось? Где ты был? Бестия, каналья! — закричал отец, подбегая к нему. Но тот только топтался на одном месте и бормотал что-то непонятное.

— Говори! Отчего загорелось?

И тяжелая рука отца тяжело опустилась на безответное старческое лицо Кузьмы. Он сильно пошатнулся от удара, однако ж не упал с ног. Из носу хлынула кровь.

При виде крови гнев отца стих; ему даже как будто стыдно стало, и он, отвернувшись, закричал Якову:

— Ставь тарантас под навес и выпрягай лошадей. Подвозить воду! Есть ли вода в бочках? Годятся ли бочки? Небось, рассохлись без воды!

И отец побежал под навес, находившийся направо от резной, где стояли на дрогах две бочки. Воды в бочках оказалось по самой малости; но бочки были крепкие, и дроги в исправности. Яков проворно перепряг лошадей и поехал за водой, а мне отец не велел сходить с тарантаса.

Вся резная была передо мной как на ладони. В это время с Усть-Кумора прибежали две бабы с ведрами и старик с топором. Отец поглядел на них, поглядел на резную и только молча развел руками.

Пожар был во всей силе, а народу собралось гасить его только две бабы и один старик. По дороге из Кумора поднималось облако пыли: это везли пожарные машины.

— Ничего не поделаешь, — сказал отец, обращаясь к старику. — Что это вас мало? Куда все провалились?

— На сенокосе, батюшка Василий Степанович, — отвечал тот, — все на сенокосе; вишь, время-то подошло — никого дома нету.

Отец молчал, нетерпеливо поглядывая на приближавшееся пыльное облако.

— И отчего это загорелось? — рассуждал старик, обратившись к Кузьме. — И то слава богу, что ветру нету, а то бы вот дрова запластали, а потом бы и до посаду добралось. Отчего загорелось? — снова повторил он. — Разве ты огонь разводил?

— Разводил маленько, ушку варил, — полушепотом отвечал Кузьма, во все время топтавшийся около тарантаса. К несчастию его, отец услыхал это.

— Ты огонь разводил? Ты! На карауле вздумал уху варить! Да как ты смел?

И град ругательств посыпался на Кузьму.

— Ведь я рано утром, до солнышка еще, — оправдывался он умоляющим робким голосом. — Ведь не на то же я ладил! Кажись, и головешки-то все залил. Спать-то бы вот не надо, а я пошел да и уснул. Ведь чуть я и сам не сгорел, едва выскочил...

— И лучше бы ты сгорел, подлец!

И на этот раз удар отца сшиб с ног Кузьму, даже не успевшего посторониться и безответно подставлявшего свою седую голову под удары. Но в это время привезли, наконец, пожарные машины, и отец побежал распоряжаться ими. С машинами и народу приехало человек пять. В Куморе тоже весь народ был на сенокосе. Начали заливать правый конец резной, как менее объятый пламенем.

Кузьма поднялся на ноги, обтер рукавом рубахи покрытое кровью и пылью лицо и с минуту молча глядел на меня. Он точно соображал что-то.

— Зипун-от я тамотка оставил, зипун новый, недавно завел, — пробормотал он, глядя на меня и в то же время будто не видя меня. — Сгорит зипун-от!

И он тоскливо оглянулся на горящую резную. Правый конец ее, на который усиленно

лили воду из двух машин, как будто начинал погасать. Кузьма вдруг оправился.

— Он туточка у окна, недалеко, я его достану багром.

И, схватив багор из-под крыши, Кузьма побежал доставать зипун. Пробегая мимо меня, Кузьма оглянулся и крикнул мне мимоходом: «Ты сиди, никуда не ходи!»

Я видела, как он безуспешно рвался к окну с багром и, наконец, бросив багор, скрылся за углом резной. Вероятно, он хотел проникнуть в нее с задней стороны. Прошло несколько минут. Вдруг раздался сильный треск, на левом конце резной рухнула крыша, взвился столб пламени, и мильоны искр посыпались на землю мельчайшими черными угольками. В то же время вспыхнул правый конец резной, и все здание обнялось пламенем и загорело ярко и спокойно. Точно огромный костер разложен был посредине площади. Все притихли; качавшие коромысла на машинах остановились, сознавая бесполезность своих усилий, и глядели в молчании то на отца, то на пожар.

— Ишь, как пластает! — проговорил кто-то. — Ничего не зальешь! Надо баграми разворачивать, вон народ бежит.

И в самом деле, по дороге из Кумора и от перевоза бежал народ: мужики с баграми и топорами, и бабы с ведрами. Когда все было разломано и залито, отец подошел к тарантасу, уже запряженному нашими лошадьми, и, сняв с моей головы платок, отер пот и пыль с своего разгоревшегося лица. К нему подо-

шел надзиратель и стал объясняться, что и он был на покосе со всем семейством.

— Да уж, верно, богу угодно наказать меня, — вздохнул отец, садясь в тарантас. — Как ни случилось, да вот сгорело, все дотла сгорело. Поеду домой, надо писать донесение, а вы заливайте остатки. Смотрите, как бы куда не залетела искра — ветерок поднимается. Караул поставьте на ночь. Я, впрочем, сам ночью проведаю. Да где Кузьма? Взять Кузьму в полицию!

Бросились искать Кузьму, но его нигде не находилось.

— Где он? Ведь он здесь остался? — обратился отец ко мне, и по лицу его пробежало что-то тревожное.

— Он ушел зипун доставать, — сказала я.

Припомнили, что точно видели его суетившимся около окна с багром, что его тут облили водой, что, наконец, он куда-то исчез.

— Искать его, сыскать его непременно и взять под караул, — были последние слова отца, когда лошади тронулись, и мы поехали домой.

Было пять часов вечера, и у нас уже кипел самовар, когда мы приехали.

— Ну, что горело? Где был пожар? — посыпались на нас вопросы, как только мы вошли в комнату.

— Сгорела резная, сгорела вся дотла, — сказал отец, снимая с себя мокрый сюртук. — Твой Кузьма сжег, — обратился он к няне, стоявшей в дверях детской. — Вздумал уху

варить и сжег! О! Чтоб его!.. Петрушка, трубку!

Выкурив трубку и выпив стакан чаю, отец ушел в кабинет писать донесение.

Наконец приехал надзиратель и попросил вызвать отца.

— Ну что, залили?

— Залили все, Василий Степаныч, и все еще льют!

— Нашли Кузьму?

— Нашли, Василий Степаныч: обгорел сильно.

— Как обгорел? — воскликнул отец, и трубка выпала у него из рук.

— Да так, совсем обгорел: в резной нашли, в самой середке! Одно туловище осталось.

Отец не стал далее слушать и молча, махнув рукой, ушел в кабинет. Мать и няня еще долго говорили с надзирателем, и замечательно было то, что няня и слушала и говорила спокойно. Вся ее тревога прошла, несчастье совершилось, несчастие ужасное, но она уже стояла к нему лицом. Говорили о том, что до следствия нельзя будет хоронить Кузьму, и няня ушла нанимать читать псалтырь по покойнике, а надзиратель уехал опять на Усть-Кумор.

Поздно вечером донесение, наконец, было написано, и один из рядовых служителей при конторе поскакал с ним в Кушгорт, где было главное управление всеми заводами того владельца, которому мы принадлежали. Все мы, и отец мой, носивший звание управителя, имевший у себя кучеров, лакеев и дворников,

кухарок и нянек, целую контору в своем распоряжении, — все — и мы, и они — были крепостные и с трепетом ждали теперь, что будет.

II. УТОПЛЕННИЦА

Это случилось уже в августе месяце. У нас были гости и, по обыкновению, играли в бостон. Утром того дня хлебный запасчик доложил отцу, что в запасном магазине рожь начала слеживаться и надо ее просушивать или выдавать скорее рабочим вместо муки, пока совсем не испортилась. Отец поехал смотреть. Оказалось, что рожь не только слежалась, а сгорела. Когда засовывали руки в закрома, то почти обжигали их — до того велик был жар в средине. Комиссионер, покупавший и доставлявший рожь в Кумор, конечно, был тут более всех виноват. Неправ был и запасчик, принимавший ее от него и не обративший внимания на то, что она была недостаточно суха. Но главная ответственность все-таки падала на безвинную в этом случае отцову голову. Ржи было довольно много, около 60 тысяч пудов, и более половины из этого количества испортилось настолько, что годилось разве лишь в корм скоту. Раскрыли в нескольких местах крышу магазина, растворили двери, чтобы дать свободный доступ воздуху, и следующую же месячную выдачу рабочим предположили выдавать рожью вместо муки. Это заставило отца сильно призадуматься. За пожар на резной он еще не получил от помещика ничего;

только главноуправляющий, который был к отцу довольно благосклонен, сделал ему выговор, впрочем, довольно мягкий, как вдруг опять беда, хотя и не такая большая, но все это одно к другому как-то нехорошо сбиралось и усиливало опасения и страх отца. Особенно тяжело действовали на отца слезы и опасения матери, привыкшей в пятнадцатилетнее житье в Куморе считать себя барыней, пользоваться почетом и уважением от всех служащих при конторе и, кроме того, жить безо всякой нужды и заботы. У ней было единственное горе: отец иногда выпивал не в меру и пьяный совершенно терял всякую амбицию и был со всеми запанибрата. Чуть попадало ему в голову — он уж ехал в гости к кому попало, к самому последнему из служащих при конторе и даже к мастеровым мужикам и пил вместе с ними пиво и брагу, если не было лучшего угощения. В последнее время это стало случаться чаще и чаще, и самолюбие матери сильно страдало. И вот, чтоб удержать отца дома, а также чтоб и самой развлечься, она частенько собирала своих коротких знакомых поиграть в бостон и поесть пельменей. Впрочем, гости у нас и во всякое время бывали довольно часто, так как и отец и мать были люди хлебосольные, не скупые на угощенье. Всех чаще бывали у нас, конечно, отец Власий с супругой, которая была лучшей приятельницей матери и кумой, так как крестила нас всех. Кроме них, бывал у нас еще помощник отца, заведывающий технической частию работ, с женой и дочерьми. У отца Власия тоже были дочери и

тоже часто приходили к нам. И в этот вечер все они были у нас. Набегавшись в саду, часов в одиннадцать вечера мы собрались в залу, слабо освещенную одной сальной свечкой, и сидели у окна, о чем-то шумно разговаривая. Играющие в бостон сидели в смежной с залой гостиной, и до нас доносились только возгласы: пас, бостон, шесть, сюры и т. п. Я сидела у отворенного окна и, подперши голову рукой, о чем-то задумалась, глядя на виднеющуюся часть плотины и на фабрики, стучавшие всеми своими молотами и извергавшие из всех труб столбы искр и дыму. В широких распахнутых дверях фабрик сновали взад и вперед закоптелые, черные фигуры рабочих, освещенные ярким красным пламенем пылающих горнов. Я как-то сильно подавила глаза руками, и вот мне показалось, что пламя, вылетавшее из трубы, оторвалось и носится в темноте взад и вперед в виде ярко горящей большой свечи. Небо обложилось тучами, и наступавшая ночь была очень темна. Я придавляла сильнее то тот, то другой глаз, и мне казалось, что оторвавшееся пламя то поднималось, то опускалось, то скользило по темной крыше здания, где помещались духовые машины. Я сказала моим подругам о том, что вижу летающий огонь и что стоит им так же, как я, придавить глаза снизу, то и они увидят то же явление. Вскоре Анюта, дочь отца Власия, заявила, что и она видит летающий огонь. Следом за ней и другие объявили, что они тоже видят летающие огни. Я подошла к окну с своими уже не сдавленными, а, напротив, ши-

роко открытыми глазами и увидела не один, а несколько летящих огней и притом очень больших, которые оставляли за собой дымящийся и искрящийся след.

— Что это, что это такое? — кричали мы все в голос, не только удивленные, а даже испуганные. Но вскоре явление объяснилось. Это бежали люди из фабрики с зажженными пучками лучины. Все они выбегали на плотину, а потом бежали по плотине к шлюзам. Мы насчитали бегущих с огнями человек шесть, да было еще несколько человек с длинными баграми на плечах. Я позвала отца.

— Случилось, верно, что-нибудь, — сказал он, взглянув в окно. — Надо идти узнать.

С ним пошел и отец Власий.

— Пошлите нам сказать, что там такое, — закричала им вслед мать.

Но они уже были далеко.

Вскоре матери доложили, что какая-то женщина бросилась в воду у самых шлюзов, что это увидал плотинщик, бросился в фабрики и, взяв оттуда столько народу, сколько было можно, не останавливая работ, привел его на место, что теперь они ищут утопившуюся, но найти не могут, так как никакие багры до дна не достают, что убежали к запрудским рыбакам за кошками, что Василий Степаныч велел принести туда все фонари, сколько у нас есть.

Сейчас же мы все собрались на плотину и застали там дело в таком положении. В двух лодках, освещенных пучками лучины и фонарями, плавали по пруду около шлюзов; с од-

ной нащупывали дно баграми, с другой спускали кошку. На плотине стояла толпа народу в тревожном ожидании. Некоторые с баграми в руках ходили по краю плотины, хотя и не могли достать до дна, так как пруд в этом месте имел глубины более пяти сажен.

— Что же никто не нырнет? Нет разве из вас такого смельчака? — обратился отец к кучке рабочих, стоявших возле самых шлюзов.

— Боязно, Василий Степаныч, — заголосили в толпе. — Кабы днем, а то ночью-то боязно. Да и нырять мы не мастера. Вот кабы Степана Чертушка заставить нырнуть!

— Послать за ним! — распорядился отец.

— Да у него скоро крица поспеет рассекать, — доложил стоявший неподалеку уставщик, — ему нельзя.

Степан Чирков, прозванный Чертушком за то, что плавал и нырял, как рыба, работал мастером у кричного горна и, разумеется, во время выемки из горна крицы и ее рассекания не мог отлучиться ни на минуту.

— Заменить его кем-нибудь! Эй! Нет ли кого здесь из мастеров? Вон кто-то подходит, не Боровков ли?

Подходящий из-за пруда мужик действительно оказался кричный мастер Боровков, и отец послал его на смену Степана Черта.

— Я готов сменить, отчего не поробить за него, коли он сюда для дела нужен? Только ведь он мне не поверит.

— Как не поверит? Скажи, что я приказал. Уставщик, ступай с ним и скажи, что я приказал. Ступайте скорее.

Боровков и уставщик убежали бегом. Между тем спускавшие с лодки кошку зацепились за что-то и тащили это что-то из воды. Все шумевшие на берегу притихли и ждали со страхом и любопытством. Вытащили: старая, намокшая колодина. Отцепили кошку, и колодина снова утонула. Отец поглядел на часы.

— Вот уж час, как мы здесь, — сказал он.— Послали ли за Катаевым?

Катаевым звали фельдшера.

— Я здесь, — отозвался он и подошел к отцу.

— Где же это Чирков? Что же он копается там? — закричал отец, начинавший горячиться и сердиться. — Эй вы, кто-нибудь! Раздевайтесь и ныряйте, черти! Разве не знаете, что человека спасать надо! — обратился он к толпе.

Мертвое молчание было ответом. И среди этого молчания громко раздались поспешные, тяжелые шаги бегущего человека и хриплое, тяжелое дыхание. Это подбегал Чирков.

— Скорее, Степан, скорее! — закричал отец, бросаясь к нему навстречу. — Полезай, брат, в воду, человек утонул; вот уже больше часу ищут, найти не могут.

Подбежавший мужик сел на краю плотины и молча начал разуваться. Это был высокий черноволосый человек, лет сорока, широкий костью, но несколько сухощавый и сутулый. Черные густые волосы торчали на его голове вихрами во все стороны; лицо было сплошь покрыто сажей, и только глаза светились, отражая пламя ярко горящего смоляного ведра, которое притащили из завода и зажгли для

освещения. Раздевшись, Степан бросился в воду, но скоро вынырнул и держался некоторое время на поверхности воды.

— Скоро бежал, задохся, — сказал он. — Дайте дух перевести.

Отдохнув минуты две, он вдруг исчез под водой. Прошло несколько мгновений томительного ожидания, показавшихся всем за целый час, и вот в самой средине освещенной части пруда показались руки, а затем и всклокоченная голова Степана. Он подплыл к берегу и, ухватившись рукой, с минуту отдыхал, тяжело отдуваясь.

— С коева места она бросилась? — спросил Степан, отдохнув.

— Вот с этого, с самого этого места, — ответил плотинщик, подходя. Степан еще с минуту отдыхал, потом поплыл на указанное место и опять исчез под водой.

— Надо бы его веревкой обвязать было, — заговорили в толпе. — Время теперь — самая полночь, кабы не подшутил он над ним!

— Выспались после время! — взъелся отец. — Что же раньше не говорили?

Снова наступило молчание и напряженное, томительное ожидание. Глаза всех были прикованы к месту, где исчез Степан. Искавшие с лодок подплыли к берегу и ожидали, готовые подать помощь, как только она будет нужна. Скоро раздался сильный всплеск, высунулась голова Степана, плечо и рука. Одна из лодок подплыла к нему и переняла у него утопленницу, которую он вытащил на этот раз. Это была женщина в светлом платье, заворо-

тившемся ей на голову и закрывавшем лицо. Когда ее вытащили на берег и открыли платье, то раздался общий крик изумления и горя. Утопленницей оказалась Таня, дочь куморского хлебного запасчика Сыропятова. По счастию, ни его самого и никого из его семейства не было на плотине. Его дом находился далеко от пруда, в одной из верхних улиц, и там, вероятно, еще не знали о случившемся. Мать моя заплакала горько и, взяв меня за руку, пошла домой. И пора было увести меня: я дрожала, как в лихорадке, и зубы у меня стучали.

А Катаев принялся отваживаться с утопленницей. Только я начала согреваться и успокаиваться, прижавшись в уголке дивана и слушая толки матери и ее приятельниц о причине смерти Татьяны Сыропятовой, как в передней раздались чьи-то тяжелые шаги. Все мы вскочили и выбежали в залу. В дверях стоял Степан Чирков и кланялся матери.

— Василий Степанович послал меня водки выпить, — объяснил он на ее вопрос. Мать налила водки в стакан и подала ему. Он выпил ее, как воду, обтер губы и, поклонившись, хотел выйти.

— Страшно тебе было? — спросила у него мать.

— Оно не то, чтоб страшно, а так, жутко только. Время-то теперь ночное. Нисколь не видно. Едва я ее ущупал.

— А как ты ее вытащил? Ведь тяжело, должно быть? Надо и грести руками-то и ее держать, — говорила мать.

— Это-то пустяки, сыскать-то вот только не мог — чуть не задохся, а тащить легко было. Счастливо оставаться, — добавил он, кланяясь.

После ухода Степана я вскоре уснула, не дождавшись отца; только на другой день от кухарки нашей узнала, что с Татьяной не могли отводиться, что ее свезли в больницу, где она лежит на столе совсем раздетая и покрытая простыней, что вечером приедет доктор и будет ее анатомить и что тогда узнают всю правду: и честная ли она, или нет, и отчего она бросилась в воду.

Доктор приехал ночью, и на другой день утром произведено было освидетельствование. Танюша оказалась беременной, и причина ее смерти стала понятна всем. Молва признавала виновником ее беременности Петрушку Китова, бывшего нашего лакея. Все удивлялись, как это такая хорошая и скромная девушка из служительского класса могла сойтись с такой неровней. Класс служительский резко отделялся от мастерового; все принадлежащие к нему считали себя как будто не простого рода, как будто они были менее крепостные, чем мастеровые, и упорно не допускали в свои ряды никого из мастеровых. Свадеб между служителями и мастеровыми никогда не бывало. Само собой, что мастеровые платили горячей ненавистью за оказываемое им презрение. Этот антагонизм и был причиной смерти Танюши. Бедная девушка не смела сказать о своей вине ни суровому отцу, ни ворчливой мачехе и предпочла короткую смерть мучительному и долгому стыду. Все это поняла я спустя много

после, а тогда меня крайне удивляло то, что Танюша сама утопилась, что никто не толкал ее, а сама она, убежав потихоньку из дому, бросилась в воду.

— От стыда она сделала это, — отвечала мне кухарка на мои расспросы. — Оттого, что нечестная была.

То же отвечал и кучер Яков, прибавив, что не мое дело толковать об этом. То же сказала мне и мать, пригрозив задать мне праздник, если я еще буду совать свой нос в чужие дела.

III. СТАЧКА

Однажды утром я была разбужена громким говором в столовой, смежной с нашей спальней. В числе говоривших слышались преимущественно ворчливые женские голоса. Я быстро оделась и вышла в столовую. Мать сидела у чайного стола и с нахмуренными бровями и недовольным лицом пила чай, а отец, оставив свой недопитый стакан, подошел к толпе женщин, выступивших из передней в столовую. Все они громко говорили, и каждая держала в руках краюху еще дымящегося хлеба. Хлеб не годился в пищу, и женщины требовали, чтоб выданную им сгоревшуюся рожь взяли обратно, а им выдали хорошую, годную на муку.

— Эта годится только на солод, а из солоду хлеба не испечешь, — говорила высокая и

толстая женщина, выйдя почти на средину комнаты и размахивая рукой. — Таким хлебом только скотину можно кормить.

— У нас ребята малые, — ну что они наедят на эдакой хлеб! — заговорила другая женщина. — Да и сами-то мы почитай что только на одном хлебе живем, а ты подумай, батюшка Василий Степанович, каково эдакой-то хлеб жевать?

— Да ведь вам крупа выдана, не сухой же вы хлеб едите! Варите щи! — возразил отец.

— Да и со щами он нам не годится, родимый ты наш, — заговорили женщины все в голос. — Заставь ты за себя бога молить, вели нам эту рожь обратно свезти. Ты понюхай, дух-от какой от хлеба: тяжелый, затхлый. Попробуй сам, ведь тебе самому куска не проглотить!

И одна из женщин, отломив кусок, подала его отцу.

— Да вижу, вижу, — сердито отпихнул он ее руку. — Я, что ли, виноват, что вам такую скверную рожь купили? Пойдите к Шамарину, он покупал хлеб!

— Шамарин нам не начальство, — заговорили женщины. — Мы тебя одного знаем, тебя и Егора Мосеича (помощника отца). Вы наше начальство, наши отцы; мы только вас и знаем.

— Ну, пойдите к Егору Мосеичу, — сказал отец.

— Были, батюшка, были и у него; сам знаешь, какой он человек, ногами затопал и выгнал! Я, говорит, не обязан за хлебом смот-

реть! Пусть тот и отвечает, кто хлеб испортил.

Отец рассердился.

— А я разве портил? — закричал он. — Разве я виноват? Ведь запасчик должен смотреть. Да что вы привязались ко мне? Ступайте домой! Сказано вам, что до другой выдачи перемены не будет. Пробейтесь только этот месяц, а на другой выдадим рожь хорошую.

— Батюшка, да ведь и месяц-то надо прожить. Ведь мы с голоду помрем, — заголосили женщины. Некоторые повалились в ноги, упрашивая отца смиловаться; другие пошли к матери и убеждали ее заступиться за них, предлагая ей попробовать хлеб.

— Вот ты откуси, вот возьми же в рот, хоть дух-от понюхай, — предлагала одна женщина, подойдя к матери и отламывая ей кусок хлеба.

— Да мне-то что, — сердито ответила ей мать. — Это не мое дело, и зачем вы сюда пришли? Идите в контору. Что ты не велишь им идти в контору? Что они шумят здесь? — обратилась она к отцу.

— И в самом деле, идите в контору; там сообща с Егором Мосеичем мы решим, что можно для вас сделать. Ступайте, я сейчас приду.

Женщины послушно вышли одна за другой. После их ухода мать взяла в руки оставленный перед ней на столе кусок хлеба и стала внимательно рассматривать. Хлеб был очень черен, имел толстую корку, а вместо мякиша какое-то коричневое, глянцевитое тесто, издающее дурной, затхлый запах. Отец стоял и смотрел на нее.

— Дрянь хлеб, никуда не годится!—сказала мать. — Кроме того, что мука затхлая, она еще и солоделая. Если эту муку смешать пополам с хорошей, только хорошую муку изведешь.

— Что же делать мне с ними? Что делать?— растерянно говорил отец, прихлебывая простывший чай и вопросительно посматривая на мать.

— А зачем вовремя не смотрел? Поменьше бы пьянствовал да больше делом занимался, вот этого и не случилось бы! — сердито отвечала мать. — Зачем посредника не послал, когда запасчик рожь принимал от Шамарина?

— Как не послал? Посредник был. Данила Корешков был при этом с самого начала.

— И выбрал посредника! — сказала мать, качая головой. — Такой же пьяница, как сам-то ты. Да он за полштофа не только тебя, а и душу свою продаст. Вот теперь отвечай за всех. А этот хлеб у нас и собака есть не станет.

И мать сердито сунула кусок в чашку с ополосками.

Допив чай, отец ушел в контору и не возвратился к обеду. Во время обеда приходили работники из фабрики, желая видеть отца, и, не дождавшись его, ушли. Мы пообедали молча; мать несколько раз утирала выступавшие у нее на глазах слезы, и ее печаль сообщалась и нам. Только что мы встали из-за стола, как к нам вошел Егор Мосеич. Поздоровавшись с матерью, он спросил об отце.

— Да не бывал, — грустно ответила она, — опять, верно, ушел куда-нибудь в гости.

— Может быть, уехал на Усть-Кумор?

— Нет, лошади дома.

— Где же это он? Куда запропастился? — говорил Егор Мосеич, скривив свои тонкие губы в кисло-сладкую улыбку. — Мы его ждали, ждали в конторе!

— Разве он не был в конторе?

— Нет, не был. Не знаете, где он теперь?

— Не знаю, право; может быть, на фабрике, — задумчиво проговорила мать, хотя сама не верила в свое предположение.

— На фабрике он не был, — резко проговорил Егор Мосеич. — Не был и утром, а теперь там и делать нечего. Разве и вы не слышите?

— Что такое? — встревожилась мать. — Я ничего не слышу и не слыхала.

— То-то и худо, что ничего не слышно. Сегодня не праздник, а у нас как будто праздник.

Мать глядела на Егора Моисеича во все глаза и ничего не понимала.

— Да-с, тишина наступила, тишина, — снова проговорил Егор Моисеич, многозначительно взглядывая на мать. — Я не виноват в этом и думаю, что надо донести в главное управление.

Слово «донести» всегда производило на мать неприятное впечатление.

— Что такое донести? На кого? Ну и доносите, если ваша совесть подымается! Доносите, что пьянствует, запускает дела, — заговорила она горячо и скоро. — Вы должны быть ему помощником, вы ему кум, он у вас детей

крестит, а вы хотите ему зло сделать! Это не по-дружески, не по-товарищески!

И мать заплакала.

— Да вы не плачьте. Ведь мне не свою же голову в петлю пихать за кума? — со злостью заговорил Егор Мосеич. — Мне теперь одно только и осталось, чтоб не быть самому виноватым: это — написать в главное управление, как все случилось.

— Да что такое случилось?

— Да мастеровые заперли фабрику, не хотят работать. Просят выдать им хорошей муки, иначе, говорят, не будем работать. Разве вы не слышите, что фабрика стала?

Мать прислушалась, и действительно фабричного стука и шума не было слышно. Егор Мосеич встал и прошелся по комнате, как-то нехорошо, злорадно улыбаясь.

— Я сейчас с фабрики, — заговорил он, останавливаясь перед матерью, — гвалт такой подняли, ничего не хотят слушать. Я непременно обязан донести обо всем в Кушгорт, а также и за исправником надо послать, — добавил он, берясь за шапку. Мать молчала растерявшись и только отирала слезы, одна за другой быстро катившиеся по ее лицу.

— Ведь это черт знает что такое! Ведь старики не помнят такого случая, чтоб мастеровые самовольно остановили работы. Ведь это — бунт! — говорил Егор Мосеич, горячась и колотя кулаком по столу. — Пошлите разыскивать кума; вероятно, кучер знает, где его найти. И как ему не стыдно ходить к рабочим и пьянствовать вместе с ними! Вот они и ся-

дут теперь ему на шею. Прощайте! Я пойду писать донесение.

И Егор Мосеич пошел. Мать пошла за ним, упрашивая его не писать, не повидавшись с отцом, за которым тогда же отправила Якова. Но Егор Мосеич упорно отказывался ждать. Мать рассердилась и опять начала горячо выговаривать и упрекать его в недобросовестности, недружелюбном отношении к отцу. Он только пожал плечами в ответ на эти упреки и ушел в контору. Часа через два после него приехал отец. Он был пьян до того, что не мог встать с тарантаса, и кучер с Петрушкой вдвоем едва стащили его, под руки свели его в спальню и положили на постель. Мать сначала накинулась на него с упреками и бранью, но, видя его почти бесчувственное положение, замолчала и ушла в гостиную, чтоб там наплакаться на свободе.

Во время вечернего чаю, который на этот раз мы пили позже обыкновенного, пришли рабочие и просили разбудить отца. Но он спал так крепко, что не было возможности разбудить его, и мать сама вышла к ним на крыльцо.

— Что вы это делаете? — обратилась она к ним. — Зачем вы остановили работу? Ведь вам же худо будет. Егор Мосеич хочет посылать за исправником.

Рабочие заговорили все разом. Одни, посмирнее, упрашивали мать заступиться за них и приказать им выдать хорошего хлеба. Другие сердито заявляли, что они не лошади, что выданный им хлеб годится только для скота,

что на таком хлебе они работать не могут и пусть кого хотят заставляют работать. Говорили еще, что Егор Мосеич не должен посылать за исправником без согласия Василья Степаныча, а если Василий Степаныч согласится, то его накажет за это бог, что исправника нечего бояться, а надо бояться бога. В заключение все заявили, что сейчас же пойдут на работу, если только отец даст слово завтра же выдать им хорошего хлеба. Всего обиднее казалось рабочим, что всем служителям выдан хороший хлеб, а им, исполняющим такие тяжелые работы, выдан такой, что совсем не годится в пищу.

— Ну, я поговорю, вот только встанет хозяин, я и поговорю, — сказала мать. — А вы бы шли на работу.

— Нет уж, мы не пойдем, не повидавши Василья Степаныча, — заговорили рабочие.

— Да он спит, долго не встанет, не разбудишь! — сконфуженно объявила им мать.

— Мы подождем, ночуем здесь, да не уйдем, не повидавшись. Пусть выспится, мы посидим вот здесь.

И толпа рабочих стала усаживаться. Они уселись на скамье у садового забора, на рундуке парадного крыльца, на ступеньках, ведущих с широкого, усыпанного песком переднего двора в задний, вымощенный деревом, и на ступеньках низкого заднего крыльца. Мать постояла еще с минуту на крыльце и ушла в комнаты. Уже смеркалось, и после ясного и теплого осеннего дня наступил такой же ясный и теплый вечер. Я вытащила скамеечку

на террасу, соединявшую парадное крыльцо с черным, и, усевшись тут, глядела на загорелые, вымазанные сажей лица рабочих, на их жесткие кожаные фартуки, их оборванные тяжелки и гуни, враспашку накинутые на плечи, на неуклюжие лапти, подбитые деревяшками. Глядела на темные пожелтевшие деревья сада, на выходящий из-за них полный месяц, показавшийся мне необыкновенно большим, на то, как осветил он сначала парадное крыльцо и сидевшие на ступеньках его фигуры рабочих, как потом залил своим холодным, белесоватым светом весь наш большой передний двор, в праздничные дни свободно вмещавший в себе все мужское население Кумора. На этом дворе рабочие угощались обедом в храмовые праздники. И теперь их собралось тут человек двести, и все они, разделившись на группы, кто сидя, кто стоя, тихонько разговаривали между собой, попыхивая коротенькими трубочками и терпеливо ожидая, когда выспится начальство. Куривших, впрочем, было немного. Выдавшееся вбок заднее крыльцо бросало от себя длинную тень, закрывавшую почти весь задний двор, и сидевшие на ступеньках этого крыльца были совсем в тени. Но стоявшая перед ним группа из трех человек была ярко и красиво освещена. Я загляделась на эту группу, на добродушное широкое лицо мастера Боровкова, стоявшего прямо против месяца, на его длинную русую бороду, падавшую почти до рук, на эти большие мозолистые руки, скрещенные на груди, на широко расставленные ноги, казавшиеся мне огромны-

ми, и на всю его массивную фигуру, бросавшую от себя исполинскую тень. Боком к нему стоял худощавый черноволосый рабочий с тонким профилем, курчавыми волосами и фуражкой, съехавшей на затылок, и что-то тихонько рассказывал. Третий стоял ко мне спиной, и тоненькая струйка дыма, взвивавшаяся из-за его косматой головы, показывала, что он курил. Боровков, долго стоявший совершенно неподвижно, переступил с ноги на ногу, взял предложенную ему курившим товарищем трубку и стал курить. На заднем крыльце послышался какой-то шум, и сидевшие на нем рабочие быстро вскочили и выбежали на освещенный месяцем передний двор. Следом за ними гналась какая-то высокая фигура с поднятым кулаком. Это был Егор Мосеич, незаметно вошедший с задних ворот.

— Вы зачем здесь собрались? Что вам надо? Как вы смеете курить здесь? Спалить дом хотите?

И с этими словами трубка, вышибленная у Боровкова, отлетела далеко, а Егор Мосеич, крича и ругаясь, принялся гнать и выталкивать рабочих из ограды. Но они не хотели идти и только переходили с места на место.

— Ты здесь не распоряжайся лучше, Егор Мосеич, — сказал кто-то из толпы. — Мы не к тебе пришли и не уйдем, не повидавшись с Васильем Степанычем. Ты нас от себя прогнал, из конторы прогнал, а отсюда уж нас не прогонишь. Мы пришли не к тебе.

— Ах вы грубияны, варнаки! — и туча ругани полилась на рабочих, начинавших все

громче и громче огрызаться. — Вот приедет исправник, так будет вам всем хорошая баня! Узнаете тогда, как шуметь, — грозил Раев, выходя из себя от гнева.

Шум усиливался и сливался в один общий гул. С Раевым пришли двое десятников с нагайками и хотели разогнать толпу; но нагайки не были пущены в дело, и десятники ушли за ограду.

— Где же Василий Степаныч? — закричал Раев, входя на крыльцо. — Разбудите его, что он спит? Пьян он, что ли? — спросил он у подвернувшегося Петрушки.

— Выпивши были, теперь встают, — ответил тот, пробегая в комнаты с ковшом воды в руках.

— Каждый день пьян, — ворчал Раев, остановившись на крыльце.

— Пьян да умен — два угодья в нем, — проговорил кто-то в толпе.

— Он проспит всю ночь, а вы все будете стоять, ждать? — крикнул Раев толпе.

— Выспится, встанет, — ответили ему.

Как бы в ответ на это, стеклянная дверь на парадном крыльце с шумом отворилась, и отец поспешно сошел с лестницы. Рабочие обступили его, умоляя заступиться и не давать в обиду. Все жаловались на Раева за то, что послал за исправником.

— Мы нисколько не бунтуем, — говорили они. — Дайте только нам хлеба, и мы сейчас пойдем на работу.

— Однако вы остановили фабрику самовольно, — сказал отец без гнева и крика. —

Ступайте-ко и пускайте ее в действие — тогда я с вами и поговорю.

— Воля ваша, Василий Степаныч, только мы на этом хлебе робить не можем, — заговорили в толпе. — Вот уж две недели, как мы едим этот хлеб. Сначала мешали пополам со старой, хорошей мукой, а теперь старая мука вся вышла, а из одной новой хлеб никуда не годится. Ведь видели сами, Василий Степаныч, бабы наши приносили вам хлеб показывать. Прикажите нам дать ржи из запасного магазина. А то всем служителям выдали хорошую муку, а нам никуда негодную.

— Ну, смотрите, как бы вам не умереть с голоду в один-то месяц, — укоризненно сказал отец. — Образумьтесь-ко, пока говорю вам добром, и принимайтесь за работу. Худо будет, как распоряжусь. И ты здесь? — проговорил отец, подходя к Боровкову и останавливаясь перед ним.

— Мы все здесь, — отвечал тот замявшись. — Все кричные огулом.

— Хорошо. И фабрика стоит? И вам не стыдно? Один раз, в первый раз в пятнадцать лет случилось, что вам дали плохую муку, и вы взбунтовались? Бога вы забыли на хорошем-то хлебе? А посмотрите-ко у Волжинских (соседний заводовладелец) худой-то хлеб всегда, а добрый-то в редкость, да и то не бунтуют. А вы взбунтовались! Одного месяца не могли стерпеть. Стыд моей голове из-за вас!

— Нам Егор Мосеич сказал, что всю зиму будут нас морить на этом хлебе, — заговорили рабочие, — а не один месяц. Один месяц отче-

го не потерпеть; в один месяц не умрем. Хотя бы пополам выдавали, а то всю дачу дали худой рожью! — говорили более недовольные. — Будь отец родной, смилуйся! Еще мы бы стерпели, да бабы-то и ребята малые совсем этот хлеб не едят.

— А вот промрутся хорошенько, так станут есть, — сказал Раев, подходя к отцу, и его белые зубы блеснули при месяце, раскрытые недоброй улыбкой. Отец молча поглядел на него.

— Вот приедет исправник, так тогда узнают, каково бунтовать, — продолжал Раев, — запирать фабрику в рабочее время, беспокоить начальство по пустякам в ночную пору.

— Так вы уж послали за исправником, любезный кум? — прервал его отец.

— Послал, Василий Степаныч; нельзя не послать, ведь видите — бунтуют, что же мне было делать? — горячился Раев. — Вот вы попробуйте-ка, поговорите с ними, пошлите их на работу. Вы их избаловали, вы ведете себя не по-начальнически...

— Это я сам знаю, как себя вести, — перебил его отец.

Рабочие все разом заговорили, оправдываясь и выражая готовность работать, если им обещают выдать хоть на следующий месяц хороший хлеб.

— Видите, какой крик подняли; десятских вытолкали, ничего не слушают! — говорил Раев, стараясь разжечь отца, не умевшего владеть собой в гневе. — Бунт, настоящий бунт! Собрались ночью, шумят, перепугают и Алек-

сандру Григорьевну, и детей, и все — из-за чего?

Отец нетерпеливо махнул рукой и молча пошел на крыльцо. Рабочие шли за ним следом.

— Что же ты, Василий Степаныч, пошел от нас, не сказавши ничего? — заговорили они, заступая ему дорогу. — Реши нас чем-нибудь.

— Чем же я вас решу? — грустно сказал отец, оборачиваясь к ним. — Меня скоро сменят, пришлют вам другого начальника — тот пусть вас и решает. Вот Егор Мосеич пусть вас решает. Он сегодня, не посоветовавшись со мной, послал за исправником, ему давно вас всех передрать охота! Ну и ждите себе начальство оттуда, а теперь вам начальство Егор Мосеич.

Эта речь произвела такое сильное впечатление, какого отец, вероятно, и не ожидал. Все разом стихли, присмирев, вертели в руках свои истрепанные шапки. Отец с минуту молчал.

— Ну, ребята! Велите мне вас добром помянуть, — заговорил он, возвышая голос. — Послушайтесь вашего начальника, который прожил с вами пятнадцать лет, всегда был ласков к вам и стоял за вас, где мог! Ступайте в фабрику, и сейчас за работу! Чтоб через час фабрика была в действии. Я буду там через час.

И, отстранив заступившего ему дорогу рабочего, отец стал всходить по лестнице.

Толпа загудела что-то такое, что невозможно было понять.

— Как же! Дожидайтесь, пойдут они! — язвительно сказал Раев, направляясь к воротам. Поднявшись на лестницу, отец обернулся к рабочим.

— Слышите, что про вас говорят, и слышали, что я вам сказал? — крикнул он рабочим, и в его голосе сильно зазвучала нотка закипавшего гнева. — Сейчас за работу, сию минуту! И худо будет тому, кого через час я не найду на месте!

С этими словами отец ушел в комнаты, так сильно хлопнув стеклянной дверью, что стекла со звоном посыпались на пол.

Шумно разговаривая и споря между собой, рабочие вышли из ограды и направились к фабрике. Я пробралась в залу и, севши на окно, устремила глаза на освещенную месяцем безмолвную фабрику. Отец ходил по зале, курил трубку, пил квас из большой белой кружки и тоже поглядывал в окно. Мы ждали недолго. Скоро широкие двери фабрики отворились, и в них блеснул огонек, сначала один, маленький, потом заблестело их несколько; они передвигались с места на место, делались ярче; из черных фабричных труб показался дым, и скоро все кричные горны запылали, а в отворенных дверях ярко осветившейся фабрики засновали взад и вперед фигуры рабочих.

— Ну, ступай спать, Софья, чего ты сидишь так долго? — сказал отец, поглаживая меня по голове. Я поймала его руку и поцеловала. Я всегда любила отца, но в эту минуту он както показался мне особенно мил и дорог.

— Теперь ведь они будут работать? — спросила я отца. — Ведь больше не будут бунтовать.

— Они и не бунтовали, это все кумонька моего любезного шутки, — сказал отец. — Народ у нас славный, добрый народ. Иди к матери и вели накрывать на стол, а я в завод схожу. Надо им сказать спасибо.

— На стол давно накрыто, — сказала тихонько подошедшая мать, — а в заводе тебе нечего делать. Начали работать, так и пусть работают.

— Ну нет! Я сказал, что буду через час на фабрике, и буду.

И, допив остатки квасу из кружки, отец взял фуражку и ушел. Я смотрела ему вслед, пока могла видеть его немного сутулую фигуру с наклоненной вперед головой, и, когда он исчез за плотиной, стала смотреть на двери фабрики, ожидая там появление этой хорошо знакомой мне фигуры. Скоро она показалась в дверях и исчезла в фабрике, окруженная толпой рабочих. Но мы напрасно ждали его возвращения. Опять одни мы поужинали и легли. Уже поздно ночью отца привели домой, и опять пьяного.

На другой день, вскоре после обеда, приехал исправник, и так как усмирять оказалось некого, то он, напившись вместе с отцом и получивши от него что-то в подарок за напрасное беспокойство, вечером же уехал обратно.

Тщетно настаивал Раев на том, чтоб отодрать в полиции зачинщиков, тщетно он спорил с отцом, угрожая ему гневом управляю-

щего, самого заводовладельца за поблажку мастеровым, — отец никого не дал тронуть пальцем. И хорошего хлеба он велел им выдать вперед за половину следующего месяца.

— Пусть меня не поминают лихом, — говорил отец. — Мне уж здесь недолго осталось жить.

И точно, жить в Куморе оставалось нам уже весьма недолго, так недолго, что отец и сам бы удивился, если б кто сказал ему, где он будет через месяц после этого.

IV. ПРОВОДИНЫ

Спустя несколько дней пришла, наконец, давно ожидаемая бумага, которою отец увольнялся от должности приказчика и на место его назначался другой. Этот другой приедет вслед за распоряжением начальства и примет должность. Отец знал его. Это был неспособный, недалекий, не умеющий обращаться с народом, но трезвый и усердный человек.

— Ну что ж, им такого и надо, — сказал отец, вздохнув.

Он перенес это несчастье спокойнее, чем можно было ожидать. Даже не напивался до безобразия и, встретив своего преемника, сдал ему должность с таким спокойствием и достоинством, что даже удивил всех. Не так переносила это мать: она целые дни горько плакала, собирая и укладывая в сундуки свое имущество, сдавая преемнику отца господское столовое серебро, белье и посуду. Со дня на

день ждали из Кушгорта определения отца в какую-нибудь другую должность и приказа о перемещении в какой-нибудь завод, так как носился слух, что в Куморе отца не оставят. Еще носился другой слух о предстоящей смене управляющего, хорошо расположенного к отцу. Этот слух вскоре подтвердился. Управляющего действительно уволили на пенсию, определив на его место одного из членов правления, человека, пробившего себе путь своими замечательными способностями. Он был тоже из крепостных, но каким-то образом давно был отпущен на волю, записался в купцы и женился на дочери какого-то губернского туза, много раз бывал в Москве и Петербурге, был лично известен заводовладельцу и держал себя независимо относительно своих сослуживцев и гордо относительно подчиненных. Он не брал взяток или, лучше сказать, выражаясь словами народа, не брал гостинцев, а следовательно, почти и не выслушивал просьб рабочих.

Одним из первых распоряжений нового управляющего было определение отца смотрителем на Позорихинскую пристань, официально известную под другим названием, отстоявшую от Кумора верст за триста с лишком к северу. Жалованья убавлялось наполовину. Мать была поражена этим назначением до глубины души, и отец, все-таки не ожидавший такой суровости, тоже впал в уныние и сильно запил. Несколько дней в семье у нас только и слышно было, что перебранка, упреки и слезы. Мать посылала отца в Кушгорт умолять управляющего о смягчении наказания, но отец

не согласился и предпочел подчиниться суровому решению и предоставить течению времени смягчить гнев начальства. Покутивши, похворавши после кутежа, отец начал собираться в дорогу. Нас он оставлял в Куморе до зимнего пути, так как дорога на Позориху в осеннее время была почти непроездна. В день отъезда отца к нам собралось множество народа. Все служащие при конторе пришли проститься. Мать в тот день не имела времени плакать. Она была очень гостеприимна и, как хорошая и заботливая хозяйка, думала только о том, чтоб прощальный обед вышел на славу. За обедом все подкутили; объятиям, слезам, поцелуям, выражениям признательности за доброту отца и сожалениям, что лишаются начальника, который жил с подчиненными, как с родными, казалось, не будет конца. Во время обеда пришли и кричные мастера проститься. Им пришлось подождать с час, и все они, молча сжавшись в кучки, стояли в передней, в сенях и на крыльце. Все были угрюмы и молчаливы. Как сейчас вижу широкое, добродушное лицо Боровкова, его толстые губы, скрывающие ряд ослепительно белых зубов, так часто мелькавших во время веселой улыбки, его огромные руки, искрещенные, точно бечевками, толстыми узловатыми жилами. «Господи, какой он огромный!» — всякий раз думалось мне, когда я встречала его. Рядом с ним стоял Чертушко, почти такой же высокий, как и Боровков, только более костлявый, выглядывающий из-под нахмуренного лба, над которым торчали вихры черных, как

смоль, волос, угрюмо-грустными глазами. Тут же стоял и Кетов, превращающийся каждый праздник из брюнета в блондина. Сажа, покрывающая его густые, волнистые волосы, смывалась в бане, и их природный льняной цвет, их мягкость и шелковистость бросались в глаза и как будто не подходили к его загорелому, медно-красному лицу. Помню, я раз очень насмешила его вопросом, откуда он взял такие шелковые волосы, когда он сидел у нас в кухне в какой-то праздничный день.

— Господь такие дал, Сонюшка, — смеясь ответил он мне.

Впереди всех стоял уставщик Еремей Веселков. Это был мой лучший знакомый. Много раз, сопровождая отца по кричной, он носил меня, когда я была мала, на своих сильных руках и водил за руку, как подросла побольше, предупреждая, чтоб я не наступила на не остывшую еще, хотя уже потемневшую полосу только что выкованного железа, оберегая, чтоб брызги от рассекаемой крицы не долетели до меня, чтоб какая-нибудь искра не прожгла мое платье, чтоб кто-нибудь не толкнул меня, не наступил мне на ногу. Его курчавая, начинающая седеть голова часто наклонялась ко мне, и он кричал мне на ухо — не боюсь ли я, не жарко ли мне, не хочу ли я на свежий воздух, — когда отец останавливался в фабрике, разговаривая с кем-нибудь. И всегда я отрицательно мотала головой. Как бы ни было жарко мне, но я никогда не просилась домой. Какую-то необъяснимую привлекательность имели для меня и этот адский шум, и стук, и

пылающие горны, и огромные крицы, тяжело поворачиваемые под молотами, и сильные, темные, покрытые сажей фигуры рабочих. Я готова была глядеть на них по целым часам. В корпусе духовой машины мы с Веселковым становились на один из огромных поршней, с каким-то свистящим жужжанием ходивших в блестящих внутри чугунных цилиндрах, и у меня замирало сердце, когда поршень опускался вниз, и рука моя, крепко державшаяся за руку Веселкова, вздрагивала и сжималась еще сильнее.

— Что, страшно? — спрашивал меня Веселков.

— Нет, — храбро отвечала я и весело улыбалась отцу, когда нас поднимало кверху.

Но все-таки более трех раз я не могла выдерживать, у меня захватывало дыхание, и Веселков ловко соскакивал с поршня на пол, предварительно взяв меня под мышки. После я уж соскакивала сама, только не выпускала его доброй руки из своей.

— Ну, вот и покачались, — говорит мне Веселков. — И ведь боялась немножко, боялась ведь?

— Нет, не боялась, — утверждаю я. И Веселков, недоверчиво улыбаясь, говорит отцу:

— Хоть и дрожит вся, а все говорит — не боюсь.

— Уедешь, Сонюшка, от нас далеко, нам уж тебя, знать-то, и не видать, — сказал мне Веселков, когда я, увидав его в числе пришедших проститься, подошла и остановилась возле. И покрытая сажей рука ласково гладила ме-

ня по голове. Из дверей детской вышла моя младшая белокурая сестренка и, переваливаясь с ноги на ногу, тоже подошла к нам.

— Господь с вами, милые! — проговорил Веселков и хотел погладить и ее по голове. Но она испуганно отскочила и убежала в детскую.

— Испужалась! — проговорил Боровков, показывая свои белые зубы.

— Как нас не испужаться? Ишь мы какие страшные, — проговорил кто-то в толпе.

— А эта вот не боится, эта и меньше была — не боялась. Сызмала к нам привыкла, — добавил Боровков, показывая на меня.

— Долго мы тебя станем помнить, а за твоего тятеньку век будем бога молить, — вздохнул Веселков.

Вышел отец и, подав всем по стакану водки, стал прощаться с ними, целуясь и обнимаясь. Все мастера пришли прямо из кричной в своих обыкновенных рабочих костюмах, и отец, побывавши в их объятиях, стал почти столь же черен, как и они. Он был значительно выпивши и, прощаясь с ними, растрогался до слез. Слезы текли по его лицу и, смешавшись с приставшей к нему сажей, образовали на нем узоры, которые, не будучи вытерты, так и засохли на лице. Когда он, распрощавшись с мастеровыми, вернулся к гостям, то, несмотря на общее грустное настроение, все невольно расхохотались. Отец поглядел в зеркало и тоже расхохотался. Прощаясь, он с жаром объяснял своему преемнику, какие они — эти кричные мастера — славные люди. Тот выслушивал молча, стараясь скрыть выражение пре-

зрительного нетерпения. Распростившись со всеми, отец, наконец, сел в экипаж. Все мы и многие из гостей ехали провожать его до Камы. Там еще раз выпили наливки, певчие-любители, певшие концерт во время обеда, еще раз спели многая лета; отец Власий благословил; еще раз со всеми перецеловавшись, отца, наконец, усадили в экипаж, и он уехал.

Грустные возвращались мы домой. Наступали сумерки, моросил мелкий дождик. Мать плакала и говорила ехавшей с нами жене о. Власия о том, как рады будут враги отца его унижению. Она предполагала почему-то, что у отца много врагов, и в числе их, разумеется, считала Егора Моисеича. Ей показалось, что из окон одного дома выглядывают насмешливые лица. Какая-то женщина, шедшая с водой, заглядевшись на длинную вереницу возвращавшихся с проводин, забыла поклониться, и мать заметила это.

— Вот уж и кланяться не хотят, — с горечью сказала она, — а уж он ли не был до них добр.

Матушка и отец Власий просидели у нас весь вечер, утешая и ободряя плачущую мать.

Наше переселение на Позорихинскую пристань состоялось только в ноябре. Не буду описывать этого события, хотя не могу не упомянуть о том тяжелом впечатлении, какое произвела на нас суровая, гористая местность, в которой нам приходилось жить. Высокие каменистые горы, обступившие со всех сторон скромный домик смотрителя, как будто давили его, а косматые, темные ели, растущие по скло-

нам гор и подступавшие вплоть к нашему жилищу, наводили на нас страх своим унылым и однообразным шумом. Кроме дома смотрителя, тут были еще две или три казармы, пустые в осеннее время, и дом сторожа, или иначе лесника. Повыше, версты на полторы по речке Асьве, на берегу которой стоял смотрительский дом, находились каменноугольные копи, недавно начатые разработкою, и около них несколько новых изб и казарм для рабочих. Алакшинский завод и рудник отстояли от нас верст на пятнадцать, а другой, меньший, под названием Полуденного рудника, находился верстах в десяти. Отец утешал меня тем, что весной, во время грузки и сплава каравана, у нас будет очень оживленно и весело, а летом можно будет ходить на Крестовый камень, возвышавшийся на правом берегу Асьвы, как раз напротив нашего дома, и поглядеть оттуда на живописные по своей дикости, далеко открывающиеся окрестности. Но только несколько лет спустя я научилась находить красоту в этой дикой, горной стране и даже полюбила ее за суровую прелесть ее высоких каменистых гор, между которыми, сверкая, как сталь, протекала быстрая Асьва.

Тогда я не думала, что мне придется прожить тут мои лучшие молодые годы, испытать много горя и лишений и до некоторой степени освоиться и сжиться с интересами населения Позорихи и окружающих рудников и заводов. Мои наблюдения, эпизоды из жизни окружающего населения и мою личную жизнь я передам в следующих очерках.

НЕДАВНЕЕ

Из воспоминаний управительской дочери

I. НА ПОЗОРИХЕ

Грустно и однообразно шла наша жизнь на Позорихинской пристани. Помещались мы довольно тесно, всего в трех комнатах, из которых две были очень маленькие. Обедали зачастую в кухне, где мать, постоянно грустная, проводила большую часть времени, помогая неловкой, ничего не умеющей кухарке из местных крестьянок. Отец тоже сильно скучал: дела у него не было никакого, кроме приемки нескольких возов руды и чугуна в день, которые перевозили на пристань из Алакшинского завода. По вечерам же он был совершенно свободен и сначала положительно не знал, как их скоротать, пока, наконец, не догадался выпросить у служащих в Алакшинском заводе книг. Книги эти были преимущественно старые романы. Сначала отец сам читал их вслух, но потом, когда уставал, стал заставлять читать меня. Скоро я до страсти полюбила чтение и способна была целые дни проводить за книжкой. Изредка мы ездили в гости в Алакшинский завод, изредка к нам приезжали гости. Чаще других приезжала к нам тетка отца, бабушка Анна Степановна. Мать хоть и очень не любила ее за скупость, но все-таки бывала рада и ей. Она была хорошая рассказчица и, несмотря на свои преклонные лета (ей было

70 лет), рассказывала события давно минувших дней с такой живостью, часто доходившею до комизма, что не было возможности не хохотать. Мы, дети, страшно наскучавшиеся в захолустье, всегда встречали ее с величайшей радостью. Сказки из «Тысячи и одной ночи», которые бабушка помнила отлично со всеми мельчайшими подробностями, рассказанные необычайно живо, даже представленные в лицах, приводили нас в неописуемое восхищение, и под эти рассказы незаметно уходили длинные зимние вечера.

Особенно памятен мне один из них, когда бабушка, подзадориваемая развеселившеюся матерью, с особенным увлечением рассказывала о том, как она выходила замуж и как старалась понравиться жениху, который, как только появился в Алакшинском заводе, так и заполонил ее сердце.

— В церкви я его в первый раз увидела, ну да и после часто видела, потому что ему все мимо нас ходить доводилось. А ему-то меня посмотреть было негде: в церкви-то, как был в первый раз, он меня не уприметил, а я, как увижу, что он идет мимо, так за косячок и спрячусь да из-за косячка-то и высматриваю, как Елена прекрасная.

Мы расхохотались: трудно было нам представить себе, чтоб эта маленькая сгорбленная старушка, с морщинистым лицом и заострившимся носом, когда-нибудь походила на сказочную красавицу. Бабушка поглядела на нас и сама рассмеялась.

— А в те поры я не такая была, — заговори-

ла она снова. — Хоть я и невеличка была ростом и не очень из себя дородна, да как надену стеганый подсердечничек, так сыздали-то показываю, как будто полная. А из лица я была красовитая, белая, румяная, чернобровая, глаза веселые. Вот ты вырастешь, будешь на меня похожа, — добавила бабушка, обратившись ко мне.

Я поморщилась: перспектива вырасти и стать похожей на бабушку мне не очень нравилась.

— Ну уж, бабушка, на тебя я похожа не буду: пятнышка-то у меня нету, — сказала я.

У бабушки было довольно большое родимое пятно на верхней губе.

— Ну, только пятнышка нет, а то совсем на меня будешь похожа, — повторила бабушка. — У меня тогда пятнышка не было видно. Жених мой до свадьбы и не знал об нем.

— Да как же ты это делала, бабушка?

— Мушки в те поры носили, так я тут завсегда мушку лепила.

— Какие это мушки?

— А такие вот: черненькие. У кого бархатные, у кого тафтяные. У меня бархатные были.

— А платья тогда какие носили?

— Платьев тогда не носили, а носили юбки и кофты, телогреи, шугаи, епанчи. На голове шитые золотом косынки. А мужчины носили камзолы, брызжи и косы.

— Косы? — удивлялась я. — Какие косы?

— Такие же, как у девиц. Тогда волос не стригли, а кто стриг, так те подвязывали косы фальшивые либо парики надевали. По конец

косы кошелек привязывали: у кого бисерный, у кого серебряный, у кого золотом шитый. У моего жениха был золотом шитый и с жемчужной кисточкой. Камзол был зеленый бархатный, господин с своего плеча подарил, а подкамзолье — глазетовое. Как увидала я его в церкви во всем снаряде, так себя не вспомнила. Росту большого, румяный да полный; всех в заводе красивее был мой Григорий Захарович.

— Помнится, немножко глазами косил, — сказал отец, желая подразнить бабушку.

— Что ты? Что ты? — замахала она рукой. — Ни чуточки, ни капелечки, сокольи глазоньки были! Кабы косой был, небось — меня бы не подглядел, — добавила бабушка усмехнувшись. — Да ты его и помнить не можешь: ведь тебя в ту пору чуть от земли было видно.

— А сколько этому лет теперь? — спросила мать.

— Да вот уж сорок два года вдовею, да с милым моим дружком Григорием Захарычем жила пять годков, только пять годков! — вздохнула бабушка и перекрестилась, шепча молитву. — Много лет прошло, много, а я эти годки лучше вчерашнего дня помню. Хорошо мы с ним жили, советно.

— А сама сказывала: когда-то такого тычка дал, что и не опомнилась, — рассмеялась мать.

— Ну, это одинова было, да и я сама виновата была: не в свое дело сунулась, мужиков отпустила.

— Каких мужиков?

— А в ту пору здесь народу мало было, и по зимам пригоняли из других вотчин для работ в рудниках. Народ руду копать непривычный был, в шахты спускаться боялся; ну вот, они и откупались, которые побогаче, а которые убегом уходили.

— Что же ты, бабушка, деньги с них взяла?

— Взяла, родные: с восьми человек по крестовику взяла да с двух по два. А Григорий Захарыч узнал да так осердился, что даже пена у рта показалась. Вишь, нельзя отпускать-то их было! Он, как отъезжал из Питера, самому господину захвастался, что вдвое боле руды добудет, и каждым работником дорожил тогда. После, как переселили сюда на жительство крестьян с куморской и других дач и стало народу больше, так и сам, бывало, отпускал; коих побогаче. А много было битвы с этими переселенцами! Поживут немного — сбежат. Поймают их, приведут в кандалах, дерут, дерут в полиции, опять заставят робить. Помаленьку, однако, привыкли, обзавелись домами, ребятишки народились — ну и не стали бегать. А как дети выросли, так те уж охотнее пошли на работу, потому, окромя как руду копать, и делать-то ничего не умеют. Все это были моего Григория Захарыча заботы; верный слуга господину был — ну и господин его любил и жаловал: и деньгами, и платьем, и часами.

— И он носил это платье, бабушка?

— Сперва носил, ходил в нем к обедне, а после не стал: простой кафтан суконный но-

сить стал. А сперва носил и чулки, и башмаки с пряжками, и камзол бархатный, и косу...

Я живо представила описываемый бабушкой костюм и расхохоталась. Бабушка поглядела на меня с снисходительной улыбкой и прибавила:

— В те поры это хорошо было и нисколько не смешно.

Рассказы о старине еще продолжались, но мне уж не сиделось на месте, и, бросив чулок, который я вязала, я убежала в кухню, отделявшуюся от комнат небольшими сенями. Там я принялась пересказывать кухарке и сторожу, какой костюм носил прежде дедушка. Сторож исполнял у нас обязанности дворника и кучера. Это был седой, но еще плотный и бодрый старик с жиденькими волосами, висевшими довольно длинными прядями на его шее. Эти-то волосы и навели меня на мысль, что не худо бы было заплести ему косу и, нарядив во что-нибудь подобное описанному бабушкой платью, показать ей. Мосей сидел на низеньком самодельном стуле в одном белье и босой и старательно вязал варежку, или исподку, как он ее называл. Зная нелюбезность и ворчливость Мосея, я с некоторым страхом подошла к нему и принялась заплетать ему косу, прибавив для густоты несколько мочала. К моему удивлению и радости, Мосей хотя и протестовал немного вначале, но потом покорился: он весь был углублен в свою работу. Кончив косу, я бегом бросилась в комнаты и там, схватив с гвоздя в спальной свою белую юбку с оборкой и отцов архалук, пустилась

обратно, выпросив прежде у отца кисет с табаком.

— Чего ты там затеяла? — с неудовольствием крикнула мне мать.

— Ничего, мамаша. Вы приходите все в кухню, пожалуйста, приходите, только не сейчас, а погодя немного.

Вбежав в кухню и убедившись, что Мосей не расплел косы, я прицепила к ней прежде всего кисет с табаком и затем предложила Мосею надеть мою юбку на шею.

— Твою юбку на шею?

Мосей удивленно поднял голову, низко наклоненную над вязаньем. Я воспользовалась этим и, не ожидая его согласия, набросила ему юбку на голову, потом проворно стянула ее около шеи густыми сборками, завязала крепким узлом и затем услужливо подала ему отцов архалук (под этим названием существовал у отца какой-то стеганый кафтан из крайне пестрой бумажной материи). Ублажая Мосея всеми возможными ласковыми именами, я заставила его надеть архалук, и пока он разглядывал болтающиеся на груди зеленые стеклянные пуговицы и петлички из красного шнурка, я отыскала на полке старую узковерхую войлочную шляпу и, накрыв ею голову Мосея, заставила его встать и повернуться. Расправляя на шее оборку юбки, долженствовавшую изображать брызжи, для чего я влезла на лавку, я взглянула на стряпку, следившую все время с молчаливым вниманием за совершением туалета. Веретено с пряжей выпало у нее из рук; ее сырое рябое лицо рас-

плылось в широкую улыбку, и вся она тряслась от беззвучного смеха. Мосей тоже взглянул на нее.

— Ишь ведь баловница! — проговорил он, не зная, смеяться ему или сердиться. Он очень не любил, когда над ним смеялись.

В это время дверь в кухню отворилась, и в ней показались отец, мать со свечой в руке, бабушка и сестры.

— Кланяйся бабушке, Мосей! — скомандовала я, снова вскакивая на лавку и подняв кверху стоявшую на столе свечу, чтоб лучше осветить Мосея.

Но Мосей не кланялся. Его лицо вдруг сделалось сердитое; с выражением самого комичного неудовольствия он поворачивался к бабушке боком всякий раз, как она старалась заглянуть на него спереди. А бабушка, быстро войдя в роль, с забавными ухватками, величая Мосея своим ясным соколиком, бегала около него, уговаривала его не сердиться, не гневаться, а поздороваться с нею как следует. Отец и мать смеялись; кухарка, держась за бока, каталась на лавке. Что до меня, то я, разумеется, была на верху блаженства от своей выдумки и до того скакала на лавке от смеха и восторга, что, наконец, свалилась и уронила свечу. Мосей бросился подымать свечу, а бабушка меня, но я уже вскочила и, показывая бабушке кисет с табаком, спрашивала, такой ли кошелек привязывал дедушка к косе. Мосей терпеть не мог табак, считая его поганым зельем, и, увидав, что такое прицеплено было к его косе, он вдруг вышел из себя

и, не щадя своих волос, принялся вырывать вплетенные в них мочала и снимать с себя архалук и юбку. В последней он долго путался и стал совсем красный от гнева и усилий развязать крепко затянутый узел.

— Бесстыдница! Выдумала издеваться над стариком, — ворчал он, топчась на одном месте. — Нашли забаву, окаянные! Ну-ко ты, развяжи!

Это относилось к кухарке, все еще от смеха не могшей приняться за пряжу. Она помогла ему распутать узел, а мы с бабушкой, сидя на лавке, уговаривали Мосея не сердиться. Отец и мать ушли из кухни, и расходившийся Мосей пошел вслед за ними, прося отца кликнуть меня.

— Ведь я к вам не для смеха приставлен, а для дела, — говорил он. — А вы что выдумали? Озорничать надо мной! Я и жить у вас после этого не стану.

— Вот расходился, старый хрыч! — прикрикнула на него мать. — Ведь не силой тебя же нарядили? Зачем поддавался?

— Подай ему рюмку водки, — предложил отец. Но мать, не любившая Мосея за грубость и лень, не согласилась и выгнала его из комнаты. Мне она сделала выговор, пригрозив на следующий раз хорошей волосянкой, если я не оставлю водить компанию с мужиками. С той поры между Мосеем и матерью шла постоянная война, кончившаяся, наконец, изгнанием Мосея и водворением на его место другого сторожа.

II. В РУДНИКЕ

Как-то уж в конце зимы отцу вздумалось повезти меня и мать в рудник, в гости к смотрителю.

— Мы с тобой, Софья, в шахту спустимся,— говорил отец дорогой. Я, разумеется, выразила полнейшую готовность и удовольствие.

— Не там ли поджигатель-то работает? — спросила мать.

Накануне к нам приезжал кто-то из завода и сообщил, что из Кушгорта привезли закованного в цепи арестанта для работы в руднике; что сослали его в работу за то, что он ругал управляющего, бунтовал народ и, наконец, заподозрен был в поджоге дров в заводе. Дров, впрочем, сгорело немного, так как пожар заметили вовремя и погасили. Но, что всего удивительнее, взбунтовавшийся был сын одного из служащих в заводе, кончивший курс в заводской школе и уже с год прослуживший в правлении. Отец и мать были знакомы с его родными и знали, что он был любимый сын у матери. «Вот и дождалась радости Евгения Ивановна от своего Валериньки», — вздыхая говорила мать, удивленная и опечаленная этим случаем.

Подъезжая к руднику, мы были удивлены тем, что узкая, вся избитая рудовозами дорога была широко расчищена и все выбоины углажены.

— Разве ждут кого? — удивлялся отец, оглядываясь по сторонам и понукая нашу толстую, неуклюжую лошадь.

— Разве вы ожидаете кого? — повторил он свой вопрос, здороваясь с смотрителем, когда мы приехали в рудник.

— Да, ожидаем, — улыбаясь ответил смотритель, — важную особу ожидаем сегодня.

— Кого же это? — встревожились отец и мать. — Мы, значит, не вовремя приехали к вам.

— Нет, отчего же! Всем будет места. Особа хотя важная, но нас она не стеснит.

— Да кто такой будет? Скажите на милость.

— Локомобиль привезут сегодня, — смеясь сказал смотритель.

— Ну, вот что! А я и в самом деле думал — важная особа.

— Везут! — вбежал запыхавшийся двенадцатилетний сын смотрителя.

— Что ж, пойдемте посмотреть? — предложил смотритель, взявшись за фуражку. Мы поспешно оделись и пошли на дорогу. Там уже собралась кучка мужчин, женщин и ребятишек. Все были в каком-то радостном настроении: ребятишки суетились, толкались и взвизгивали; женщины подсмеивались друг над другом, что побросали работу и выбежали смотреть неизвестно на что. Мы остановились на краю дороги в то самое время, как из-за горы показались сани, запряженные парой, в них двое мужчин в барашковых шубах и бобровых шапках.

— Это алакшинский управляющий и механик, — сказал смотритель. — А вон следом за ними и важная особа едет.

Важную особу везли на длинных, нарочно устроенных дровнях несколько пар лошадей, запряженных цугом. Человек двадцать рабочих окружали ее, стоя на отводах, на передке и запятках. Все они улыбались, кланяясь с знакомыми, и самая машина весело блестела своей новой щеголеватой полировкой на ярком февральском солнце. Так как дорога шла несколько на подгорь, то ехали довольно быстро и скоро поравнялись с нами.

— Вот так штука! — говорили бабы, идя толпой следом за локомобилем. — Где же это такую штуку изладили? Неужто в Кушгорте? — спрашивали они у окружающих машину рабочих.

— Досталось им! — ответили те. — Из-за моря выписали.

— Из-за моря? Ишь ты! Сами-то, верно, не могли такую доспеть, — говорили в толпе. И пошли толки и предположения о том, как ее везли из-за моря и сколько за нее денег заплачено. Мы шли вместе с толпой до рудника, где в наскоро сколоченный сарай стали устанавливать привезенный локомобиль.

— Еще много времени пройдет, пока его пустят в действие; мы той порой успеем в рудник сходить, — сказал отец, обращаясь к матери. — Пойдешь ты? Лестницы здесь хорошие.

— Нет, не пойду, боюсь, — сказала мать, заглядывая в шахту. — Не умею я ходить по таким лестницам.

— А я пойду, мама? Мне можно? — просила я. — Я не боюсь.

— Только шубку сними, а то всю отвозишь в грязи, — сказал рабочий, которого смотритель откомандировал сопровождать нас.

— Вот, надень мою гуню, — предложил какой-то мальчишка с насмешливой улыбкой. Я покосилась на него с недовольным лицом.

— Ничего, надень, — сказал мне отец, надевая сам предложенный рабочим азям. — Только скорее, не то оставим.

Я быстро надела некрасивую гуню мальчишки, подпоясалась каким-то обрывком и полезла вслед за начинавшим спускаться отцом. Впереди всех спускался рабочий с пуком зажженной лучины, за ним шел отец, и так как он никогда не бывал в рудниках, то спускался очень медленно. За ним спускалась и я, задом наперед, держась обеими руками за скользкие и грязные ступени узеньких лесенок. Наконец пошли по длинному, несколько искривленному, покатому коридору. Со стен и потолка звучно капала вода и ручейком струилась посредине земляного пола. Там, где ручеек был шире и глубже, были набросаны доски. В средине коридора нам встретился штейгер и воротился с нами, чтоб показать нам лучшие забои. Повстречалось несколько человек рабочих в грязных рубашках, лаптях и кожаных фартуках. На коленях у них были привязаны ремешками куски кожи. Мы шли довольно долго, как вдруг сопровождавший нас рабочий нагнулся и юркнул в какую-то темную дыру в боку коридора, приглашая и нас последовать за ним. Отец, кряхтя, нагнулся. Даже я почти касалась головой потолка этого низкого про-

хода. В проходе нам встретилось несколько человек рабочих с тачками. Они ползли на коленях, толкая тачки перед собой. Проход имел в длину сажен десять, в ширину около сажени.

— Уф! — вздохнул отец, разгибаясь, когда мы вышли в другой коридор, где можно было стоять прямо. — Зачем же это тут так низко? — спросил он, обращаясь к штейгеру.

— Да вот видите ли, здесь руды не было, а рыли этот проход только для того, чтоб ближе было руду возить. А если бы все по этому коридору катать руду, так надо сажен пятьдесят сделать в один конец, столько же назад возвращаться.

— Ну все-таки можно было бы сделать повыше, а то вот извольте с тачкой-то ползти на коленях, да еще в грязи, — сказал отец брезгливо.

— Выше-то дороже бы стоило, — возразил штейгер. — Кабы хоть сколько-нибудь руды было, а то все — пустые породы, да еще очень крепкие. Экономию соблюсти захотели.

Мы подвигались вперед не скоро, потому что поминутно встречались рабочие с тачками. Одни катили руду, другие — землю. Работа кипела. Из коридора, по которому мы шли, начиналось много штреков; в них мерцали сальные огарки и пучки лучины и копошились люди. В один из таких штреков, или забоев, мы и вошли.

— Вот где богатство-то, Василий Степаныч! Вот извольте-ка посмотреть, — сказал штейгер, взяв из рук рабочего пук лучины и подни-

мая его кверху, в уровень с головой. — Посторонитесь, дайте поглядеть, — прибавил он, обращаясь к работавшим там мужикам. Они посторонились, мы подошли, и перед нами заблестела и заискрилась стена вышиною в сажень синеватым железистым блеском.

— Сплошь руда, — сказал штейгер, поводя пуком лучины сверху вниз. — Земли почти что нет. Одно слово — богатство!

Отец взял у рабочего молоток и стал отбивать несколько кусков руды. А я стояла и глядела то на богатство, находящееся перед моими глазами, то на сгорбленные и худые, с закоптевшими лицами, одетые в невообразимо грязные рубашки фигуры рабочих, то на свои грязные руки.

— Что глядишь на руки-то? — проговорил над моим ухом какой-то грубый голос. — Измарала, что ли, их? Ничего, вода заберет.

Я подняла голову и встретила худощавое, запыленное лицо рабочего с жиденькой бородкой и ласковые серые глаза, смотревшие на меня не то покровительственно, не то укоризненно.

— Ничего, — продолжал он, — вымоешься; зато будешь помнить, каково в руднике, будешь другим сказывать.

В это время в коридоре раздались какие-то необычайные крики; рабочие и все мы поспешили к выходу. По коридору бежал какой-то рабочий, размахивая молотком и звякая кандалами. Увидав нас, он закричал:

— Изверги! Палачи! Мучители! Не хочу я здесь быть больше, не хочу! Лучше в солдаты

пойду. Если меня оставят здесь, я убью кого-нибудь или себя убью.

И он остановился против нас, размахивая молотком. На эти крики рабочие повысыпали из забоев и штреков и, высоко подняв над головой пуки зажженной лучины, стояли поодаль и смотрели.

— Валеринька! Тебя ли я вижу? — вдруг воскликнул отец, выходя из-за рабочих и с искренней жалостью и ужасом протягивая руки. Это и был арестант, о котором мы слышали накануне. У Валериньки опустились руки, и молоток, которым он так гневно размахивал, упал на пол.

— Василий Степаныч! — вскрикнул он и, зарыдав, бросился к отцу в объятия.

Не помню, что говорил ему отец, но помню, что он плакал и уговаривал его покориться и просить прощения.

— Никогда! Никогда! — кричал Валеринька. — Я сказал им и повторяю, что готов в солдаты идти. Зачем они меня здесь держат? Какой я работник! Я наделаю здесь вреда и себе и им. Помучить им охота человека, поиздеваться над ним? Ну, так будет уж, помучили! А жить у них не стану. И робить не стану. Вот я им...

И Валеринька оглянулся, отыскивая выпавший молоток. Но рабочие уж подняли его и, окружив Валериньку, старались оттеснить его от отца в глубину коридора.

— Скажите им, что они варвары, душегубы! — кричал Валеринька, обращаясь к отцу, но отец уже не слушал и, махнув рукой, по-

спешно пошел к проходу. Валериньку, продолжавшего кричать, тащили в глубь коридора. Мы вошли в проход, и крики вдруг точно оборвались; слышалось только поскрипывание тачек и шлепанье ног по жидкой грязи. Молча, не проронив ни одного слова, поднимались мы по лестницам и, выбравшись на свежий воздух, глубоко, радостно вздохнули. Выйдя из шахты, мы застали наверху кучку народа, столпившегося посмотреть, как спустят посредством пара первую бадью, колеблющуюся над темным отверстием шахты на канате. Совершенно неожиданно для всех раздался пронзительный свисток, от которого все вздрогнули, некоторые даже вскрикнули, а затем весело рассмеялись своему испугу. Когда свисток смолк, бадья юркнула в шахту, точно ее бросили туда. Вздрогнувший и заколебавшийся канат показал, что она остановилась. Через пять минут дали знать, что она наполнена, и бадья почти моментально с шумом вылетела кверху. Ловко подхваченная ожидающими рабочими, она быстро выбросила содержимое на землю и, немного поколебавшись в воздухе, снова исчезла в отверстии шахты.

— Ну, пошла машина в ход! — проговорил отец и, вздохнув, пошел к дому смотрителя.

Возвращались мы домой поздно вечером и уж не так весело, как ехали вперед. Отец, совсем пьяный, спал в санях и занял так много места, что мне пришлось поместиться на козлах. Кучером у нас был работник, которого нам дали с рудника, и я, чтоб не свалиться с козел, всю дорогу держалась рукой за его ре-

менный пояс. Рука у меня устала и озябла, и я хотела было попроситься сесть к матери в ноги, но она была такая сердитая и унылая, что я не смела и пикнуть.

Спустя несколько времени узнали мы, что желание Валериньки исполнилось: его отдали в солдаты.

III. ВЕСНА

Наконец, так долго, так нетерпеливо ожидаемая весна наступила, и наше унылое, безлюдное место оживилось и повеселело. Пустые всю зиму казармы наполнились рабочими, преимущественно крестьянами, и началась постройка коломенок, в которых сплавлялись руда и чугун в другие заводы помещика. Для наблюдения за постройкой часто приезжали алакшинские управляющие, то тот, то другой, оставались у нас по целому дню и играли в карты. Играли, разумеется, на мелок, но горячились и спорили во время игры так, как будто проигрывалось целое состояние. Рабочие устроили для нас мостки из теса, и я с сестрами готова была сидеть тут целые дни — так сильно надоели мне наши маленькие и тесные комнатки. А на берегу было так хорошо: такое теплое, яркое солнышко пригревало нас, так весело журчали ручьи, стремительными водопадами низвергаясь с гор, окружающих нас со всех сторон. Прямо за нашим домом подымалась гора и тянулась далеко, далеко вдоль Асьвы, то отодвигаясь и давая место неболь-

шой долине, то надвигаясь и острым каменным утесом врезываясь в самую воду. Напротив нас, за Асьвой, белела большая луговина, а за нею высился лесистый угор. Ниже по Асьве долина суживалась, стесненная точно набросанными в кучу громадными камнями, а над ними подымалась Крестовая гора, названная так потому, что на отвесной скале, увенчивающей ее вершину, был поставлен большой чугунный крест. Далее река круто поворачивала влево и скрывалась за горой. Стояли прелестные, теплые дни, снег таял сильно, и горы быстро обнажались. На местах, наиболее пригреваемых солнцем, начинала зеленеть травка. Асьва вдруг начала сильно прибывать, и в одно утро, вставши, я, к великому удивлению своему, увидала, что лед прошел и мутная река сердито шумела в берегах. Стремительно неслись и кружились на ней последние льдинки.

— Что это, папа, как скоро лед-то прошел, я и не видела! — говорила я с сожалением, обращаясь к вошедшему в комнату отцу. — Еще вчера ходили по льду!..

— А сегодня в лодках можно плавать. Это не то, что Кама. Помнишь, в прошлом году сколько раз ездили смотреть, не идет ли лед на Каме? Сколько дней ждали? А она нахмурилась, посинела вся, лед давно отстал от берегов, ни конному, ни пешему ходу не было, а все нейдет. А Асьва живо, лед даже и посинеть не успел. Ты неужели ничего не слыхала ночью?

— Нет. А что?

— Да треск и гром такой был, когда лед ломался, точно из пушек палили. Мы все выходили смотреть.

— Что же вы меня не разбудили? — сожалела я, выходя на берег.

И долго после жалела я об том, что не видела, как прошел лед. Вскоре после этого погода испортилась, стало холодно, пошли дожди, и мы долгое время должны были сидеть в комнатах, только изредка на часок выбегая на берег. В конце апреля начала разливаться вода и подняла давно уже готовые коломенки. Их спустили в места, удобные для грузки, и снова закипела работа, утихавшая на время, пока ждали прибыли воды. Грузиться очень спешили, так как боялись, что вода скоро спадет; поэтому отец и караванный, которым должен был быть на этот год младший управляющий Алакшинского завода, не сходили с берега, то и дело понукая ленивых и неповоротливых крестьян. В несколько дней они совсем охрипли от крика. С раннего утра и до позднего вечера слышался на берегу гул голосов, скрип тачек и стук ссыпаемой руды. Карточный стол был забыт совсем, и отец с управляющим приходили в дом только выпить и закусить. Последний пил много, но пьян не был и, напротив, после выпивки становился еще энергичнее и неутомимее. Не то было с отцом: он быстро пьянел и к концу дня бывал никуда не годен, только надоедал всем.

— Ох, Василий Степаныч, не умеешь ты пить! — с досадой говорил ему управляющий.

Но вот наступил, наконец, день отправки каравана, и старший алакшинский управляющий приехал провожать его. С ним приехала жена караванного и, кажется, еще кто-то, не помню. Отправка каравана назначена была в пять часов утра. Назначенных часов держались строго во избежание могущих произойти столкновений, если б вышло какое-нибудь промедление, так как пристаней, с которых отправлялись суда, было три: Позорихинская, где жили мы, Петровская — выше нас и Юровская — ниже. С Юровской пристани караван был отправлен накануне в полдень; с Петровской отправка была назначена в десять часов того же дня, как и от нас. Когда в шестом часу утра я вышла в нашу большую комнату, караванный, уже одетый в свой рабочий сюртук, подбитый мехом и страшно выцветший от яркого весеннего солнца, сидел за столом и основательно закусывал. Жена его укладывала ему что-то на дорогу в кожаный мешок, благодарила мать и извинялась перед ней за хлопоты и беспокойство, которые доставил ее муж, живший у нас все время грузки. Позавтракав, караванный простился с матерью, поцеловал жену и вышел на берег. Там все уже было готово: рабочие распределены по коломенкам, лоцманы на местах. С появлением караванного поднялся гул от говора заспешивших рабочих. Некоторые из них сильно трусили и прощались с оставшимися на берегу, как будто шли на смерть. Караванный весело шутил, стараясь ободрить трусивших; ему помогали лоцманы, в которые выбирались люди

бывалые, известные столько же отвагой и находчивостью, сколько знанием течения реки и местных условий. Всем им для храбрости поднесено было по стакану водки и, когда все встали на места, караванный, стоявший на скамейке, устраиваемой для лоцмана посредине судна, скомандовал:

— Молитесь богу!

И, сняв свою рыжую шапку с ушами, широко перекрестился, обратившись лицом на восток. Все последовали его примеру и минуты две молча молились.

— Ну, с богом! Отчаливай! — крикнул он, соскакивая со скамейки, на которую тотчас встал лоцман; а караванный сошел на берег и командовал, стоя на берегу. А так как его охрипший голос был плохо слышен, то его приказания повторялись мужиком, обладавшим очень здоровой глоткой. Рабочий этот, прозванный эхом караванного, повторял не только все приказания, но и все бранные слова, которыми караванный подкреплял свои приказания. Под конец он до того вошел в свою роль, что стал даже подражать движениям и манере караванного, и это очень смешило всех сторонних наблюдателей. Сами действующие, разумеется, не замечали смешной стороны: им не до того было.

Как только отвязали канат, коломенка стремительно понеслась вниз, и на ней поднялась невообразимая суматоха. Сначала, как показалось нам, все забегали, затолкались и закричали, но голос лоцмана покрыл этот нестрой-

ный гул; рабочие бросились к кормовым веслам* и принялись усиленно работать ими.

— Слушай команды! — кричал им вслед караванный. — Слушай команды! — повторял эхо-рабочий. «Анды!» — глухо вторила гора. Все примолкли и с напряженным вниманием следили за движением судна. Тотчас ниже нас находилось опасное место, а именно та куча камней, о которой я упоминала выше. В половодье эти камни заливало водой, и только кой-где торчали их острые верхушки. Если коломенку наносило на них силой течения, то она непременно почти моментально разбивалась и шла ко дну. Руда, конечно, пропадала, а рабочие подвергались большой опасности. Ухватчики — так назывались люди, обязанные подавать помощь при крушениях, — стояли около лодок, готовые перенимать утопающих. Но на этот раз коломенка слегка всколыхнулась, круто поворачиваясь, и прошла благополучно опасное место. Лоцман выстрелил из ружья, и караванный радостно ответил ему тоже ружейными выстрелами. Коломенка скрылась за горой.

Провожающие поздравили караванного с благополучным отвалом, и, разумеется, дело не обошлось без выпивки. Мать моя и жена караванного отправились пить чай, а мы оста-

---

* Кормовых весел бывает два: на носу и на корме. Они состоят из толстого бревна, в нижний конец которого вделывается гребок, а в верхний несколько ручек. Чтоб гребнуть таким веслом, берутся за него разом человек десять. Гребные же весла употребляются уже тогда, когда плывут в Каму. (*Примеч. авт.*)

лись и смотрели. Ровно через час отчалила другая коломенка; снова шум, суматоха и крики. Коломенка эта пошла сначала как-то неладно, боком. На ней поднялась страшная ругань; караванный бросился в лодку и что-то кричал, плывя вслед за коломенкой, но вот она сделала тур и еще тур и тоже миновала опасное место. Караванный воротился обратно и, выходя из лодки, громко сказал: «Слава богу!» Редкий год проходил без того, чтоб на этом месте не разбивалось несколько коломенок; но на этот раз не разбилась ни одна, и в одиннадцать часов, отправив последнюю коломенку, караванный выпил еще на прощанье, сел в косную и отплыл, салютуя свой отвал несколькими ружейными выстрелами, которые гулко повторило горное эхо. Берег опустел. Все мы отправились в комнаты и, пообедавши наскоро, снова вышли на берег. Теперь мы смотрели вверх по Асьве, ожидая появления коломенки с Петровской пристани. По расчету алакшинского управляющего, она должна была проплыть мимо нас в половине первого, если отвалит ровно в десять часов. На то, чтоб проплыть сорокаверстное расстояние, отделяющее Позориху от Петровской пристани, полагалось два с половиной часа. Управляющий держал в руках часы и поглядывал кверху. 35 минут уже, и ничего не видно, 40 минут, 45. Появилось что-то небольшое, черное. Все тщетно напрягали зрение, стараясь разглядеть, что это такое. Вслед за этим показались другие, еще более мелкие предметы. Они быстро приближались.

— Сума! — закричали рабочие, стоявшие выше на берегу. — А там рукавицы, шапки...

— Ну, значит — убилась, — проговорил управляющий, пряча часы в карман. Мы глядели на плывущие мимо суму, рукавицы и шапки и не заметили появления вверху реки нового предмета.

— А это что? Это что? — закричали на берегу. Все, кто сидел, повскакали с мест, и у всех захватило дыхание. Схватившись за часть еще державшейся вместе палубы * и кормовое весло, плыли несколько человек. На самом краю торчала женская, повязанная желтым платком голова. Одной рукой женщина держалась за бревно, в котором укреплялось кормовое весло, в другой — держала узел, приподняв его на то же бревно. Сама она была в воде по пояс. Кроме нее, тут было еще трое мужчин. Ухватчики выплыли на трех лодках, чтобы перенять потерпевших крушение, но за быстротой не могли попасть вовремя да и боялись, чтобы при столкновении не опрокинулась лодка. Обломок проплыл мимо нас и, показав по очереди искаженные ужасом лица утопающих, устремился прямо на камни. Лодки плыли вслед за ним, тщетно кидая веревки утопающим. Вдруг лодки быстро отвернули в сторону, выдергивая обратно веревки, за которые никто не успел ухватиться.

---

* Палуба устраивается в виде плота, ничем не прикрепляется к судну, и когда оно разобьется, то палуба снимается водой и плывет одна, пока не развалится. (*Примеч. авт.*)

— Крепче держитесь! Крепче! — закричали с лодки утопающим. — Сейчас вас стукнет о камни. Баба! Бросай узел, держись обеими руками!

Баба выпустила узел и обняла бревно с силой отчаяния. Узел поплыл один, минуя камни и постепенно погружаясь. Раздался треск стукнувшейся о камни палубы. Некоторые доски вынырнули торчмя из воды и быстро поплыли далее. Люди исчезли под водой все, кроме бабы, которая плыла с бревном прочь от камней, оттолкнутая силой удара. Ее первую переняли в лодку. Переняли и еще двух, вынырнувших из воды вместе с досками, а третий, видно, убился и утонул. Его уж и не искали, а везли на берег тех, которых удалось спасти. Все они страшно перекрепли и не могли сказать ни слова. Их унесли в казармы и велели им дать водки. С нетерпением и страхом ждали мы следующей коломенки. В половине второго она появилась и быстро проплыла мимо нас, благополучно обогнув опасное место. Лоцман махал шапкой в знак приветствия и что-то кричал. В ответ ему тоже кричали что-то и махали шапками. Ровно через час появились коломенки одна за другой, и благополучно проплыли все. Вслед за последней коломенкой, в половине восьмого, плыла лодка караванного. С нее сначала раздалось несколько выстрелов, а затем, когда она поравнялась с нами, караванный, высокий черноволосый мужчина в дубленом полушубке, сделав рупор из рук, прокричал хриплым голосом, докладывая алакшинскому управляющему:

— Благодарение господу, утонула всего одна коломенка!

— А людей сколько? — спрашивал управляющий, также сделав рупор из рук.

— Не считал, — раздалось в ответ.

Опять замахали шапками, раздалось еще несколько выстрелов, и последняя лодка скрылась из глаз.

— Ну, не хвастайся очень, впереди-то еще много опасных мест, — проворчал управляющий, направляясь к дому. И все пошли за ним, проведя на берегу целый день, с семи часов утра и до восьми вечера. Усталая, голодная, назябшаяся, пришла я в кухню попросить есть.

Там сидела спасенная женщина, грустно понурив голову.

— Ты что так закручинилась? — обратилась к ней мать, хлопотавшая около печки в кухне. — Хозяин, что ли, твой утонул-то?

— Нет, моего хозяина вытащили, — отвечала она, не поднимая головы.

— Так что же ты? Узла, что ли, жалко?

— Жалко, страсти как жалко! — проговорила женщина, и по ее бледному, худому лицу быстро заструились слезы.

— Да что у тебя такое было в узле? — спросила удивленная мать. — Переменка белья да разве еще хлеба сколько-нибудь. Так чего же об этом плакать. Слава богу, что сама-то жива осталась.

— Нету, родная, не хлеб в узле-то, — ответила женщина, — робеночек был у меня туто, всего двухнедельный еще...

И она закрыла лицо передником и заплакала навзрыд.

— Так зачем же ты его выпустила из рук-то? — сказала мать, растерявшаяся от этого неожиданного объяснения.

— Да закричали: бросай узел, держись крепче, ну, я выпустила из рук, — сквозь слезы рассказывала женщина. — А он еще долго плыл; я, как уж в лодке была, так все видела, как он плыл.

— Что же ты ничего не говорила мужикам? Может быть, и поймали бы.

— Да язык отнялся: видеть-то вижу, а говорить не могу; зуб на зуб не попадал, так меня трясло.

— С перепугу, — заметила мать. — А как ты попала туда?

— На пристань-то? Да в стряпках я там была у мужиков. Там и робеночек у меня и родился. Оставаться-то там нельзя мне, домой надо попадать: весна теперь, работа. Я и вздумала: сплыву, мол, на караване. Да вот и утопила робеночка!

И она опять заплакала.

— Бедная ты! — пожалела ее мать. — А еще есть у тебя дети?

— Нету, не живут. Четверо было, да умирают все. Думала, этот жить будет: такой здоровенький родился да спокойный такой был. Ну что ты пособишь? Опять вот что случилось!

Так-то невесело кончился день отвала каравана — день, которого мы ожидали, как большого праздника.

IV. СТРАДА

В последних числах июня отец получил приказ ехать страдовать. Это значило, что он должен был отправиться на Юровскую пристань и там наблюдать за рабочими, которых вышлют из Алакшинского завода. Я, разумеется, стала проситься с отцом. Я страшно наскучалась за зиму, и всякая поездка куда бы то ни было казалась мне величайшим счастьем. Мать отпустила меня неохотно, и, конечно, если б она знала, что такое страда на асьвинских лугах, то и совсем бы не отпустила. Мы выехали с отцом в восемь часов утра, но так как ехали на одной только лошади и дорога была очень дурная, то приехали на Юровскую пристань почти уж вечером. Мы были очень утомлены и дорогой и жаром июньского дня, и, когда наша усталая лошадка, спустившись в ложбину, поворотила из-за горы на берег Асьвы, повеявшей на нас отрадной прохладой и свежестью, мы очень обрадовались. Гора, из-за которой мы выехали, спускалась к Асьве двумя неширокими уступами. На нижнем ее уступе приютился деревянный двухэтажный домик смотрителя. Узенькая лесенка, приделанная к лицевой стороне дома, обращенной к Асьве, вела во второй этаж, на широкое крыльцо с навесом вроде балкона, висевшее почти над самой водой. Мы оставили лошадь во дворе, находящемся повыше на берегу, пешком дошли до дома и тихонько, никем не замеченные, взобрались на крыльцо. Лестница была крутая и высокая, ступеней в

тридцать, и отец, взойдя, поспешил сесть и отереть свой вспотевший лоб.

— Посмотри-ка, места здесь какие! — сказал он, окидывая глазами открывавшуюся перед нами местность. Я взглянула сначала вниз, на протекавшую под нами Асьву, на широкие луговины, залегшие по обоим берегам ее, уходившие далеко кверху по ее течению и покрытые густой, богатой растительностью. Прямо перед нами была прогалина: лесистые угоры как будто расступались в этом месте, и начинавшее понижаться солнце било из этой прогалины прямо в глаза. Я отвернулась и стала смотреть вниз по течению Асьвы. Небольшая ложбина, из которой мы выехали на берег Асьвы, загораживалась высоким утесом, острым каменистым углом, врезывавшимся прямо в воду. Асьва скрывалась за этой горой, делая поворот. На широкой луговине на правом берегу Асьвы одиноко белел высокий белый камень, имеющий вид исполинской колонны. За ним начинались небольшие лесистые угоры, постепенно переходящие в целую гряду высоких каменистых отрогов.

— Все то же, что и у нас, — сказала я, оглядевшись, — кругом горы.

— А вы вот завтра сходите на эту гору, вот что за домом-то, так с нее богатый вид будет; очень далеко видать, — сказал сзади меня чей-то мужской голос. Я оглянулась: то был петровский смотритель, здоровавшийся с отцом. Он пригласил нас в комнаты, и мы вошли.

Там мы застали довольно странную сцену: алакшинский смотритель-управляющий, тот самый, что сплавлял караван, порядочно навеселе, сидел у окна, на котором стояла бутылка с водой, а на столе другая — с водкой и возле нее рюмка. Перед ним в почтительной позе стоял высокий, сутулый рабочий в нанковом кафтанчике и усмехаясь теребил свою небольшую темную бородку. Плутоватые карие глаза то бегали по сторонам, то в упор глядели на управляющего и снова скользили в сторону.

— А! Здравствуй, Василий Степаныч! — проговорил управляющий, протягивая руку вошедшему отцу. — А я со вчерашнего дня здесь, с утра. Их там леший, что ли, задавил?

— Кого это? — спросил отец, не понимая вопроса.

— Да Кириллова с рабочими. Никого ведь, кроме этой дубины, нету здесь, — сказал управляющий, ткнув пальцем в сторону рабочего, отошедшего при нашем появлении к дверям. — Да и он-то потому здесь, что водкой пахнет. Знаешь, чем я тут с утра занимаюсь?

— Нет, не знаю. Может, рыбачили, — сказал отец, подсаживаясь к управляющему и вытаскивая свой кисет и трубку.

— Гм, рыбачили... — промычал управляющий. — Вот явилась эта дубина да и говорит мне: «С началом сенокоса!» А у меня тут на столе бутылка с водой стояла. Ну, говорю, выпей рюмку водки. Наливай, говорю, сам. Вот он и хлопнул. Что, каково? — спрашиваю. Ничего, говорит, кабы другую, да не такую.

Ну, погоди, говорю, подам и не такую, а ты вот эту посудину прежде опростай. Он, каналья, через горлышко было принялся! Нет, говорю, пей по рюмочке. Да так вот с утра-то восьмую бутылку воды этой он и тянет. А выпьет бутылку воды, тогда я ему рюмку водки на закуску...

Управляющий расхохотался, хохотал смотритель, рассмеялся и отец.

— Что же? От скуки — и то занятие, — проговорил он.

Для того, чтобы трава была скошена, высушена и сметана в стоги, управляющим и смотрителям, разумеется, не было надобности приезжать, так как из среды рабочих же выбирались нарядники, которым и поручалось непосредственное наблюдение за уборкой сена; но они все-таки приезжали и приказывали смотрителям приезжать, чтоб покутить вместе. Водка отпускалась на угощение рабочим заводовладельцем довольно щедро, но собственно рабочим водки этой попадало очень немного: угощались только те, к кому начальство особенно благоволило, и те, которые сами назойливо выпрашивали, потешая начальство услугами, шутками и чем только могли. Часов с десяти утра начиналась выпивка и карты. Затем следовал обед и послеобеденный сон. Затем чаепитие, снова выпивка и карты, вечером устраивалась рыбная ловля. Так проходило иногда с неделю времени и дней пять, если погода благоприятствовала.

Вскоре после нашего приезда пришли рабочие, но еще не все: остальные пришли только

на другой день поутру. Когда часов в восемь утра я вышла на крыльцо, трава на ближайших луговинах была уже подкошена, и везде, куда мог достичь глаз, виднелись головы рабочих или их согнутые спины и поблескивали на солнце косы. Долог и скучен показался мне этот день, потому что я не знала, чем его наполнить. Ягод, собирать которые я любила, поблизости не было никаких, и, побродив некоторое время по ближайшим склонам гор, я воротилась в комнаты, занимаемые семейством смотрителя, и принялась возиться с его двухлетним сынишкой. К вечеру приехали еще гости: брат жены смотрителя, фельдшер и его сестра, молоденькая девушка. Она очень понравилась мне. Мы просидели с нею на крыльце весь вечер, разговаривая, и условились ехать вместе в Алакшинский завод на следующее же утро.

— Оттуда я как-нибудь попаду домой, — говорила я ей, — а то ждать здесь, когда отец поедет, не хочется.

— Что же ждать-то? Соскучитесь одни. Здесь только и удовольствия, что песен наслушаемся вволю, — сказала моя новая знакомая.

И действительно, в этот вечер мы наслушались песен вдоволь. Рабочие разложили костры по берегам Асьвы и, расположившись группами, пели почти не умолкая. Невозмутимая тишина благодатной, теплой, напоенной ароматом скошенного сена ночи, ясное звездное небо с подымавшимся из-за горы месяцем, узенькой полоской отражавшееся в спокой-

ной, тихо журчащей Асьве, располагали к мечтательности и к безмолвному созерцанию. Мы притихли и, усевшись на ступени крыльца, слушали молча.

— Кто это поет там, с этой стороны? — спросил за нами чей-то хриплый голос. Мы оглянулись. Вверху лестницы, держась за перила, стоял управляющий и мутными, посоловелыми от двухдневного пьянства глазами глядел на нас, указывая одной рукой куда-то в пространство.

— Мы не знаем, — ответила моя собеседница.

— Эй, сюда! Кто-нибудь! Сюда! — крикнул управляющий.

Шедший по берегу рабочий, до которого долетел этот возглас, сейчас же подбежал к крыльцу и почтительно снял фуражку.

— Кто там поет? — спросил у него управляющий, показывая рукой за дом.

— Не могу знать-с; наши все здесь, — ответил рабочий, показывая рукой на ближайшую к дому группу. Управляющий с минуту молчал, прислушиваясь.

— Чудесно поют, — сказал он наконец каким-то умиленным тоном. — Ишь, подлецы, как заливаются! — И, махнув рукой, управляющий добавил, уходя: — Снеси им штоф водки туда.

Рабочий последовал за ним и через несколько времени со штофом за пазухой почти бегом бежал по узенькой тропинке, огибающей возле самой воды утес, отыскивать прельстивших управляющего певцов. Но через полчаса он

вернулся с вытянутым и недовольным лицом; штоф с водкой был у него цел. Мы в это время только что сели за ужин, накрытый на крыльце.

— Там никого нету-с, — доложил рабочий, всходя на крыльцо и останавливаясь перед управляющим. Тот не сейчас вспомнил, куда посылал рабочего, но, увидев штоф с водкой, который рабочий вытащил из-за пазухи, вспомнил.

— Как никого нет! Кто ж поет?

— Да никто не поет. Я как забежал за гору, так ничего и не стало слышно. Я думал — замолчали, давай кричать: «Эй, ребята, сюда! Сюда, на берег!..» Никто не отзывается. Я еще побежал вперед, еще покричал. Все-таки ничего не слышно, я и вернулся.

Управляющий поднялся из-за стола и слушал.

— Да вот ведь ты слышишь: опять поют? Слышите все?

Все встали из-за стола и начали слушать. Действительно, за горой пели любимую песню алакшинских рабочих, и пели великолепно. «Ах вы ночи ли, ночи темные» — слышалось из-за горы.

— Ну вот, ведь слышишь? — повторил управляющий, обращаясь к рабочему.

— Слышу-с, — ответил рабочий, прислушиваясь и в то же время поглядывая на ближайшую артель сидевших около костра рабочих. Они сидели как раз против утеса и тоже пели «Ночки».

— Да это они поют, а там только отдается-с, — сказал он наконец как-то нерешительно, точно боясь, что на него рассердятся. Снова все начали слушать. Рабочие вдруг смолкли; гора, отчетливо повторив последние слова песни, постепенно замолкла, и только звучный гул колебал свежий ночной воздух.

Все громко расхохотались, когда поняли ошибку.

— Что же ты давеча не сказал? — обратился управляющий к рабочему.

— Да я давеча и сам не мог разобрать, где поют, — сказал рабочий, все еще державший штоф в руках.

— Ну, так снеси этот штоф в свою артель, — сказал управляющий, и рабочий убежал с просиявшим лицом. Долго еще смеялись над ошибкой; а рабочие, получившие штоф водки, закричали «ура!», и гора повторила это «ура» и с прежней отчетливостью стала повторять разудалую «Молодку», сменившую заунывные «Ноченьки». После ужина все, кто еще мог держаться на ногах, сошли на берег подышать чистым воздухом, полюбоваться на светлую Асьву, отражавшую утесистые берега и узенькую полоску далекого звездного неба. Все мы, кроме отца, заснувшего за столом, тихо подвигались по берегу к ярко пылавшему костру. Я оглянулась на дом, оставшийся позади нас, и на беловатую каменную гору за домом, облитую бледным светом взошедшего месяца, и увидала, что по крутой тропинке, где я с трудом могла пройти днем, быстро спускалась какая-то высокая

сгорбленная фигура с палкой в руках. Я указала на эту фигуру другим.

— Еще кого-то бог дает из завода, — сказал петровский смотритель. В это время мы подошли к костру со стороны Асьвы и остановились, и почти одновременно с нами высокая фигура тоже подошла к костру со стороны горы, и его яркое пламя осветило атлетически сложенного темноволосого мужика с страшно бледным лицом и унылым, потухшим взглядом больших карих глаз. Его сильная, мускулистая рука сжимала толстую суковатую палку. Он молча поклонился, подойдя к костру, и с минуту молчал, тяжело дыша. Это был лесник, или, по местному названию, старожил, с Переломной Горы, верстах в пяти от Петровской пристани. Кто-то из рабочих обратился к нему с вопросом, не помню, каким, но помню его ответ, поразивший всех и разом заставивший примолкнуть и песни и говор.

— Собака бешеная меня йскусала третьего дня. Ни пить, ни есть не могу, тоска напала страшная, места себе изобрать не знаю. Услыхал, что сюда приехал фельдшер, и пришел — не свезет ли меня в больницу, — говорил лесник несколько хриплым голосом. Сказав это, он обвел всех грустными, вдруг вспыхнувшими лихорадочным блеском глазами и, задрожав всем телом, опустил их в землю и поник головой, крепко опершись на глубоко вдавившуюся в землю палку. Все его красивое бледное лицо исказилось от нестерпимого страдания.

— Да думал — так пройдет. Ведь я сам

прижег раны-то каленым железом; думал — пройдет, — сказал он, не подымая головы.

— Ах ты, бедняга, бедняга! — говорили рабочие, обступая его.

— Однако, братцы, вы бы от меня подальше, — сказал лесник, вдруг подняв голову и снова оглядывая всех. — Больно мне тяжело. Связали бы вы меня, братцы; нет ли вожжей крепких? У меня ведь силища-то страшенная, один на медведя хаживал.

И, снова вздрогнув всем телом, он переломил свою толстую палку, как тоненькую тросточку. Треск переломившегося дерева, казалось, еще более усилил его страдания, и, щелкая зубами, он закрыл глаза и протянул руки.

— Вяжите, вяжите! — бормотал он. — Вяжите хоть кушаком.

— Что ж тотчас не шел в больницу? — спросил его кто-то, когда прошел первый момент горестного удивления.

Действительно, кто-то из рабочих загнул ему руки назад и связал их кушаком, пока другие бегали за вожжами. Принесли вожжи и вскоре подали лошадь фельдшера. Связанного по рукам и по ногам лесника усадили в тележку: двое рабочих сели по сторонам его, а сам фельдшер на козлы, и они поехали по алакшинской дороге. Мы с сестрой фельдшера должны были остаться ночевать.

Замолкли песни, и только боязливый, полный глубокого сожаления и участия говор долго еще слышался у костров.

После мы узнали, что лесник умер через несколько дней в страшных мучениях.

V. ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ

Помнится, это было в конце лета или уже в начале осени, к нам поступила новая кухарка. Это была высокая и плотная женщина с длинным, некрасивым лицом и грубым, почти мужским голосом; звали ее Ульяной. Она понравилась моей матери опрятностью и уменьем ходить за коровами. Она жила у нас уже неделю, как к нам приехал управляющий из Алакшинского завода. Между прочим, он спросил об Ульяне и, узнав, что она живет у нас, велел позвать ее в комнаты.

— Ульяна, тебя Андрей Алексеич зовет! — прибежала я в кухню.

— Чего ему? Не иду я, — грубо отрезала она, не трогаясь с места.

— Как не пойдешь, зовет ведь! Чего ж ты? Иди.

— Сказала, не пойду. Так и ему скажи: не пойдет, мол.

Она села за прялку и так усердно начала прясть, что только веретено прыгало и жужжало. Ее и без того неприветливое лицо стало еще суровее; широкие русые брови насупились, губы сжались. Я постояла перед ней с минуту, удивленная и недоумевающая, и пошла в комнаты.

Управляющий рассмеялся, когда я передала ему ответ Ульяны, и пошел сам в кухню. За ним шла мать и говорила, что ей очень жаль будет лишиться Ульяны, что она такая работящая и опрятная. Из этого я заключила, что управляющий хочет увезти Ульяну.

— Ты опять ушла от мужа? — обратился Андрей Алексеич к Ульяне, которая и не подумала встать и оставить свою работу при его входе. Она молчала и не глядела на него.

— Идол ты эдакой! Ведь я тебя веревками велю связать да увезти к нему.

Ульяна все молчала и пряла.

— Черт, не баба! — вскричал управляющий и, выхватив веретено из рук Ульяны, забросил его на полати.

Ульяна быстро встала и, держась одной рукой за прялку, начала говорить спокойно и самоуверенно:

— Я тебе сказала, Андрей Алексеич, что не стану с им жить — и не стану, хошь что делай. Увезете вы меня, а я опять уйду. Я у отца и матери жила в достатке, а он меня содержит в бедности, силы у его нет, хорошую работу робить не может, живет в караулах, а в его ли года жить в караулах. Коровы купить не может... Я, поколь в силах, хошь сама что ни на есть зароблю. Здесь я живу в тепле, и сыта, и жалованье получаю, а с им что я выживу?

— Да ведь он муж тебе, пойми ты, отпетая! — горячился Андрей Алексеич.

— Что — что муж? Наплевала бы я на его.

— Так не пойдет ли он к нам жить? — спросила мать, которой очень не хотелось отпустить Ульяну. — Вот вместо Фадея и пусть живет.

— Хорошо, я пошлю его сюда.

— Ладно, пусть придет, я его выутюжу, — сказала Ульяна сквозь зубы, когда управляю-

щий и мать выходили из кухни, и в тоне ее голоса слышалось столько гнева и презрения, что я так и порешила, что при встрече не обойдется без драки, и уж заранее представляла себе, как она будет утюжить своего супруга, боясь только одного — как бы не прозевать этой интересной сцены.

Весь другой день я поджидала мужа Ульяны и все-таки не видала, как он пришел. Он пришел рано утром, дня через два после того, как был у нас управляющий, и, когда я встала и вышла из комнаты, он уже вступил в отправление своих обязанностей и смазывал тележку в ограде. Я спустилась с крыльца и подошла к нему. Это был невысокий, с узенькими плечами и впалой грудью мужик. Худое, испещренное рябинами лицо с жиденькой желтоватой бородкой и такими же волосами уныло выглядывало из-под неуклюжей войлочной шапки. Его серовато-голубые глаза на несколько мгновений остановились на мне и потом скользнули в сторону с выражением какой-то тоскливой тревоги. Эта тоскливая тревога проглядывала у него всегда и во всем. Ульяна держала себя первое время в отношении его очень сдержанно и почти постоянно молчала. Зато Данила (так звали ее мужа) неутомимо заговаривал с нею, и хотя его часто обрывали с выражением самого глубочайшего презрения, он только испуганно моргал глазами и умолкал, но ненадолго. С нами он иногда разговаривал в отсутствие Ульяны, но при ней его разговоры всегда прерывались

какими-нибудь крайне грубыми и насмешливыми замечаниями с ее стороны.

Так, когда-то он рассказал нам, что родом он из-под Кумора, из крестьян, что отец Ульяны взял его в дом и велел ему переписаться в мастеровые, но после на другую дочь взял другого зятя, а его не залюбил и выгнал из дому, что с тех пор и жена его не стала любить.

— А прежде любила? — спросила я.

— Да хошь не любила, а все же получше была. А теперь ведь она меня готова со свету сжить. Я этто в карауле собачку себе завел небольшую. Шариком звали, — так она и ее заненавидела. Бросила однова в ее камнем да в самую спину изгадала, та тут и присела; покорчилась маленько, да и поколела.

— Тебе жалко было?

— Жалко. Такая ласковая была собачонка! Пса, бает, выдумал заводить, а ты, бает, завел бы корову. А собака — что же? Ведь тоже животная. В глаза тебе глядит, точно молвить хочет, — говорил Данило. — Просился нынешним летом опять в крестьяне, да она не захотела: не пойду, бает, и не думай, в крестьянки. Да и управляющий не согласился: где, бает, тебе крестьянскую работу править: вишь, ты какой лядащий. И почто он меня так обозвал, не знаю!

Данило вздохнул и задумался.

Вскоре после этого разговора, в ненастное сентябрьское утро, когда мы сидели вокруг стола, с верховьев Асьвы приплыла лодка и в ней несколько мужчин и женщина с вcase-

ными путами на руках и ногах. Женщина эта убила свекра, и ее везли в Алакшинский завод для отправки в уездный острог и предания суду. Когда нам сказали, что привезли убийцу и что она сидит на кухне, мы все пошли посмотреть на нее. Мать ожидала увидеть нечто ужасное и очень удивилась, увидавши полненькую, небольшого роста бабеночку лет двадцати пяти, с быстрыми карими глазами и маленьким вздернутым носом. Ее верхняя губа тоже слегка вздергивалась кверху и даже не прикрывала зубов, белых и мелких, как у кошки. При нашем входе она с минуту молча глядела на мать и потом вдруг обратилась к ней с просьбой:

— Будь мать родная, возьми моего-то ребенка в дочери. Ведь он ни в чем не повинен: за что ему страждать?

— Да где он у тебя? — спросила мать.

— А вот туто на лавке спит.

Мать заглянула под брошенную на лавке шубу, где спала укрытая совсем с головой девочка лет двух, и, вздохнув, сказала:

— Не надо мне, у меня своих много.

Потом она что-то стала расспрашивать у женщины, а нас выслала из кухни.

Шел сильный дождь весь день, и мужики выпросили у отца позволение провести у нас день и ночевать. Они и так все перемокли и перезябли дорогой, и им хотелось немножко отдохнуть и обсушиться. Нас не пускали в кухню весь день.

— Что, девочка проснулась? — спросила мать, когда Ульяна подала нам обед. Она на-

брала ей стареньких рубашек моей сестры и хотела переодеть ее.

— Давно не спит. Дурак-от у меня ее с рук не спускает, — сердито сказала Ульяна, уходя.

— Пусть ее сюда принесут, — крикнула ей вслед мать. Вошел Данило с девочкой на руках. Ее голова была повязана какой-то синей тряпкой; синяя же холщовая рубашка одевала ее миниатюрную фигурку. Крохотные покрасневшие ножки были босы. Девочка держала палец во рту и глядела вокруг себя широко раскрытыми, удивленными глазами василькового цвета. Данило поставил ее на пол и велел идти к барыне. И она пошла, слегка переваливаясь и нисколько не робея. Мать сняла с ее головы синюю тряпицу, и густые волосы льняного цвета, шелковистые и мягкие, как лен, волнистыми прядями обрамили ее хорошенькое личико. Мы усадили ее на стул и принялись угощать чем могли. Она быстро развеселилась, трогала все на столе своими маленькими ручонками, лепетала что-то и стучала ложкой по столу. Из ее лепета мы поняли только, что она все хвалила.

— Ай, баско, ай, баско! — говорила она, притрагиваясь то к тарелке на столе, то к яркому платку на шее матери, то стукая по столу серебряной ложкой. Тарелки она называла ставцами. Она говорила довольно чисто, только на местном наречии, и мы плохо понимали ее. Данило стоял у двери и переводил нам то, чего мы не понимали. После обеда мать переодела девочку в рубашку и платье

сестры, а снятую рубашку велела вымыть, и голые ножки обула в шерстяные чулочки и старенькие башмаки. Девочка гладила на себе платье рукой, гладила чулки и башмаки и долго не решалась в них ходить. Но, наконец, пошла робкими, неловкими шагами, высоко подымая ноги. Я подошла к Даниле, все еще стоявшему у дверей, и спросила:

— А что, ведь хорошенькая девочка?

Данило не ответил. Я взглянула на него: в глазах у него стояли слезы, и все лицо как-то странно изменилось. И умиление, и жалость, и глубокая нежность сквозили во всех чертах его лица, в нервно подергивавшихся губах, в глазах, устремленных на ребенка.

— Что это ты, Данило? — спросила я удивившись.

— Да ничего, — с усилием выговорил он, моргнув глазами. Две крупные слезы скользнули с ресниц и упали на рукав его полушубка.

— Пойдем, голубушка, я унесу тебя к мамке, — проговорил Данило, подходя к девочке и подымая ее на руки. Мы запросили было, чтоб он оставил девочку с нами, но, под предлогом, что ребенок своим шумом помешает матери уснуть после обеда, унес девочку в кухню. Когда мать уснула, я пробралась в кухню, чтоб еще раз посмотреть на убийцу и на ее хорошенькую девочку. Данило сидел у стола, держа девочку на коленях, и забавлял ее старыми разрозненными картинками, которые были выметены с сором из комнаты. Мать девочки спала на лавке, закрывшись шубой;

на полатях спали привезшие ее мужики. Ульяна мыла посуду, сердито постукивая тарелками.

— Ступай, дай сена коровам! — крикнула она, не оглядываясь и не называя мужа.

Но Данило не двигался с места: он, кажется, даже не слыхал этого приказания.

— Тебе говорят! — повторила Ульяна, полуоборотившись и искоса взглянув на мужа, раскладывавшего на столе карты. Опять Данило не обратил на нее никакого внимания.

— Пойдешь ты али нет? — закричала, наконец, Ульяна, подходя к столу.

Данило слегка вздрогнул и поднял голову.

— Не пойду, — сказал он тем же покорным тоном, каким отвечал «сейчас», только смысл слов был другой. — Ступай сама.

Ульяна даже руками хлопнула от удивления и ушла из кухни исполнять работу мужа, должно быть, первый раз в жизни. Я тоже скоро ушла и даже не видала более хорошенькой девочки. Ее увезли вместе с матерью на другой день рано утром. После уже узнали мы о сцене, разыгравшейся между Ульяной и ее мужем в ночь, которую убийца провела у нас. Разбудив ночью жену, Данило принялся уговаривать ее взять в дочери ребенка убийцы с неожиданными для него настойчивостью и энергией. Он убеждал ее всячески, умоляя со слезами, но Ульяна и слышать не хотела. Тогда Данило сказал, что он сам возьмет девочку, возьмет — да и только, не поглядит на нее, свою всегдашнюю супротивницу.

— Только смей, придурай ты этакой! Я и тебя и ее зашибу, как собаку! — сказала ему на это Ульяна.

— Ее зашибешь? Ребенка-то? — ужаснулся Данило.

Мать девочки проснулась и, вслушиваясь в спор, разом прекратила его:

— Не отдам я вам ребенка, хоша бы вы и оба согласны были, — сказала она. — Вы бедные, сами ничего не имеете — где вам ребенка содержать! Мне охота отдать ее в хорошие люди, чтобы она нужды не знала.

Тщетно умолял Данило обеих женщин: ни одна не согласилась. Крестьянка, впрочем, может быть, и согласилась бы, но жена Данилы слышать ничего не хотела. Дня два после этого Данило ходил как в воду опущенный; он вдруг как-то похудел и осунулся, тревожное выражение глаз сменилось каким-то тупым унынием. Он почти ничего не говорил с женой или сидел неподвижно в углу, облокотившись руками на колени, или копался где-нибудь во дворе. Двое из троих мужиков, сопровождавших преступницу, возвратились через два дня и сказали, что ее в сопровождении третьего из них отправили к исправнику, что девочку в заводе не взял никто, и она увезла ее с собой. После уже, зимой, мы узнали, что девочку взял знакомый отцу и матери бездетный сельский приказчик. Он был человек зажиточный, и с этой стороны желание бедной крестьянки исполнилось. Мужики ночевали у нас и на другой день отправились домой. Путь предстоял им трудный: подни-

маться вверх по Асьве в лодке не было никакой возможности, с дождей она прибыла сильно, местами даже выступила из берегов; поэтому они отправились пешком глухими лесными тропинками, идущими к верховьям Асьвы вдоль горных кряжей. Сообщение на лошадях с верховьями Асьвы возможно бывает только зимой. Они уложили по полпуду хлеба в свои кожаные сумы, туда же запрятали соль и порох, которыми запаслись в Алакшинском заводе, и очень благодарили мать за коробку спичек, которую она дала им на дорогу, предварительно уложив ее в жестяную коробку. Один из них еще не видал спичек, хотя и слыхал об них, и очень удивлялся, когда чиркнутая о стену спичка загоралась. Другой уже видал и даже искал их купить в Алакшинском заводе, но не нашел. Спички только около того времени начали входить у нас в употребление. Оба мужика были высокие, широкоплечие, с умными, энергичными лицами, с красивыми темно-русыми волосами. У обоих было по кремневому ружью за плечами, по ножу за голенищами бахил* и по топору за кушаком. Оба промышляли звероловством и охотой и, переплыв против нас Асьву на лодке, спокойно и смело углубились в лес, где в течение двухсуточного пути им не предстояло встречать жилья человеческого. Проводив глазами их узковерхие шапки из олень-

* Бахилы — род сапог, голенища которых привязывают крест-накрест ремешками от щиколотки и до колена; подошва широкая, без каблука, носок тупой. *Примеч. авт.*)

ей кожи, долго мелькавшие между обнаженными от листьев кустарниками, мы с отцом вернулись в комнаты. Отцу хотелось в тот день ехать в Алакшинский завод на именины к управляющему, но мать не соглашалась. Дорога после дождя испортилась, а лошадь у нас хромала уже другую неделю, и ехать на ней было почти невозможно. Но, раздумавши ехать в Алакшинский завод, отец решился поздравить управляющего письмом и, написав его, послал с ним Данилу. Мать тоже дала ему какие-то поручения и наказала не возвращаться домой, а отправиться в обратный путь утром другого дня. Данило сунул письмо за пазуху, молча выслушал приказание матери и, привесив за плечи четвертной бочонок в холщовом мешке, предназначавшийся для водки, ушел из дому часов в десять утра. В костюме своем он не изменил ничего, а как ходил дома в потасканном синем бешмете и войлочной шапке, так и ушел. Тщетно мы ждали его на другой и на третий день — Данило не возвращался.

Прождав два дня, отец поехал сам в Алакшинский завод узнавать, что сталось с Данилой, и возвратился на другой день на здоровой лошади, которую ему дали с алакшинской конюшни вместо нашей больной, и с другим кучером. Данило не приходил в завод, никто не видал его там. Управляющий обещался послать его поискать, хотя и не было возможности предположить, что он заблудился, так как дорога от нас до Алакшинского завода была широкая и незачем было Даниле захо-

дить в лес. Несмотря на ненастье, дорогу и ее окраины обыскали, заглядывали в канавы и ямы, смотрели под мостиками, в рвах и болотинах, и нигде ничего, даже следа никакого не нашли. Так и пропал Данило. Много раз в долгие осенние вечера, прислушиваясь к шуму ветра и завыванию волков, которых в эту осень было как-то особенно много, мы говорили о том, куда бы это мог пропасть Данило, и делали различные предположения. Сестры говорили, что его волки съели, я — что убили разбойники, мать — что он ушел в свою родную деревню или куда-нибудь странствовать; но отец возражал нам, что волки днем на людей не нападают, разбойников в лесах у нас нет, а в свою деревню Даниле идти незачем. Однако ж в место родины Данилы написали и спрашивали о нем, объявили и по всем другим селам и заводам, и все-таки не узнали ничего. Никто ничего не слыхал о Даниле, не видал ни его, ни вещей, которые на нем были. На том и порешили, что он пропал без вести.

VI

Прошла зима, и снова наступила весна. Полтора года уже прожили мы на Позорихе, а положение наших дел нисколько не изменилось. Зимой мать ездила в Кушгорт просить главноуправляющего о перемещении отца в какое-нибудь другое место, и он обещал. Однако ж ожидаемого распоряжения по этой просьбе не получалось ни зимой, ни весной.

— Забыли нас здесь, — тоскливо говорила мать. — Знать, тут мы и останемся навек, в этой трущобе.

— Что ж, и в трущобах люди живут, — с досадой возражал отец, которого сердило постоянное недовольство матери.

Он скучал сильно и сам, но не жаловался и даже как будто не желал перемены. Однако ж мать ездила в Кушгорт с просьбой с его согласия. Во время ее отсутствия отец выписал две газеты: «Сын отечества» и «Московские ведомости» — и зачитывался ими. Так как время было военное (это было в Севастопольскую войну), то газеты имели особенный интерес. Только и было разговоров и толков, что о войне и о политике. У отца и алакшинского управляющего споры по поводу политических соображений доходили до ссор. Часто даже карты забывались для этих споров. Взамен газет, выписываемых отцом, мы получали из Алакшинского завода «Собрание романов» и «Русский вестник», и я зачитывалась до одурения. Мать, хотя и любила иногда послушать мое чтение, все-таки была очень недовольна, что я для книжки готова все забыть. Чтоб отвлечь меня от этого и поучить чему-нибудь путному, она великим постом свезла меня в завод к молоденькой вдове-управительше, поселившейся там зимой. И я в течение двух с половиной месяцев изучала искусство шить по канве, гладью, строчить строчки и плести кружево. Нас училось у управительши пять девочек, и по вечерам мы танцевали под звуки старого органа, до того испорченно-

го, что по временам он только хрипло вздыхал и шипел, точно тяготился своим положением. Всякий раз это хрипенье и вздохи вызывали в нас припадки неудержимой веселости. Жизнь эта до того понравилась мне, что когда в половине июня мне пришлось вернуться домой, я была очень огорчена. А уехать понадобилось потому, что управительшу стал сватать какой-то жених, и она уехала в Кушгорт, чтобы там сыграть свадьбу, и ее маленькая школа рукоделья и танцеванья закрылась. По приезде домой я сначала сидела за пяльцами по целым дням, показывая матери приобретенные мной познания. Не оставляла также упражняться и в танцах, что делалось всегда во время послеобеденного отдыха. Я становилась перед зеркалом в позицию, приседала, кланялась, танцевала вальс без кавалера и музыки и учила сестер фигурам кадрили. Но вскоре все это надоело мне, и я снова принялась за чтение романов, а чтоб мать не бранила меня и не отнимала книжку, я уходила с нею в лес, будто искать землянику, и, севши где-нибудь под елкой, погружалась в мир большей частью нелепых вымыслов. Раз, лежа в лесу, я до того была погружена в чтение какого-то романа, что не приметила набежавшей тучки, и только сильно зашумевший лес от поднявшегося ветра заставил меня оглядеться. С минуту я глядела на небо, следя за быстро гонимыми ветром облаками, клубившимися, как дым. Прямо передо мной стояла уродливая, с отломленной вершиной и потому необычайно разросшаяся

в ширину ель гигантских размеров. Ветер сердито трепал ее мохнатые ветви, схватывая их разом и заворачивая в одну сторону. Мне нравилось это; я несколько раз взглядывала на нее, подбирая листки своей растрепавшейся книжки, и мне казалось, что между ветвями качаются какие-то старые, порыжелые бахилы. Ветер утихал, и бахилы скрывались за ветвями, принимавшими свое нормальное положение; поднимался он снова, и опять бахилы высовывались из-за загнувшихся ветвей, раскачиваемые ветром.

«Кто это их тут повесил?» — думала я, вставая и подходя к елке с другой стороны. Но только что я разглядела висевший на елке предмет, как точно приросла к месту — до того были сильны изумление и ужас, охватившие меня. Там висел человек. Когда, наконец, я почувствовала, что ноги мои могут двигаться, я громко закричала и бросилась бежать, роняя по дороге листки из своей книжки. Ветер стих, и хлынувший дождик прибил к земле эти листки, и по ним после отыскали лесину с висевшим на ней человеком. Мокрая, грязная, исцарапав себе лицо и руки, избившись о камни, с которыми вместе я иногда скатывалась на крутых местах, я прибежала домой и перепугала всех и своим видом и своим рассказом. Мать сначала не верила мне.

— Ты до того зачиталась, что тебе, наконец, мститься начало, — говорила она. Но отец поверил и, взяв с собой сторожа Егора, заменившего Данилу, ушел в лес и вскоре возвратился, вполне убедившись в истине моего

рассказа. Но что поразило нас еще большим страхом и удивлением, так это то, что в висевшем человеке отец и Егор признали пропавшего без вести Данилу. Любопытство все-таки превозмогло суеверный страх, который мать чувствовала к покойникам, и она, а с нею и Ульяна, сопровождаемые отцом и сторожем, пошли посмотреть на удавленника. Домой мать вернулась перепуганная почти не менее меня.

Со мной сделался сильный жар и бред; я тщетно зарывалась в подушки головой — удавленник, с своим страшным, почерневшим лицом и провалившимися глазами, все качался передо мной посреди темных веток мохнатой ели. Всю ночь мне прикладывали компрессы к голове, и только к утру жар утих и я уснула.

Утром отец уехал в Алакшинский завод с донесением о нашедшемся мертвом теле.

Какое впечатление произвело это происшествие на Ульяну — не знаю. По наружности в ней не было заметно никакой перемены. Только спать в тот вечер она легла позднее обыкновенного и двери, к ночи никогда не запиравшиеся, заперла засовом. Точно боялась, чтоб мертвый муж не пришел к ней.

— Истукан, не баба! — говорила об ней мать. — Хотя бы слезинку выронила, или вздохнула, или как-нибудь на словах пожалела.

Когда, по окончании следствия, караулившим труп Данилы мужикам велено было зарыть его где-нибудь в лесу, как самоубийцу,

они приглашали Ульяну пойти с ними и проститься с Данилой, но она отказалась.

— Ты хоть сыздали посмотри,— говорили они. — Все же будешь знать, где могила. А то ведь и не найдешь после. Разве приметочку тебе какую ни на есть поставить?

— Не надо, я искать не буду, — громко ответила она. И больше не сказала ни слова. Жить у нас после этого она не стала, а ушла к отцу в завод, говоря, что надо помочь ему управиться со страдой.

Скоро после этого и мы переселились с Позорихи. Получилось, наконец, долго ожидаемое распоряжение о перемещении отца в Алакшинский завод в конторщики «до другой лучшей, более подходящей для него вакансии», значилось в предписании. И мать ожила духом и почему-то начала питать надежду на возвращение в Кумор. Однако ей пришлось отказаться от этой надежды! Мы прожили тут не полгода, не год, как думала мать, а много лет. Когда мы жили на Позорихе, невозможность иметь всегда водку и неименье выпивающих знакомых заставляли отца вести более трезвую жизнь; с переездом же в Алакшинский завод отец опять стал часто ходить по гостям и редко возвращался домой трезвым. Но я не буду описывать нашу жизнь, которая была так же однообразна, как и на Позорихе, и только чаще стали повторяться ссоры между отцом и матерью. Лучше опустить завесу на эту жизнь, полную горя и слез.

В одну суровую и особенно тяжелую зиму, когда в Алакшинском заводе и всех окрест-

ных рудниках свирепствовал тиф, мать моя сделалась одною из первых жертв. Как ее хоронили, я не помню, так как тоже была больна тифом и лежала в постели. После уж сказывали мне, что отец очень плакал и убивался, а мне давали советы и наставления, как лучше развлекать отца и хозяйничать. Но хозяйничала я очень недолго: через семь месяцев после смерти матери отец женился на двадцатипятилетней девушке, дочери запасчика. Мы уживались с нею довольно хорошо, потому что она была нетребовательная женщина. К тому, что отец выпивал, она относилась довольно равнодушно, как к чему-то необходимому и неизбежному в нашей жизни, и поэтому у нас не было ни споров, ни упреков, ни слез. Когда, бывало, отец возвращался домой навеселе, она ухаживала за ним и помогала ему раздеться, укладывала спать, шутила. Отцу это нравилось, и он стал заметно меньше пить. Наша жизнь потекла покойнее и ровнее, но почему-то чувствовалось, как будто уровень наших требований понизился. Мать не ходила никуда, кроме управляющих и попа; теперь же у нас завелись знакомые попроще. Прежде играли только в благородные игры: в бостон, преферанс и ералаш; теперь играли иногда в дурачки. Отец не читал мачехе своих газет, ни я — романов; сама она читать не умела и не интересовалась ничем, кроме кухни, белья и платья. Да еще очень интересовалась тем, что делается у соседей и вообще у всех жителей завода. Так прошло около года. Я осталась от матери на пятна-

дцатом году; теперь мне шел семнадцатый, и меня считали невестой. Мачеха моя начинала толковать про женихов, и я с ней толковала о женихах охотно. Это и развлекало и забавляло меня.

Наступило освобождение из крепостной зависимости, но в Алакшинском заводе оно произошло как-то незаметно. Все было по-старому и только мастеровые взяли два дня праздника по прочтении манифеста. Однако ж мало-помалу начались толки, разговоры, ожидания чего-то лучшего впереди. По временам стали слышаться восклицания: «Так что ж? Теперь мы — вольные!»; «Э, да что нам, ведь мы теперь — вольные!»; «А вот возьму да и уйду, вздумаю и уйду! Ведь я теперь — вольный!» и т. п. Около этого времени я получила письмо от тетки, сестры отца, которая жила в Кушгорте. Она приглашала меня к себе погостить, посмотреть людей и себя показать. Последние слова в письме были подчеркнуты.

— Поезжай, — сказал отец. — Кушгорт большой завод, посмотри.

— Может быть, там и женишок-то получше выищется, — прибавила мачеха.

Я поехала смотреть людей и себя показывать. Я ехала в Кушгорт месяца на два, на три, а прожила там два года.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Воспоминания из жизни в одном из приуральских заводов

I. В КУЖГОРТЕ

Вскоре после освобождения крестьян из крепостной зависимости мне довелось прожить почти два года у моей тетки, сестры отца, в одном из довольно больших частных заводов. Я ехала туда с целью повеселиться, так как было известно, что в Кужгорте — так назывался завод — живут весело. Там было довольно большое общество, сыздавна существовала библиотека, устраивались иногда любительские спектакли, а в последнее время открылся клуб, куда собирались раз в неделю потанцевать, а также устраивались литературные вечера. Я была тогда молодой девушкой, и, разумеется, общество, клуб, театр, о котором я в то время почти не имела понятия, привлекали меня весьма сильно. Но, к великому моему огорчению, зима, проведенная мною у тетки, прошла особенно вяло и скучно. Клуб закрыли, о театре запретили и думать, и однако же жизнь в этом заводе оставила во мне много неизгладимых воспоминаний, которыми я и хочу поделиться с читателем, предполагая, что они не будут безынтересны для него.

Кужгорт, сравнительно с Алакшинским и Куморским заводами, где я жила раньше, был большой завод; в нем более трех тысяч жителей и около тысячи домов. Большая и красивая каменная церковь, украшенная иконами хорошей работы, которые почти все пожертвованы заводовладельцем и присланы из Петербурга, поразила меня и внешним и внутренним изяществом. Улицы прямые, правильно перерезанные проулками, но хороших и красивых домов немного. Кужгорт расположен по обеим сторонам реки Койвы, перехваченной по самой середине селения широкой, хорошо устроенной плотиной. Пруд, шириной в две версты и длиной в пять, теряющийся «вверху» в темных, дремучих лесах, придает много красоты этой местности. Дом моей тетки находится на правой низкой стороне речки. Снаружи он имел довольно мрачный вид: высокий, бревенчатый, побуревший от времени, он выглядел неприветливо. Но комнаты были веселые, светлые, уставленные разнокалиберной мебелью заводской работы. В зале, перед диваном, стоял круглый стол с журавлями вместо ножек и простеночные столы в виде киосков, желтые с черными каемками. Широкие красные стулья с прямыми спинками обильно расставлены были вдоль стен. Полы белые, и везде дорожки из клетчатых половиков. Чистота необычайная. Все это вместе производило впечатление чего-то чинного и церемонного, но в то же время как будто сдержанно, прилично улыбающегося. Фигура моей тетки вполне гармонировала с ее жили-

щем. Опрятная, повязанная по-купечески темным шелковым платочком, небольшого роста с русыми волосами и бровями и серьезными серыми глазами, она, несмотря на свою насмешливую улыбку и частые сатирические замечания о своих ближних, в сущности, была очень добрая женщина. Она была вдова служившего при кужгортской больнице старшего фельдшера, или лекарского ученика, как их звали в то время, и жила пенсией. С ней жил ее сын, служивший в кужгортском правлении за небольшое жалованье, и старик отец, не получавший ни копейки. Еще десять лет тому назад дедушка мой был, как говорилось в Кужгорте, «выброшен на свое пропитание». Это значило, что он должен был снискивать себе пропитание где хочет, помимо помещика, у которого ему не давали ни службы, ни работы. Работать, правда, дедушка и не умел ничего, и единственным занятием, к какому он мог пристроиться, было чтение псалтыря по умершим. Но и этот скудный заработок дедушка большей частью нес в кабак и жил на средства своей дочери, которые были очень невелики. Часто дедушка пропивал даже свое платье, и когда я приехала к тетке, то в это время у нее был заведен такой порядок, что дедушка, возвратившись из церкви, снимал сюртук и сапоги и их сейчас же запирали в шкаф, а ключ тетка брала к себе. Дедушка ходил дома в полосатом нанковом халате и старых валенках. Он был уже совсем седой, начинающий дряхлеть старик, постоянно ворчащий что-то себе под нос и никогда

не расстающийся с табакеркой. На меня он произвел неприятное впечатление, и я подумала, что мать моя, очень не любившая дедушку, была права. С теткой с первых же дней я очень сошлась: у меня нашлось с ней общее, что связало нас и сделало возможным между нами, несмотря на разницу лет, род некоторой дружбы, основанной на сходстве вкусов и отчасти характеров, — она тоже до страсти любила читать и из кужгортской библиотеки пользовалась книгами и журналами. Но слабость зрения заставляла ее пользоваться услугами других и ценить эти услуги даже выше их стоимости.

До меня обязанность чтеца исполнял дедушка, но он читал романы таким же тоном, каким читал псалтырь по умершим, и это тетке не нравилось.

— Вот теперь другое пошло, — говорила тетка с довольным видом, когда на другой же день после моего приезда мы начали переживать жизнь «Давида Копперфильда младшего». Но дедушке мое чтение не нравилось, он находил, что я болтаю, как сорока, что ничего понять нельзя, и сначала пробовал учить меня читать выразительнее и подольше останавливаться на знаках препинания, но потом, видя мое невнимание, махнул рукой и никогда не слушал моего чтения, уходя на это время в другую комнату. Да и вообще он мало сидел с нами и редко разговаривал. Последнее большею частью случалось до обеда, когда я сидела за рукодельем, поглядывая на улицу.

— Дедушка, что это за господа идут? — спрашиваю я, оставляя работу и приникая лицом к тусклому, зеленоватому стеклу окна.

Дедушка подошел, взглянул в окно и презрительно выпятил нижнюю губу.

— Нашла господ! — проговорил он. — Это конторские приказные.

— Это, значит, служат в конторе?

— Ну да! Служат в конторе писцами; господа не важные, хотя и одеты модно.

Дедушка сказал это таким недовольным тоном, что я не смела его больше расспрашивать и на некоторое время примолкла. Прошло с час. На улице снова показалась кучка господ в красивых шапках и шубах с бобровыми воротниками. Мне очень захотелось узнать, кто это такие, но я уже не смела обратиться к дедушке с вопросом и заметила про себя:

— А это, верно, тоже конторские писцы идут.

Дедушка взглянул в окно.

— Ну, нет, эти почище будут, это правленские, эти вот двое — кассир и делопроизводитель, а те кописты.

— А Володя где служит?

Володей звали моего двоюродного брата.

— В правлении. Вот и он должен бы прийти сейчас.

Однако прошло еще с полчаса, а Володи не было. Дедушка начинал ворчать. Тетка сердито ходила из угла в угол.

— Можно бы и без него пообедать, — проговорил дедушка, — семеро одного не ждут.

— Ну, нас не семеро, — промолвила тетка сквозь зубы.

Время шло удивительно тихо, прошло еще минут двадцать.

— Ну, ты хочешь, так жди, а меня накорми, — сказал дедушка, вставая. — Его, может быть, арестовали, так он просидит там до вечера.

— Арестовали! — презрительно повторила тетка. — Ныне уж эти аресты-то вывелись из моды. Это ведь вас на цепь-то к колодкам приковывали.

И тетка вышла из комнаты, слегка рассмеявшись.

— Как, дедушка, на цепь приковывали? Когда это было? К каким колодкам? — засыпала я дедушку вопросами, когда он, пообедавши, вернулся в комнату.

— Это было давно. Да тебе на что все это? — спросил он, удивляясь и останавливаясь среди комнаты.

— Да мне хочется знать. Ведь вы все это знаете? Ведь служили в конторе?

— Служил.

— Ну, так видали эти колодки?

— Не только видал, а и сам сиживал.

— На цепи?

— На цепи.

— Ну, расскажите же, дедушка, как это было?

— Да просто было: прикуют к колодке, которые в то время в конторе вместо стульев были — обрубок вот этакий бревна, — да и

велят сидеть. А куда надо идти, так и волочишь ее за собой.

— Куда же надевалась цепь?

— Пояс надевался из крепкого ремня, и к нему прикреплялась цепь, и запирали замком, а в колодку ввинчивался винт. А если вздумаешь домой идти, так стул на плечо вскинешь и бежишь.

— За что же наказывали таким образом, дедушка?

— За пьянство. Запьют, бывало, эти приказные, так по неделе в контору и глаз не кажут. Да хотя бы попеременно пили, а то ведь все враз. Разыщут их полицейские и приведут в контору. Ну, там и вытрезвляют, приковавши на цепь.

— Однако, какие ужасы были! — воскликнула я, качая головой.

— Ну, это что за ужасы! Просто — время такое было. Народ был бесшабашный.

— Нынче, вероятно, народ лучше и не пьют уж так, — предположила я, поглядывая на дедушку.

— Не пьют! Не за ухо льют тоже и теперь. Только аккуратнее стали, — сказал дедушка, постукивая пальцами по табакерке.

— Образованнее стали, школы нынче лучше устроены, — заметила я.

— Ну, это бабушка надвое сказала, про школы-то. Ныне школы-то у нас сокращены. Оставлены только география, арифметика и грамматика, еще история да закон божий. А прежде, кроме этих наук, геогнозия, минералогия, лесоводство и еще должности чело-

века и гражданина преподавались. Учителей-то было шестеро, а теперь только два. Большого ума люди занимались тут.

— С большого-то ума, верно, бунтовать и затеяли, — ядовито вставила тетка, стоявшая у окна и нетерпеливо высматривавшая своего Володю, который должен был принести последнюю часть «Давида Копперфильда».

— Какой такой бунт? Дедушка, расскажите! — просила я.

— Это вот ее дело, пусть она рассказывает, — покосился дедушка на тетку. — Она с этими бунтовщиками вожжалась, а я тут ни при чем.

Я стала просить тетку, но она отказалась, обещав, однако, рассказать когда-нибудь, и, завидев, наконец, Володю в окно, вышла из комнаты.

— Где же теперь, дедушка, эти колодки и цепи?

— Когда поступил управляющий Чиртулов, вот что был до этого, то все колодки и рогатки — еще рогатки были, вот вроде тех, что на свиней надевают, чтоб по огородам не лазили, — которые провинившимся на шею надевались, склал в кучу и сжег. А цепи в кузницу снесли и перековали на скобы и другие железные поделки.

— Вот славно-то! — вскричала я, хлопая в ладоши. — Хороший он, должно быть, был человек, гуманный.

— Какой? — спросил дедушка, вытаращив на меня глаза.

— Гуманный, — повторила я и даже по-

краснела от удовольствия, что знаю такое хорошее, мудреное слово.

— Гуманный, гуманный, — повторял дедушка, будто заучивая слово. — А что же это слово значит?

И он сел напротив меня и глядел мне в лицо, насмешливо улыбаясь и думая, что я не сумею объяснить мудреного слова.

— Так называют, дедушка, человека доброго, образованного, хорошо расположенного к людям, неспособного на жестокость, — поспешно и пространно принялась я объяснять.

— А-а, вот что! — И дедушка злорадно понюхал табаку. — Ну, так это слово к нашим господам не идет. И к Чиртулову не шло, и к теперешним не идет. Чиртулова один служащий подлецом и вором обозвал, так он его с полгода морил в каталажке, а потом в солдаты упек. А другого за такую же провинность так по скуле свистнул, что и зубы вышиб и глаз повредил.

— Но теперь-то ведь этого не делают же, наконец? — сказала я, вставая и глядя на дедушку не то с мольбой, не то с вопросом.

— Чего не делают? Все то же делают, что и было. Колодки и рогатки сожгли, а кулак-то ведь остался, — упрямо повторял дедушка. — Ты думаешь, что съездил наш управляющий за границу, на выставку там, что ли, так и стал гуман-ный! Это только слово к нам залетело по ветру. Вот тут тоже член правления употребил нынче в бумаге модное слово этакое: «соли-дар-ный»... — произнес де-

душка с расстановкой. — Ты не знаешь ли, что оно значит?

Я смутилась и затруднилась объяснить. Дедушка молча посмотрел на меня и сказал как бы про себя:

— Я думаю, и сам-то он не больше твоего знает...

Но тут меня позвали обедать, и наш разговор прекратился.

II. ЗАГОВОРЩИКИ

В другой раз, как-то вечером, когда нечего было читать, тетка рассказала мне о затевавшемся когда-то в Кужгорте заговоре, как называла она.

— Этому теперь двадцать лет, Софья, а у меня до сих пор точно мурашки бегают по спине, как вспомню о тогдашнем переполохе. И ведь ничего-то мы с хозяином не знали и не подозревали — в таком секрете у них было. А бывали они у нас часто. Степан жил у нас — так к нему ходили.

— Кто этот Степан?

— Степан Алексеич, младший брат моего мужа, Егора Алексеича. Он учился в Петербурге с Шилохвостовым, Невзоровым и Чиртуловым. По приезде из Питера они служили в заводе, назывались практикантами и в то же время были учителями в школе.

— Что ж, их только четверо и было?

— Нет, семеро: Корнев, другой Шилохвостов и Шишков. Корнев-то вот, должно быть,

их и выдал — потому он прав остался, а Шишков до того перепугался, когда узнал, что их арестовали, что хватил какого-то зелья и в ту же ночь отдал богу душу.

— Чего же они хотели? Что затевали? И как узнали обо всем этом?

— А вот видишь ли, чего они хотели: хотели того, что теперь само сделалось, — хотели освободиться из крепостной зависимости. Составлена у них была этакая бумага, говорят, что бог создал только мужчину и женщину, а раба не создал, и поэтому, де, рабов быть не должно. И поклялись они над евангелием и подписались на этом листе своей кровью, что посвятят свою жизнь на то, чтобы всем внушать эти мысли и приобретать себе все больше и больше приверженцев. Кроме того, составлен был у них план, писанный тоже, как действовать. Хотели они взбунтовать все заводы — не одни наши, а и все сибирские, говорили, что там у них уже и люди есть надежные, — отложиться: просить сначала у царя волю, а потом конституцию. Хлеба, де, у нас в Сибири много и руды всякой. Заводы тоже есть: будем сами ружья и пушки делать и защищаться. Все это у них написано было и хранилось у Степана. Раз как-то вечером, осенью это было, сижу я вот тут, у печки, и вяжу чулок, — послали от главноуправляющего за Степаном. По какому-то случаю послали-то полицейского десятника. Степан страсть переполошился, побледнел весь; прибежал ко мне и сует мне в руки пакет вот такой. «Спрячь, — говорит, — сестрица, это подаль-

ше, а если придет Шилохвостов, так передай ему». Я еще удивилась. «Что это такое?» — думаю. Ну, сунула к себе в комод и сижу себе. Прошло этак с час; Шилохвостов и пришел. Сказываю ему; гляжу — у того и губы побелели, и щеки затряслись. «Давайте, — говорит, — мне эти бумаги скорее, где они у вас?» Я отдала, и он тотчас же ушел с ними. Думаю: «Что такое?.. Дай я пошлю за хозяином в больницу». Он в то время у меня и дневал и ночевал в больнице: позволили им с доктором скелет приготовить, так они этот скелет варили и собирали. Послала (лошадь у нас была для разъездов по больным), приехал он уже поздно, а Степана все нету. Рассказываю ему — вот, мол, что, а он говорит: «Вот ужо я их припру!» Приехал Степан поздно и рассказывает, что управляющий возил его собой на новый завод, который в то время только что состроили и пустили в действие. Строил этот завод Шишков — архитектором он был, — а Степан устраивал горна. Хотели посмотреть на действие там какого-то вала. Стал у него Егор Алексеич спрашивать: «Что, — говорит, — это у вас за бумаги, зачем их прятать нужно?» Тот смеется, веселый такой. «Ничего, — говорит, — это так, пустяки, письма разные да что, это еще из Петербурга у меня». Хозяин посоветовал ему все бросить в печь, на том дело и кончилось. А через месяц после этого вдруг их всех и забрали.

— Кто же их забрал? — спросила я.

— Жандармы. А случилось это вот как. Степана в ту пору дома не было, он был в

Куморском заводе, устраивал там горна. По воскресеньям хозяин мой всегда являлся к главноуправляющему с докладом. Явился он к нему в одно воскресенье, а управляющий его не принял. Письмоводитель стоит у дверей в зале и всем отказывает; занят, говорит, никого принимать не будут. Ну, разумеется, все промеж себя шушукают: что, дескать, такое? Корне́ва принял и никого более знать не хочет — что такое за дело? Хозяин ушел от него к обедне; выходит от обедни, а у управляющего уже лошади поданы ехать в город. Письмоводитель бегает как угорелый, укладывается. Хозяин спросил про Корнева, не с ним ли он едет? Нет, говорят, Корнев уже уехал в Алакшинский завод. Ну, разумеется, все удивились. А это для того было сделано, чтобы к Корневу с расспросами никто не приставал. Уехал управляющий, прошло три дня, и наехали жандармы. И первым делом к Шилохвостовым, потому как старший Шилохвостов был у них, заговорщиков, коноводом. Пока у Шилохвостовых шарили, кухарка ихняя, Устинья, урвалась как-то к Шишкову. Вбежала это в ограду, а Шишков только что приехал с нового заводу. «Ты, — говорит, — чего знаешь, Яков Петрович? Ведь у наших-то жандармы с обыском. Ивана, — говорит, — посадили в одну комнату с жандармом, а Андрея в другую и уж так роются, так роются; у Ивана, — говорит, — целый ворох бумаг нашли. Дедушка (старик Шилохвостов) велел тебе сказать, что если у тебя какие бумаги, так чтоб ты

их сжег». У Шишкова дома бумаг не было никаких, но у Шилохвостовых его бумаги были, и подпись его подо всеми ихними планами была. Как услыхал он про жандармов, так у него и ноги подкосились — как он стоял у крыльца, так тут на ступеньку, на лестницу, и сел. Когда-некогда, говорят, опомнился, ушел в комнату, бегает по комнатам, вздыхает, по голове себя колотит, по груди. Это после нам его кухарка сказывала. Он жил один, родни у него не было никого, только прислуга: кухарка да кучер. Кучера послал за моим хозяином, а его, как назло, не было дома, уехал по больным. После хозяин говорит мне: «Хоть бы, — говорит, — ты к нему поехала!» Конечно, как бы я знала, какое дело, так поехала бы. Ну, вот он один-то с перепугу и выпил там что-то. Уж, верно, заранее было припасено. Как стало его корчить, снова по хозяина приехали, его все нету; по доктора тогда кинулся кучер... Ну, уж поздно. В ту же пору и жандармы приехали и сидели тут до утра, пока доктор с ним водился; а к утру он богу душу отдал. Шилохвостовых же, Невзорова и Чиртулова увезли в город. В сани рассадили по одному человеку и по два жандарма к каждому, с саблями наголо. Просто страсть глядеть.

— А как же Степан Алексеич? Я слыхала, что и он попался.

— Он прежде всех. Ведь Кумор-то на пути сюда, так когда они здесь были, он там уже арестован был.

— Ну, что же с ними в городе сделали?

— К губернатору, разумеется, прежде всего представили. Ну, что уж, когда улики налицо, так они и не запирались. А там вскоре их в Петербург отправили. Содержались там в крепости с полгода. До самого государя дело дошло; велел он их к себе представить. Как увидел их государь — и говорит: «Ах, какие бравые ребята! В гвардию бы вас надо, а вы, — говорит, — какую-то там глупость затеяли». Думали все, что в Сибирь их сошлют, в каторгу, а он их в солдаты, да на Кавказ. Это с ними милостиво было поступлено. Шилохвостов и Степан выслужились в офицеры; Невзоров утонул там в какой-то реке, а Чиртулов помер.

— А они красивые собой были?

— Красивые. Шилохвостова оба красавцы были и Чиртулов тоже, только ростом поменьше других были; старший Шилохвостов, впрочем, был высокий ростом. Он и Невзоров такие долганы были, что когда кончили курс в училище графини и явились к господину, как раз в то время вошла к нему в кабинет барыня; как вошла, так и ахнула: «Ах, — говорит, — какие высокие!» И приступила к барину: отдай да отдай их ей в выездные. Тот ее уговаривает, представляет, что учил их столько лет для своих заводов, что в лакеи ей можно взять из мастеровых, что у него в заводах рослого народу много — ничего не слушает: вот этих ей подай, да и кончено. Шилохвостов сказывал, что сильно они струсили в ту пору. Поставили бы на запятки, так тоже ничего не поделаешь, пришлось бы ездить. Однако, как

уж там было, только отстоял их барин, не попали в лакеи наши молодцы.

— Может быть, это и показало им всю тяжесть крепостной зависимости, — сказала я.

— Может быть, не знаю. Я так думаю, еще там, в Питере, они этой фанаберии набрались. Сказывают, что учителя у них все фармазоны были.

— Франкмасоны, тетушка, — поправила я.

— Ну, не все ли равно, как назвать. В церковь они не ходили, постов не соблюдали. Ты Остолопова помнишь?

Я чуть помнила его, это был старый управляющий графини; он жил на пенсии в Куморе с несколькими внуками в доме своей сестры. Он не владел ногами и все сидел в своем длинном кресле. Отец мой часто ходил к нему почитать газет, а я иногда забегала к ним в кабинет старика. В моей памяти и осталась большая квадратная голова с седыми волосами и суровыми глазами, сверкавшими из-под нависших седых бровей.

— Ну вот, и этот старик был фармазон. И еще какой! И умирать стал, так попа к себе не пустил. Так без исповеди и помер.

— Да мне кажется, что франкмасоны не были атеистами, — сказала я в раздумье.

— Это те, что в бога не верят, так называются? — сказала тетка и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Он, может, и верил в бога, только обрядов наших не признавал, и хотя в кабинете у него висело распятие из слоновой кости, резное, но ни лампадки, ни свечки он перед ним никогда не теплил и никогда на

него не молился. Про него говорили, что он предлагал графине всех крепостных на волю отпустить.

— Ну и что же она? — заинтересовалась я.

— Да ничего. Сказала, говорят, подумаю, чтоб только отделаться от него и не обидеть. Надо сказать правду, что его все уважали.

— Он, должно быть, был образованный и умный, — заметила я.

— Брат сказывал, что он пять языков знал, а не умел ни денег считать, ни на счетах класть.

— Ну, это еще не важно, — рассудила я.

— Кому что! А вот для нас так важнее всего счетоводство знать да заводское дело. — Помолчавши, тетка прибавила: — А с той поры от этих людей у нас и до сих пор эта фанаберия ведется.

— Ну, теперь-то уж ее, кажется, совсем нет, — улыбнувшись сказала я.

— Ну, как нет, есть и теперь, только притаилась она. Ну, да и люди нынче мельче пошли. Не хочешь ли, сходим к учителю Мохнатину в гости; он давно знаком мне, и ты познакомишься с нашим теперешним либералом.

И тетка вдруг презрительно и громко рассмеялась, затем вздохнула и замолчала.

III. В ГОСТЯХ У ЛИБЕРАЛА

Вскоре после этого разговора мы с теткой собрались в гости к либералу-учителю. Он

жил в довольно большом доме неприглядной и мрачной наружности; но внутри дом был хорошо устроен и очень поместителен.

Строил его один из приезжих заводских управителей, а жене учителя достался по наследству.

— Здравствуйте, Михайло Васильевич! — сказала тетка, войдя в переднюю и заглядывая из дверей ее в следующую большую комнату, где, стоя у окна, прислонясь к косяку, либерал-учитель читал какую-то книгу. Он взглянул на нас из-за очков и, поспешно сунув книгу на столик, пошел к нам навстречу, сильно притопывая одной ногой и еще взъерошив свои и без того вихрами торчащие светло-русые волосы. Это был молодой человек среднего роста, очень сухощавый и бледный. Одет он был в сильно потасканное серенькое пальто с порванными петлями и высунувшимися кругом махрами подкладки. У воротника рубашки недоставало пуговки, а небрежно завязанный узел галстука съехал набок.

— А, Аграфена Степановна! Мое почтение, милости просим! — сказал он, любезно раскланиваясь с теткой. — Пожалуйста сюда, жена здесь.

Мы прошли за ним в следующую комнату, где навстречу нам с дивана, обитого пестрым ситцем, поднялась молоденькая и хорошенькая брюнетка, жена учителя. Она была опрятно и даже нарядно одета и тоже читала какую-то книгу. Кроме нее, в комнате, в уголке у окна, сидела худенькая девочка лет семи, тоже с книжкой в руках. Девочка на минутку

подняла на нас свои серьезные зеленовато-серые глаза и снова углубилась в книжку.

— Все с книжками, — сказала тетка, здороваясь с молодой женщиной, — мы вам помешали читать?

— Нет, ничего. Ведь мы только и делаем, что читаем. Теперь праздник, и работать ничего не хочется, —приветливо заговорила молодая женщина, усаживая тетку на диван.

Тетка представила меня, сказала, что я приехала к ней погостить, посмотреть Кужгорт.

— Да, я думаю, вы скучаете дома, ведь Алакшинский завод — это, говорят, такая трущоба, — сказала молодая женщина, обращаясь ко мне. — Вот только жаль, что вы не приехали раньше. Зимой у нас клуб был, литературные и танцевальные вечера, и было чудо как весело. Думали было мы, что у нас еще будет несколько вечеров на пасхе, но главноуправляющий с дня объявления манифеста все что-то болен или не в духе, поэтому ничего не состоялось,— добавила она улыбнувшись.

Я пожалела: я рассчитывала, что попаду на эти вечера, о которых много наслышалась в Алакшинском заводе.

— Что же читалось на ваших литературных вечерах? И кто читал? — обратилась я к Михаилу Васильевичу.

— Читали все, кто только мог читать: вот ее брат, Александр Петрович, читал, Григорий Николаевич Пантюхин читал — оба отличные чтецы, — Цешковский, наш доктор, его жена, вот я и она читала, — Михайло Ва-

сильевич кивнул головой на жену. — Еще Назукин и другие.

— Да вы не хотите ли посмотреть программу? — предложила мне Анна Петровна. — Тут на столе, кажется, сохранились черновые: ведь они у нас составлялись. Поищи, Michel!

Михаил Васильевич порылся на столе и отыскал два исписанные листа, которые и подал мне. «Программа 1-го литературного вечера» — значилось вверху листа; далее следовало, кто что прочтет. Я стала читать программу вслух.

1) Отец Петр скажет речь по случаю открытия клуба.

— И он говорил? — спросила я.

— Да, говорил. Это ведь у нас весьма торжественно было, и он сказал что-то весьма приличное случаю, — сказал Михаил Васильевич.

— Он ведь очень неглупый господин, — добавила Анна Петровна. Тетка улыбнулась и двусмысленно хмыкнула.

2) Лекция Густава де-Молинари о политической экономии. Лекция первая. Прочтет Григорий Николаевич Пантюхин.

— Это, видите ли, — перебил меня Михайло Васильевич, — и не совсем-то годилось для литературных вечеров, но управляющий хотел, чтоб было как можно более серьезного чтения, так это уж для него вошло в программу.

— А Григорий Николаевич читал хорошо, так что эти лекции слушались без скуки, — заметила Анна Петровна.

3) «Нечто из физиологии и гигиены». Прочтет доктор Цешковский.

— Не сказано, чья статья, — заметила я.

— Это он свое что-то читал, — усмехнулся Михайло Васильевич, — поляк, человек с гонором. Не хочу, говорит, я чужого читать, ну а нам-то важно было, чтоб читал что-нибудь, мы и согласились: читай, мол!

4) «Звуки и краски» — стихотворение. Прочтет Варвара Александровна Цешковская.

5) «Письма к русским женщинам». Письмо 1-е. Прочтет Анна Петровна.

В заключение: «В чужом пиру похмелье» Островского. Прочтет Александр Петрович.

— А после чтения танцевали, — сказала Анна Петровна. — Да, жаль, жаль, что вы не застали этих вечеров, хорошие были вечера!

— Да, хорошие были вечера, хорошие, — согласилась и тетка.

— Ну, не унывайте. На будущую зиму эти вечера, вероятно, возобновятся. Общество наше прибавится: приедет мировой посредник; это, вероятно, будет человек с университетским образованием и, вероятно, примкнет к нашему кружку, — пустился предполагать Михайло Васильевич.

— Ну, это ведь еще неизвестно, — заметила Анна Петровна.

Я стала читать программу второго вечера.

1) «Несчастные» Некрасова, прочтет Михаил Васильевич.

2) «Вторая лекция де-Молинари», прочтет Григорий Николаевич.

3) «Бэда-проповедник», стихотворение, прочтет Александр Петрович.

4) Второе письмо к русским женщинам, прочтет Анна Петровна.

5) Вторая лекция о физиологии — доктор Цешковский.

6) «Гегемониев» Щедрина — Александр Петрович.

— Программа второго вечера мне лучше нравится, — сказала я, складывая листки и возвращая их Михаилу Васильевичу.

— Да, это одна из лучших. Впрочем, они и все недурно были составлены, — сказал Михайло Васильевич.

— Ну, все же бывало! — сказала Анна Петровна. — Назукин, например, читал какую-то глупейшую повесть из «Сына отечества», где вместо mesdames произносил месдамес. Вот заладил, что это именно он прочтет; ну, делать нечего, должны были согласиться. Мы, впрочем, с Варварой Александровной не слушали, ушли в другую комнату.

— Зато этот второй вечер был один из удачнейших и многолюднейших, — с одушевлением заговорил Михаил Васильевич. — Приезжие из города были, из Ильинска, все люди понимающие. Горный инженер Стуков был удивлен, как мы осмелились читать такую вещь, как «Гегемониев», на литературном вечере. Помнишь ты, Анюта?

— Я помню только то, что он едва на стуле мог сидеть от хохота, когда брат читал «Гегемониева», — сказала Анна Петровна.

— Ну, ведь не все смеялись, — сказал Ми-

хайло Васильевич, — когда я читал «Несчастных», так одна дама даже расплакалась...

— А когда я читала, — перебила его Анна Петровна, — «Письма к русским женщинам», так многие дремали, а одна наша знакомая — соседка еще, вот тут неподалеку живет — так даже совсем уснула. Так и всхрапывает на всю комнату.

Все рассмеялись.

— Вероятно, это была очень серьезная статья? — заметила я.

— Не то, чтобы уж очень серьезная, но все-таки не по плечу нашим барыням. Да и не годилась она для наших литературных вечеров; так уж, ни к селу ни к городу мы ее приплели. Все управляющему угодить хотели, — усмехнулась Анна Петровна.

— А я думала, что Михайло Васильевич вовсе неспособен угождать, — насмешливо заметила тетка.

— Нельзя без того было, Аграфена Степановна, ведь все от него зависело, — вздохнул Михаил Васильевич.

Потолковавши кое о чем, тетка спросила Михаила Васильевича, нет ли у него каких-нибудь «серьезных или исторических книг». Она иногда прикидывалась любительницей серьезного чтения. Получив ответ, что Михаил Васильевич сам читает Бокля, а жена его последнюю книжку «Современника» и что когда они прочтут, то пошлют книги к нам, мы стали прощаться. Анна Петровна приглашала меня бывать у нее, на что я с удовольствием согласилась. Тетка, с своей стороны, приглашала

их обоих к себе. Прощаясь с дочкой учителя, я попросила у нее почитать ее книжку, которую она во время чая отложила в сторону.

— Возьмите, — сказала девочка, подавая мне книгу, — я уж ее второй раз читаю.

Я взяла и взглянула на заглавие: это была «История кусочка хлеба» Масе.

— Ничего, возьмите, — сказала мне Анна Петровна, — вы прочтете ее не без интереса. Я тоже прочла. Ведь мы с вами в некотором смысле — те же дети, — усмехнулась она. Я вполне согласилась с этим и утащила книжку с собой.

IV. ЗНАКОМЫЕ МОЕЙ ТЕТКИ

У моей тетки было несколько учеников — мальчиков и девочек, которых она учила грамоте. Когда я приехала, учеников у нее было трое: две девушки, уже совсем взрослые, и один калека-мальчик. У мальчика этого обе ноги вывернулись назад, так что пятки были напереди, а ступни волочились сзади. И хотя он переступал ногами, но держаться на них и ходить без помощи костылей не мог. Звали его Христофором, или попросту Форком. Одну из девушек, приземистую, страдающую одышкой от непомерной толщины, звали Мариюшкой; другую — черноволосую, бойкую на язычок, с ухватками торговки — звали Маряной, или Марянкой. Она училась по азбуке гражданской печати и, когда я приехала, уже бойко читала всякую книгу и вскоре перестала

брать уроки, а ходила к тетке носить воду, помогала стирать и мыть, так как тетка кухарки не держала. Христофор и Мариюшка учились по славянской азбуке. Христофора я застала уж проходившим последние кафизмы псалтыря; он тоже хорошо читал и вскоре перестал ходить к нам. Осталась Мариюшка, читавшая чуть не по складам и только что начавшая псалтырь. Она ходила почти каждое утро, и в течение двух, а иногда и трех часов тетка или дедушка слушали ее медлительное до невозможности чтение, сопровождаемое шипеньем, захлебыванием и такими тяжелыми вздохами, что становилось вчуже жаль и учителей и ученицу: точно она, бедная, тащила непомерно тяжелую ношу. Мариюшка желала научиться читать для спасения души. Христофор — чтоб иметь хоть какой-нибудь заработок, читая по умершим; Маряна, начинавшая торговать калачами, орехами и сусляными пряниками, а также пивом и брагой, училась для мирских целей. Кроме этих лиц, тетку посещали иногда сослуживцы Володи: секретарь правления и другие и еще несколько человек мастеровых. В числе последних были люди, любившие потолковать о предметах отвлеченных, пофилософствовать, были и пессимисты, любившие посплетничать про начальство, потолковать о прошлых хороших временах и о наступающих дурных и тяжелых. Были и оптимисты, верившие, что все дурное прожито, а все хорошее вот-вот наступит. В числе этих всех были два маниака: один помощник машиниста, весь поглощенный изобретениями

различных колес, насосов и поршней, но всего более работающий своей головой над изобретением вечного движения, и другой, вполне убежденный, что наступили последние времена, что антихрист уже давно народился и скоро будет «светопреставление». Этот последний был одним из лучших слесарей завода. Его крупные и резкие черты лица, слегка воспаленные глаза, угрюмо и подозрительно выглядывающие из-под густых бровей, черные всклокоченные волосы, копной торчащие на большой голове, и вся его оригинальная фигура с самого начала привлекла мое внимание. Не помню, в какой из праздников посетил он тетку и, заметив, что я пристально рассматриваю его, вдруг ошеломил меня грубым и даже будто сердитым вопросом:

— Что глядишь? Отдай грош да и гляди сколько хошь! — сказал он, вдруг обернувшись ко мне, хотя раньше будто совсем и не примечал меня.

Я почему-то так смутилась и растерялась, что не знала,что и ответить.

— Ну вот, где ж ты возьмешь грош? — рассмеялась тетка, щелкавшая кедровые орехи. Это было ее любимое развлечение в праздничное время.

— Гроша у меня нет, а вот гривенник есть, — сказала я, вытаскивая монету из кармана и кладя ее на стол.

Екимов — так звали слесаря — молча встал, подошел к столу и, взяв гривенник, спокойно и молча опустил его в карман и затем, как ни в чем не бывало, продолжал свою беседу

с теткой. Тетка насмешливо поглядела на меня.

— Что, проглядела гривенник, — обратилась она ко мне, когда Екимов ушел. Я заметила, что она чем-то раздражена и недовольна, но сделала вид, будто не примечаю, и отвечала спокойно:

— Ну что ж, мне не жаль. Если б я умела рисовать, нарисовала бы с Екимова портрет и заплатила бы ему как натурщику.

Я уже много раз замечала, что тетке не нравилось мое обращение или, лучше сказать, то, что я не умела изменить своего обращения ни для кого и клала свою руку так же любезно в вымазанную сажей руку машиниста, как и в руку секретаря правления, слывшего за одного из лучших женихов в Кужгорте. Ей не нравились также и мои манеры: манерная и чопорная сама, она не любила простоту и безыскусственность в других. Ей казалось, что я роняю свое достоинство, обращаясь так запросто с мужиками, и грубо обхожусь с людьми, поставленными выше. Принимала же она мастеровых потому, что это все были знакомые и друзья ее старшего сына, умершего года три тому назад. Он был каким-то строителем или механиком в заводе; чрезмерным усердием к своему делу расстроил свое здоровье и умер лет двадцати шести, оставив о себе у рабочих хорошую память. Но, принимая бывших знакомых своего сына, тетка всегда умела держать их в почтительном расстоянии. Из того, как она подавала руку, всегда можно было заключить,

на какой ступени общественной лестницы стояло это лицо и в какой мере она благоволила к нему. Несмотря на все ее желание, она плохо умела скрывать движения своей души, и я вскоре по приезде научилась по ее лицу узнавать о состоянии ее духа. И за всем тем я все-таки не умела избегать не то чтобы ссор, а так — небольших неудовольствий, не имевших, впрочем, никогда других последствий, кроме того, что мы в течение часов двух или трех сидели молча: тетка дулась, а я не смела заговорить. Так и в этот раз мы просидели до чая молча. А во время чая к нам зашли гости: помощник машиниста Аксенов и пудлинговый мастер Седов. Это был высокий мужик с крепкими мускулами и подвижным, выразительным лицом. Он говорил с жаром, сильно нагибаясь вперед и употребляя для большего убеждения размашистые жесты. Оба были немножко навеселе; тетка поморщилась, однако ж предложила им сесть и налила по стакану чая. Поговорили сначала о погоде, потом о новости, занимавшей тогда всех. Распространился слух, что у мастеровых отберут покосы и что даже усадьбы свои они должны будут выкупать. Мастеровые, или унаследовавшие свои дома и покосы от отцов и дедов, или приобревшие дома покупкой, а покосы расчистившие сами в местах, указанных начальством, никак не могли взять в толк, что все это не их собственность.

— За что я должен теперича платить-то? — спрашивал у тетки Седов, наливая чай из ста-

кана на блюдечко. — Растолкуй ты мне, Ографена Степановна, ты — женщина ученая. Всему заводу известно, что место я купил у Степана Нечаева за 20 рублей, а теперь опять должен за него платить! Да ежели бы я и не купил место? Ежели бы мне его отвели безденежно, как иным прочим, так и тут, помоему, выходит, платить не за что. Ведь я тут у них в заводе работаю, и должен я тут жить. Ежели бы они мне места не дали, где же бы я жить стал? Конечно, и лесу они мне дали на избу... Так ведь — господи ты, боже мой! — лесу-то у них видимо-невидимо. Вот уж сто лет, как мы его палим в печах-то, а все, куда ни оглянись, кругом лес.

И Седов широко раскинул руками, точно отодвигая окружающий его лес.

— И как же им не помочь своему работнику! — продолжал он. — Опять же ведь они лес-то не садили, не поливали. Ведь это — божье, а за божье, кажись бы, денег брать не след.

— Да как же, по-твоему, — кто хочет, значит, тот и поезжай в лес? Да и бери сколько надо? — спросила тетка.

— Нету, зачем так, Ографена Степановна, — заерзал Седов на своем стуле, — не кто хочет, а свои работники, свои люди, значит, должны быть отличены от других! Ведь начальство нас знает, ну и видит, которые заводу полезны. Зачем же нас обижать? А это нам обида будет, ежели нас заставят за усадьбу платить и покосы от нас отберут, обида кровная.

И Седов внушительно покачал головой и залпом выпил свой простывший чай.

— И отколь это распоряжение происходит? — заговорил он снова. — От начальства ли здешнего, али от помещика?

И он вопросительно обвел нас глазами. Я, разумеется, молчала; молчала и тетка.

— Говорят, от помещика, — сказал Аксенов. Степан недоверчиво потряс головой.

— Ни в жисть не поверю, чтобы ему самому в голову впало своего работника изобидеть. Отобрать от нас покосы, кои мы сами расчистили для своих коров, для робят мелких! Да на что это похоже? И разве мы ему не слуги были? Разве теперь не служим? И мы и дети наши — все его слуги, — горячился Седов, размахивая руками.

— Ну, теперь ведь вы вольные: куда хотите, туда и пойдете, кому хотите, тому и служите, — сказала тетка не без иронии.

— Эх, Ографена Степановна! Да куда пойдешь-то? Ведь бедноты-то нашего брата везде натолкано. Это хорошо говорить тому, кто весь один, у кого ни за собой, ни перед собой. А у кого семья, тому это совсем неспособно. Да, это нам обида, — снова повторил Седов, — если у нас покосы отнимут!

— Да ведь зато вам хотят плату увеличить за работу: на деньги все и будете покупать, — сказала тетка.

— Ну, еще где купишь! А как сам-от сенка поставишь — оно все поспокойнее.

— Да ты и ставь его сам, коли тебе охота. У помещика же покос-то кортомь да и ставь.

— Это выходит: я же ему и плати за то, что я ему покос предоставил, — сказал Седов, стукнув себя кулаком по колену. — А ты знаешь ли то, сколько я в него труда убил? Там, где кошу теперича, ведь совсем косить-то нельзя было. Только и было, что пенья да коренья. Все надо было выворочать, да в кучи скласть, да сжечь.

— Да ты когда покос-то расчищал, так чей хлеб-то ел? Ведь помещиков, — возразила тетка.

— За хлеб-то я ему работал. А это я, может, все в праздничные дни для себя старался, — сказал Седов, ударив себя в грудь.

— Ну, в праздничные-то дни вы больше около штофа с водкой да около ведра с пивом стараетесь, — зло рассмеялась тетка.

— Это точно, что мы пьянствуем много, — согласился мастер, почесывая в голове и улыбнувшись, — только мы ведь бога не забываем. Вот я и сегодня, не в укор господу-богу, в церкви христовой был и как следует за всех помолился.

Он помолчал и поглядел на всех нас.

Тетка молчала; Аксенов, видимо, что-то высчитывал в уме, перебирая пальцами, и тоже молчал.

— Какая проповедь сегодня хорошая была! — сказала я, чтобы сказать что-нибудь. Седов живо обернулся ко мне.

— Это точно, что хорошая проповедь, — заговорил он, — батюшка наш, отец Петр, чудесно сказывает. Уж так внятно, так внятно! Ровно тебе отчеканит каждое слово.

— Да, и выразительно он так говорит, и голос у него такой приятный, — подтвердила я.

— А о чем же он говорил? — полюбопытствовала тетка.

— «Тяготы друг друга носите» было текстом, — сказала я.

— Помогать велит друг другу, горой стоять друг за друга, — начал пояснять Седов, — чтобы, значит, как один, так и другой, чтобы единомысленно... чтобы по-христиански...

И Седов умолк, видимо, затрудняясь прискивать выражения. Все помолчали.

— Однако мне пора, — сказал Седов, вставая, — прощайте, Ографена Степановна, извините, что зашел, все памятую сынка-то вашего добродетель... Пойдем, Семен Васильич.

— Нам не по пути, — отозвался Семен Васильич и остался посидеть еще минуточку. Когда Седов ушел, Аксенов вдруг оживился и начал рассказывать тетке, что он изобрел какое-то колесо, что когда его вернешь, то оно сообщает движение другому, сильнейшему, это — третьему, что сила все увеличивается и что таким образом можно будет достичь вечного движения, что с каждым днем он все сильнее и сильнее убеждается в возможности этого изобретения. Тетка, плотно сжавшая губы и нахмурившая брови, молчала. Рискуя рассердить ее, я, однако ж, не могла утерпеть, чтоб не спросить Аксенова:

— А чем же будет приводиться в движение первое колесо?

— Вот об этом я теперь и думаю, — заговорил Аксенов, переходя со своего места и

подсаживаясь ко мне. Его худощавое лицо с высоким и узким лбом и несколько впалыми висками, на которых прилипли слегка вспотевшие жидкие волосы, оживилось удовольствием, голубовато-серые глаза заблестели: он нашел себе внимательную слушательницу. Тетка, хитро улыбнувшись, ушла из комнаты и оставила меня одну слушать разглагольствования Аксенова о вечном движении. И долго он говорил и, кажется, не устал бы говорить целую ночь, но пришел Володя с каким-то молодым человеком, и разговор наш прекратился.

Как-то уж в конце лета Аксенов и Екимов зашли к нам в одно из воскресений. Тетка ушла на рынок, дедушка спал, и я сидела одна и читала какой-то переводной роман. Аксенов сказал, что он подождет тетку, и сел к окну в столовой, а Екимов прошел за мной в следующую комнату.

— Ты все в книгу читаешь? — спросил Екимов, подсаживаясь к столу, на котором лежала раскрытая книга. — Почитай-ко мне.

— Да тут тебе неинтересно будет, — сказала я. — Вот я приищу какую-нибудь другую книгу.

— Нет, из этой почитай, — заупрямился Екимов. — Вот тут и читай, где сама читала.

Я прочла вслух около страницы, содержащей описание местности, и закрыв книгу, взглянула на Екимова.

— Чудесно! — отвечал он на мой вопросительный взгляд, встал, прошелся по комнате и, снова повторив — чудесно! — спросил:

— А газеты у вас нету?

— Нет, мы не читаем газет.

— Надо бы читать, — сказал Екимов сердито. И потом, нагнувшись ко мне, с выражением таинственности и ужаса прошептал:

— Говорят, в газетах уже есть про антихриста.

Я сначала с испугом отодвинулась от Екимова, но, услыхав это предположение, не могла не рассмеяться.

— Не смейся! — строго сказал он. — Это пророками предсказано... А ножницы-то изломала! — вдруг воскликнул он, доставая из-за меня с окна ножницы. Я встала и отошла в угол: его порывистые движения и несвязность речей начинали пугать меня.

— Ты их пошли ко мне, — сказал Екимов, осмотрев ножницы, у которых ослабел и выпал винт, — я тебе починю.

— Да у меня не с кем посылать, лучше ты их возьми с собой.

— Нельзя. Я как напьюсь пьян, так, пожалуй, потеряю их, — сказал Екимов.

— Зачем же напиваться? Разве сегодня непременно надо напиться? — рассмеялась я.

— Непременно, сегодня праздник, — объяснил Екимов тоном, не допускающим возражений. И затем, еще раз повторив, чтобы я прислала ножницы, ушел, кажется, совершенно забыв про Аксенова. Я вышла в столовую. Тот заторопился, вынимая из-за пазухи что-то завернутое в бумажку, и, вытащив, подал мне.

— Это я для вас сделал, — объяснил он на мой вопросительный взгляд. Я развернула бумажку: то была маленькая железная швейка с винтом, чтобы привинчивать к краю стола. Работа была довольно аляповатая, но я все-таки поблагодарила и сейчас же попробовала ее привинтить.

— Я не знала, что вы такой мастер, — сказала я.

— Я всего понемногу знаю: и слесарное, и плотничное, и столярное, и малярное ремесла, только вот мало я учен, малограмотен, а то, может быть, из меня бы человек вышел, — сказал Аксенов вздыхая.

— Ну, а что, ваша машина как? — спросила я.

— Я придумал к этому колеску маленькое приспособление, так, чтобы оно уже сообщало начальное-то движение колесу...

— А оно-то чем же приведется в движение? — спросила я.

— Оно-то? Тут самая ничтожная сила нужна, — принялся объяснять Аксенов. — Вот настолько пальцем придавить, и достаточно будет. Я уж дойду. Тут будет действовать воздушное давление. Я теперь модель делаю; как сделаю, вы с тетушкой пожалуйте посмотреть. Я ведь тут недалеко от вас, на задах живу.

— Я знаю ваш дом. Мы непременно придем посмотреть. Это очень интересно, — сказала я.

Я рассказала, что Аксенов приглашает нас посмотреть на модель изобретенной им машины, когда она будет готова. Тетка что-то

пробормотала и потом спросила Аксенова о его жене и детях и о том, где он нынче занимается, и, узнав, что он совсем без должности, покачала головой и сказала укоризненным тоном:

— Жаль, очень жаль. Ведь кроме своих-то, у тебя еще сирота на руках. Где он теперь?

— Форко? Он читает сорокоуст на горе у Ерамковых по дедушке, — отвечал Аксенов.

Мы порадовались с теткой за Христофора, а затем Аксенов распростился и ушел.

V. ДВА ПОЖАРА

В сентябре в Кужгорте бывает храмовый праздник, и фабрики запираются на три дня. Весь рабочий народ смывает с себя накануне этого праздника сажу, накопившуюся за неделю, и, нарядившись в лучшие платья, утром в день праздника присутствует у обедни, а после обедни угощается на площади обедом от заводовладельца, довольно скромным по содержанию и почти нищенским по обстановке, но довольно щедро поливаемым водкой, и затем с песнями и музыкой рассыпается и гуляет по улицам завода. Если погода хоть сколько-нибудь сносна, дело не обходится без хороводов на перекрестках улиц. На этот раз перед праздником всю неделю погода стояла хорошая, сухая и теплая. И особенно хорош был день накануне праздника. Тихий, теплый, солнечный, он всех от мала до велика выма-

нил на улицу. Мы с теткой тоже ходили на рынок, кишевший народом, она — чтобы купить кое-что по хозяйству, а я — чтобы прикупить материи, из которой делала себе к празднику платье, и еще более затем, чтоб поглядеть на народ. Обходя ряды, мы столкнулись с Христофором, довольно ловко протиравшимся между толпой на своих костылях. Его лицо сияло удовольствием: в правой руке у него были большие выростковые сапоги, подбитые гвоздями.

— Здравствуйте, Аграфена Степановна, — сказал он, останавливаясь, — а я себе обнову купил.

— Обнову! Ну-ка, покажи, — остановилась тетка, всегда приветливо обращавшаяся с Христофором. Тот оперся сильнее левой рукой на костыль, а правой поднял сапоги.

— Это на что? — удивилась тетка. — Это кому?

— Это я себе, — сказал Христофор, несколько сконфуженный неодобрением, слышавшимся в тоне тетки. Она молча осмотрела сапоги и сказала, возвращая их:

— Ядреные сапоги, только к чему тебе их? Лучше бы ты купил на рубашку или на халат... Напрасно, напрасно! Живет бы тебе и коты.

— Вишь, он думает, что в сапогах-то бойчее заходит! — проговорил какой-то мимо идущий парень. — Может, это у него скороходы — сапоги-то?

И парень рассмеялся. Тетка сердито взглянула на него и пошла вперед. Лицо Христо-

фора совсем омрачилось, и он, повесив голову, заковылял далее.

— Экий ведь дурак какой! — сказала тетка. — И так-то едва ноги волочит, а тут еще лишняя тяжесть от сапожищ прибавится.

— Ну что ж, тетя, если ему хотелось купить сапоги. Он, верно, думает, что и его ноги как ноги будут, когда он их в сапоги обует, — сказала я, хотя и сама не могла представить жалкие и слабые ноги Христофора обутыми в такие сапоги, которые под силу и впору только здоровому мужику.

Походив по рынку и закупив, что нужно, мы возвратились домой. Я долго засиделась вечером, дошивая свое платье; со мной сидела одна Мариюшка, вполголоса читавшая псалтырь. Она осталась у нас ночевать, чтоб завтра было ближе идти в церковь. А тетка, дедушка и Володя давно уже спали, когда, нечаянно взглянув в окно, я заметила, что на улице что-то очень светло. В то же время раздались шаги поспешно бегущих людей и крики: «Пожар! Пожар!» На колокольне зазвонили в набат. Мы вскочили и бросились в столовую, где в углу, отгороженном большим шкафом, спала тетка. Она уже проснулась и поспешно одевалась. В столовой было светло, как днем; яркий столб пламени, увенчанный облаками беловатого дыма, поднимался за нашим огородом и освещал и двор, и службы, и кучку бегущих по переулку людей. Дедушка и Володя тоже встали, и все мы выбежали в огород. Там мы увидели, что горят службы Аксенова, отстоящие недалеко от нашей бани.

А от бани до наших служб тоже было недалеко; особенно близко к бане был тесовый навес, под который складывались дрова. Навес этот примыкал одной стороной к хлеву, другой к погребу, а от погреба недалеко было и до дома.

— Господи, как близко к вам-то, Аграфена Степановна! — восклицала в ужасе Мариюшка. — Сохрани ты нас, царица небесная!

И она набожно крестилась, задыхаясь от испуга. Чтобы лучше видеть, дедушка и Володя влезли на баню, мы с теткой тоже взмостились на рассадник (род парника, устраиваемый для капусты на столбах в сажень вышины от земли) и, держась друг за друга, стояли и глядели на пожар, разгоравшийся все сильнее и сильнее. Мариюшка стояла на земле возле рассадника и молилась о тихой погоде. Народу собралось уже довольно много. С переулка уронили два прясла смежного с нашим огорода и почти вплоть мимо нас провезли пожарные машины и бочки с водой. Но когда пришлось употребить машины в дело, оказалось, что у одной лопнул рукав, у другой рукав хотя и был цел, но засорился и выбрасывал воду слишком тоненькой струйкой и очень недалеко.

— Неужели ж только две машины? — кричал какой-то начальнический голос. — Где же третья?

— Третья никуда не годится! — громко закричали в ответ.

— Ах, черт побери! Что ж делать-то? — снова закричал тот же голос.

— Да что делать? Пусть службы горят, надо только дом отстаивать! — закричали в толпе. — Службы уж не спасешь: вишь, они совсем занялись.

Да, службы уж совсем занялись, крыша во многих местах прогорела, и в дыры на ней вырывались и улетали высоко на небо клочья горящего сена.

Тетка начинала бояться за свой дом и уж хотела идти домой выбирать и выносить более ценное имущество, как вдруг столб пламени наклонился в сторону дома Аксенова, медленно расползающиеся в небе клубы дыма быстро заволновались и понеслись на юго-восток: подымался ветер.

— Господи, спаси и помилуй! — невольно вырвалось у нас с теткой. Хотя при этом направлении ветра наш дом и оставался в безопасности, но дом Аксенова подвергался страшной опасности. Народ загудел и заволновался; бочки с водой и машину провезли обратно по огороду, чтоб, обогнув угол, поставить их с подветренной стороны. И так как нам из-за горящих служб дом не был виден, то мы спустились с рассадника и, успокоившись за свой дом, побежали в переулок и, тоже обогнув угол, остановились у ворот какого-то дома, почти напротив дома Аксенова. Дом Аксенова состоял из двух половин: одной новой, в которой еще не была сложена печь, хотя все остальное было уже вполне устроено, и старой — жилой. Жилая половина находилась ближе к горящим службам, и когда поднялся ветер, то клочья горящего се-

на, головни и угли осыпали ее, точно огненный дождь. Но, несмотря на этот огненный дождь, по углам избы и по лестнице, приставленной к крыше, быстро взбирались рабочие, растягивали по крыше мокрую парусину и лили воду, которую в ведрах подавали стоящие на земле стоявшим на лестнице, а те передавали далее на крышу. Из выбитых окон старой половины рабочие выбрасывали домашнюю рухлядь и вместе с ней высадили в окно Христофора, который с испугу забился на полати. В руках у него, однако ж, был какой-то узелок. Христофора перенесли через улицу и посадили на завалинку неподалеку от нас. Жена Аксенова, громко охая, бегала по улице взад и вперед; за ее платье держались двое плачущих ребятишек. Сам Аксенов мелькал в отворенных окнах новой пристройки и то выбрасывал в окна, то передавал стоящим у окон свои инструменты и модели.

— Ой, разоримся мы, во корень разоримся! — причитала жена Аксенова. — Спасите, батюшки, спасите, помогите!

Кто-то выбил раму в новой половине, и стекла со звоном посыпались на землю.

— Не бей рамы! Для чего бьешь рамы! — закричал зычным голосом Седов. И, нагнувшись с краю крыши, он не велел вынимать рамы.

— Да ведь сгорит же! — кричали ему из толпы.

— Ну, пока еще не горит, так ты не ломай. А, может, бог пристанет, так и отстоим, — ответил Седов.

— Ну, где уж отстоять! Машины не действуют, а ветер все сильнее да сильнее становится. Вишь, как жарко стало! — говорили в толпе.

И в самом деле, даже нам, стоявшим через улицу, становилось жарко, хотя мы стояли южнее, а ветер клонил на юго-восток. Бабы в соседних, находящихся под ветром домах с воем и причитаниями таскали свои пожитки в безопасные места. Скоро жар стал так велик, что стоявшие на старой половине дома рабочие, сильно осыпаемые дождем искр, должны были перебраться на новую и перетянули за собой быстро высыхавшую и даже местами загоревшую парусину. Крыша на старой половине загорелась.

— Роняй крышу баграми! — закричал Седов, все еще стоявший среди дыма и огня на старой крыше. — Эй, ребята! Берись за багры живее!

Десятки рук схватились за багры. К ним присоединились и те, которые уже ранее действовали баграми, стараясь разворочать горевшие службы, и дружно уцепились за желоб. Он затрещал и рухнул под напором сильных рук. И в то же время сама собой рухнула крыша на службах. Целый сноп искр и головней взлетел кверху и, подхваченный ветром, был переброшен на дом; и даже длинные языки пламени неслись с ветром и лизали загоревшееся крыльцо и старые почерневшие стены. Руками и ногами сталкивали рабочие головни с крыши и усиленно плескали воду, которую бегом подносили бабы и под-

возили в бочках на пожарных лошадях. На некоторых из рабочих загорались шапки, тогда их быстро схватывали с головы, мочили в ведре с водой и снова нахлобучивали на голову.

— Разворачивай крышу-то! Разворачивай проворнее, ребята! — кричал Седов. — Да отделись половина и рони стены у служб, чтоб меньше искры-то было.

— Ступай на огород, ребята! Там с наветренной стороны ловше будет, — скомандовал кто-то, и кучка рабочих отделилась и убежала на огород, а стоявшие на улице таскали баграми доски крыши и заливали их на земле. Из окон старой избы несколько раз показывался дым, но туда был направлен рукав машины и действовал довольно успешно. Между тем, забежавшие с огорода рабочие зацепились баграми за углы уже сильно прогоревших служб, дружным натиском обрушили заднюю стенку, а передняя и боковые рухнули сами. Снова поднялось облако искр и, кружась, разнеслось далеко по улице. Все домохозяева, дома которых находились под ветром, с ведрами воды в руках и мокрыми вениками бегали по навесам над службами, ползали по крышам домов, сметали и тушили искры. Когда искры стали расползаться по земле, народ спустился с крыш и принялся помогать заливать горящую кучу бревен. Ребята и женщины с вениками и ведрами воды с криком гонялись за искрами, разносимыми ветром. Скоро смотреть стало нечего, и мы пошли домой. Тетка велела Христофора пе-

ренести к себе: костыли у него пропали где-то или сгорели, и он стал совсем беспомощный калека, едва ползающий по земле. Когда его повели, я взяла у него из рук узел и увидала, что тут завернуты сапоги и псалтырь, составлявшие, как видно, все его имущество.

Дома дедушка и Володя уже лежали в постелях; дедушка встретил нас ворчанием, но мы не обратили на него внимания и улеглись поскорее спать.

Я проспала всю обедню и, должно быть, проспала бы еще больше, если б не забежавшая после обедни Марянка не разбудила меня. Она сообщила прежде всего, что ее брат на пожаре опалил себе волосы, бороду и щеку, а дядя сильно обжег руки.

— Да и не один мой дядя руки-то обжег, а и многие, — добавила она.

Я выразила мое удивление бесстрашию и энергии мастеровых.

— Да они и сами-то теперь дивуются, — ответила мне Маряна, — как им господь пособил против такого ветра. А как вы ушли, так после вас еще в двух местах загоралось, да, слава богу, вовремя увидали и погасили. И теперь ведь все еще похаживают около пожарища-то. Под грудой углей, должно быть, все еще не погасло.

Только что я оделась и села за чайный стол, как снова зазвонили в набат.

— Господи, да что же это такое! — закричала я в испуге, бросаясь к окну; но в окно ничего не было видно. Мы выбежали на крыльцо, на улицу и там от мимо бегущих

узнали, что загорелось что-то на фабриках: не то сторожка, не то чертежная. Это было довольно далеко от нас и вообще от всех обывательских домов, и потому мы успокоились и вернулись пить чай.

— Погасят скоро. Еще чуть дымок появился, а уж звонят. А вчера тогда звонили, когда уж совсем обнялось.

Однако ж набат не умолкал, и мы все-таки не могли сидеть спокойно, а взобрались на чердак и оттуда увидали, что пожар все усиливается и густые, черные клубы дыма уже прорезывались огненными языками.

— Пойду я, сбегаю, поближе посмотрю, — решила Марянка, когда мы спустились с чердака.

— Ведь ты обязана с ведрами являться на пожар, — сказала я ей.

— Это я когда господский хлеб ела, так тогда была обязана, а теперь не обязана, — ответила она.

— Однако я видела, что ты вчера очень усердно таскала воду.

— Уж так таскала, так таскала, что сегодня инда крыльца разломило, — сказала Марянка, передернув плечами. — Постаралася для Аксенова, нечего сказать! А сегодня хоть бы все фабрики запластали, так и ведра не принесу.

— Чем же они тебе досадили? — рассмеялась тетка.

— Мало ли чем! Всем. Дедушка на их всю жизнь робил, а умер ныне, так бабушке ни пуда хлеба не положили, хоть по миру кор-

мись. Покосы отбирают, поземельные взыскивать хочут!.. Так им и надо, пусть горят... Пусть бедных людей не обижают. И смотреть не пойду!

И Марянка, хотевшая идти и все время державшаяся за скобу, вернулась и села на стул. Тетка смеялась. Но набат гудел не умолкая, и Маряна все-таки не вытерпела и ушла.

— Только погляжу и забегу вам сказать! — крикнула она нам, уходя. Мне тоже хотелось идти, и я было звала тетку, но она не согласилась.

— Народу много сегодня, Софья, осудят еще нас с тобой, что мы все по пожарам бегаем.

Вечером уже зашла Марянка и еще кое-кто из знакомых и сообщили, что народу на пожаре было очень мало и оттого чертежная сгорела вся; что и те, которые были на пожаре, действовали крайне вяло и неохотно, а больше стояли толпой и глядели, как чертежная горит, и только пьяные совались к огню, и одного даже придавило обрушившейся балкой. Сообщили еще, что заводский управитель сначала кричал и ругался, потом уговаривал мастеровых действовать поэнергичнее и получил в ответ, что они согласны качать воду на машинах, но лезть на горящее здание никто не согласился. А машина была только одна, да и то плохая. И еще, что главноуправляющий очень недоволен мастеровыми.

— Хорошо, что чертежная стояла между кирпичными, крытыми железом строениями и далеко от склада дров. А то, если бы дрова

загорелись, беда, сколько было бы убытку, — заключил рассказывавший.

— Как же вчера они вели себя такими героями — ведь почти в огонь лезли? — простодушно удивлялась я. — Что же сегодня-то так?

— А оттого и так, что недовольны: за покосы свои да за то, что усадьбы велят выкупать, сердиты очень. Коли, говорят, помещик нам помощи не оказывает, так нам что из кожи-то лезти.

— Вчера старались для своего брата — мужика, — сказала Маряна. — Ведь я знаю то, что если я для него постараюсь, так и он для меня постарается в случае беды...

— А на обеде так, верно, все были, — сказала тетка.

— Нет, и на обеде народу было против прошлых годов только вполовину.

Посетители потолковали еще о начинающихся распрях и скоро ушли, приметив, что тетка не в духе. А не в духе она была потому, что ни дедушка, ни Володя до вечера не появлялись домой. Дедушка пришел уже поздно вечером и очень пьяный, но одежда была на нем вся. Володя пришел уже ночью и, кажется, тоже не в лучшем состоянии.

Вскоре после этого мы узнали, что мастеровые отказались выкупать усадьбы и подписывать уставные грамоты, что они хотят не в шутку тягаться с помещиком и нанимают себе поверенного хлопотать по своим делам.

Поверенный этот служил прежде у помещика чем-то вроде землемера: он отводил места

для постройки домов мастеровым, он же указывал им, где они могли расчищать себе покосы, и служил межевым поверенным в спорах о межах с управлениями соседних помещиков. Он знал все клочки земли, которыми пользовались мастеровые, как свои пять пальцев, хвалился знанием законов, и вот мастеровые начали прибегать к нему за советами и указаниями. Управление, узнав о том, что Первушин (так была фамилия поверенного) принимает мастеровых у себя на дому, разговаривает с ними и дает им советы, сделало ему сначала резкий выговор и вскоре отказало от службы. Тогда колебавшийся еще Первушин вполне перешел на сторону мастеровых. Они заключили с ним условие и положили ему жалованье вдвое больше против того, какое он получал прежде от управления. Мастеровые надеялись на Первушина как на каменную гору. Они совсем были уверены, что им отдадут усадебные наделы безвозмездно, как это было сделано у других помещиков, и не только усадьбы, а и покосы, и все те луговины, сеном с которых они пользовались сыздавна, поступят в их полную собственность. Они стали смело, а иногда и грубо поговаривать с теми из начальников, которых подозревали в нерасположении к себе, иногда самовольно брали себе лишний день праздника, но все-таки не отказывались от работы совсем и не позволяли себе ничего лишнего.

VI. ИМЕНИНЫ

Осенью, в ноябре, кажется, я встретилась как-то с Анной Петровной, и она пригласила меня придти к ней во вторник, сказав, что тогда Михаил Васильевич именинник, но гостей у них много не будет, а будут только немногие хорошие знакомые.

В назначенный день, часов в шесть, я пришла и застала именинника и его семейство за чаем. Кроме них, тут был еще брат Анны Петровны, Александр Петрович, высокий молодой человек, лицом очень похожий на сестру, но сильно сутулый, со впалой грудью и чахоточным цветом лица. Летом он не жил в Кужгорте, и потому я его раньше никогда не видала. Он любезно раскланялся и поспешил поставить мне стул к чайному столу.

— Так ты никого не ожидаешь сегодня? — сказал Александр Петрович, обращаясь к сестре, и, видимо, продолжая начатый до меня разговор.

— Да кого ж ожидать-то? Никого, кроме Цешковского с женой.

— А я видел Александру Ивановну, и они собирались к тебе приехать.

— Ну что ж! Приедет, так милости просим.

— Еще Игнатьев хотел быть...

— Ну, этот уж не к нам, а к тебе, — перебила Анна Петровна. Александр Петрович жил у них.

— Минейские тоже, кажется, будут.

— Да, — сказал Михаил Васильевич, — я видел сегодня Аглаечку и приглашал ее.

Анна Петровна с комичным неудовольствием слегка вздернула плечами.

— Вот охота была! Если придут, так ты и изволь их занимать.

— Что ж! Я от этого не отказываюсь, — рассмеялся Михаил Васильевич. — Аглаечка мне даже нравится.

— Ты не заботься о том, чтобы их занять: они найдут себе занятие. Только надо позаботиться об ужине, — сказал Александр Петрович.

— Ну, об этом я уже позаботилась немного.

Стукнула дверь в передней, и затем послышался шорох снимаемой верхней одежды: кто-то пришел. Михаил Васильевич взял свечу и пошел навстречу. Вскоре он возвратился в сопровождении высокого блондина лет тридцати, с крупными чертами лица, длинным носом и глубоко сидевшими в орбитах небольшими серыми глазами. Это был Степан Иларионыч Первушин, поверенный и ходатай по делам общества мастеровых. Он зашел по какому-то делу к Александру Петровичу и, узнав, что как раз попал на именины, очень извинился. Но Анна Петровна и Михаил Васильевич любезно возразили, что они очень рады его видеть, и, пригласив его сесть к чайному столу, спросили сначала о здоровье жены, потом о делах.

— Да что, вот надо в город ехать. Взялся за гуж, не говори, что не дюж, — сказал Степан Иларионыч. — Не знаю, как мне бог поможет, а надо бы что-нибудь сделать. Я действую на законном основании и думаю, что

пора бы уж правому делу торжествовать над неправым.

— Да. И, вероятно, оно восторжествует с вашей помощью, — сказала Анна Петровна.

— И надеюсь, — заговорил Степан Иларионыч. — Если б я не надеялся, то и не брался бы за это дело. Вся штука в том, чтоб дойти до самых высших инстанций и раскрыть перед ними все гнусные дела управления. Ведь зло терпится только потому, что оно не известно, не доведено до сведения. Что могут сделать сами мужики? Народ такой забитый, они ни слова сказать, ни ступить не умеют. Помните вы, у Некрасова есть стихотворение, тут, в конце первого тома? Ах, забыл вот, как оно называется. — И Степан Иларионыч приложил руку ко лбу, стараясь вспомнить. — А отлично там все это выражено, — прибавил, качнув головой. — Вот только припомнить никак не могу.

— У меня есть первый том, — сказала Анна Петровна, — не хотите ли, я вам принесу его?

И, не дожидаясь ответа, она встала и убежала в другую комнату.

— Вот он! — сказала она, возвращаясь через минуту и подавая непереплетенный и порядочно растрепанный томик стихотворений Некрасова.

Степан Иларионыч, послюнив палец правой руки, начал отыскивать стихотворение.

— Вот это самое, — сказал он и стал довольно медленно и с запинкой и даже отчасти нараспев читать «Размышления у парадного подъезда». Несмотря на несколько смешную

манеру чтеца, мы слушали его с большим интересом. Нам с Анной Петровной нравилась и казалась выходящей из общего уровня личность чтеца, а его мужественная решимость действовать вопреки пословице «С богатым не тяжись, с сильным не борись», — пословице, возникшей, вероятно, из опыта народа, интересы которого он брался защищать, — казалась заслуживающей удивления. Я тихонько взглянула на Михаила Васильевича и Александра Петровича, чтобы подметить, какое впечатление производит на них чтение Первушина. Михаил Васильевич качался вместе со стулом, добродушно и одобрительно улыбаясь; Александр Петрович теребил усы, и мне показалось, что улыбка, скользившая по его губам, была не без примеси иронии. Снова стукнула дверь в передней, и Михаил Васильевич вскочил и убежал навстречу вновь прибывшим. Это были две барышни Минейские и их маменька. Барышни были обе высокого роста, а старшая, державшая голову необычайно прямо и имевшая манеры и походку солдата, показалась мне великаншей. Старшую звали Любочкой, а младшую, имевшую несколько более приятные манеры, Аглаечкой. Их маменька, низенькая, довольно полная и очень сутулая особа с маленьким личиком, обрамленным тюлевым чепцом с зелеными лентами, рассыпалась в поздравлениях и пожеланиях всевозможных благ имениннику и его супруге. Около чайного стола становилось тесно, и Анна Петровна попросила собравшееся общество в гостиную, куда

вновь прибывшим подали чай. Вскоре общество прибавилось еще: приехал доктор Цешковский и его жена, худенькая, очень живая брюнетка с розовым личиком и блестящими темными глазами. Наружность доктора была типична настолько, что каждый при первом же взгляде мог определить, к какой нации принадлежал он; а также и произношение некоторых слов на польский манер обнаруживало как его происхождение, так и недостаточное знание русского языка. На некоторое время он и его жена овладели общим вниманием и разговором. Александр Петрович и Первушин ушли в залу и, прохаживаясь там, о чем-то тихо говорили. А потом Первушин простился и, несмотря на убеждения хозяев провести у них вечер, ушел, извиняясь, что он совсем забыл об именинах, а то бы и не зашел совсем. Старуха Минейская подсела ко мне и стала расспрашивать о моем отце и всех наших алакшинских знакомых, которых она знала, в свою очередь рассказывая мне о наших знакомых в Куморе, где она была недавно. В зале послышалось какое-то необычайное движение и суматоха; Анна Петровна поспешно вышла. Я взглянула туда и увидала, что из передней входило в залу целое общество, состоящее из нескольких дам и мужчин. Невысокая и довольно полная, недурная собой брюнетка, вся проникнутая чувством собственного достоинства, высоко подняв голову и в то же время благосклонно улыбаясь, шла по зале. Это была Александра Ивановна, супруга отца Петра, священника, пользовавше-

гося особым расположением мастеровых. Но сама Александра Ивановна любила разыгрывать роль большой барыни, хотя, несмотря на все старания, разговором своим все-таки напоминала торговку. Она была из купеческого сословия. Возле нее шла ее дочь, хорошенькая девочка лет тринадцати, делая ловкие и грациозные реверансы направо и налево. За ними — высокая и стройная красавица, прелестное личико которой увенчивалось роскошными пепельными волосами, красиво причесанными, а туалет показывал, что ее платья шила городская модистка. Александр Петрович был возле нее, и по его необычайно просиявшему лицу я поняла, что он очень восхищен приездом этой, как видно, неожиданной гостьи. От этой группы я перевела свои глаза к группе мужчин, остановившейся при входе в залу и к которой уже успел присоединиться доктор. Там было двое вновь прибывших, из которых одного я знала: это был Игнатьев, секретарь правления. А другой — высокий блондин с красивым открытым лицом, имевшим в себе нечто общее с лицом красавицы, — был мне незнаком. После я узнала, что это был ее брат, что они родственники Александре Ивановне и приехали к ней погостить. Как только Александра Ивановна заняла подобавшее ей почетное место в гостиной на диване, она тотчас подозвала меня к себе, критически осмотрела с ног до головы и выразила любезное одобрение и моей наружности и моему туалету. Затем сообщила, что она знала мою мать и очень рада видеть меня.

— Что это! Что это! Какая ты большая выросла! — громко удивлялась Александра Ивановна, всем говорившая «ты». — А давно ли, кажется, я видела тебя вот такую махонькую! — и она показала рукой с аршин от полу. — Вот ведь как время-то летит! Страх как летит!..

— Уж и не говорите! Просто не успеешь оглянуться, как уж день прошел, — подтвердила Минейская.

— Да, да! — согласилась Александра Ивановна. — Страх как быстро идет время. Вот я вам скажу, в чем сегодня у меня день прошел...

И она начала громко повествовать о том, как прошел ее день. Я заметила, что Анна Петровна хлопотала что-то в столовой, и вошла к ней.

— Сколько у вас гостей-то собралось! — сказала я ей. — А вы говорили, что никого не будет.

— Да я совсем не ожидала. Мы ведь никого не приглашали, — сказала мне вполголоса Анна Петровна, укладывая на поднос яблоки, орехи и конфеты. — Я в страшном затруднении: не знаю, чем их накормить. Тут еще брат за музыкантами послал. Этим я, впрочем, довольна — барышни хоть танцевать будут, а то что бы они стали делать? И вы потанцуете, — прибавила она, любезно улыбнувшись мне.

Я выразила ей мой страх, что буду неловкой танцоркой и слишком просто для того одета, но Анна Петровна успокоила меня тем,

что я одета к лицу, а танцуют-то ведь и все не бог знает как. И Анна Петровна, отправив какую-то девочку подавать десерт, прошла со мной в залу, где прибавилось еще двое молодых людей. Барышни прохаживались взад и вперед, смеялись и разговаривали. Явились музыканты и по просьбе красавицы-блондинки, которую звали Раичкой, прежде всего заиграли польку. Начались танцы. Я сидела в уголке и, несмотря на усиленные просьбы кавалеров, не решилась пойти танцевать. Собравшееся общество казалось мне слишком блестящим, и я чувствовала, что робею и смущаюсь все более и более. Особенно увеличилось мое смущение, когда я заметила, что брат Раички, поместившийся за стулом Александра Петровича, игравшего первую скрипку, почти не сводит с меня глаз. В душе я завидовала Минейским, которые, хотя и не совсем грациозно, но весело и свободно прыгали в польке. Однако ж, когда меня пригласили на кадриль, я не отказалась, хотя пригласивший меня был Игнатьев, к которому я в последнее время стала чувствовать антипатию. Мне не нравился его приторный теноровый голос, не нравились его маленькие карие глазки, покрывавшиеся маслом каждый раз, как он смотрел на меня, казалась противной улыбка его тонких губ, из-за которых виднелись длинные черные зубы. И вся его фигура, нимало не подходившая под описание героев в наиболее любимых мною романах, казалась мне пошлой и неприятной, и я не без удивления увидела, что доктор, любезно поздоровав-

шись, вступил с ним в разговор, продолжавшийся все время, пока танцевали польку. Судя по всему, что я слышала о докторе, я предположила, что он очень умен, образован и настолько горд, что не сведет знакомства с пустыми и пошлыми людьми. Когда начали танцевать кадриль, я спросила у Игнатьева, о чем он с таким одушевлением разговаривал с доктором. Игнатьев посмотрел на меня со своей хитрой улыбкой, принявшей на этот раз еще оттенок какого-то самодовольства.

— А вам зачем же это хочется знать?

— Не за чем особенно, и если это секрет, так я и совсем не желаю знать, — ответила я с неудовольствием на самое себя и за свой вопрос и за то, что не сумела отказать Игнатьеву и пошла с ним танцевать.

— Никакого секрета нет, только разговор был о делах, не интересных для барышень, — сказал Игнатьев с улыбкой. — А по-моему, с барышнями следует говорить только о приятных и интересных предметах.

— Ну, так извольте начинать, я слушаю.

— Вот изволите видеть, я такой человек, который порядок во всем ценит выше всего. Потому порядок — это главное в жизни. Я, видите ли...

Но тут разговор оборвался, так как настала очередь нам делать фигуру. Я было надеялась, что мой кавалер забудет приятный и интересный предмет разговора и заговорит о чем-нибудь другом, но не тут-то было.

— Я, видите ли, — снова начал Игнатьев, когда мы сели, — люблю, чтоб все было на

своем месте: мужчины пусть занимаются своими делами, женщины — своими. Этак, знаете ли, гораздо удобнее... Мне всегда бывает приятно видеть женщину, занятую рукодельем каким-нибудь или домашним хозяйством. Это, знаете ли, так к ней идет...

— А кроме рукоделия и хозяйства, женщине уж ничем нельзя заниматься? — спросила я.

— Да чем же ей заниматься-то! Ну, конечно, можно иногда почитать что-нибудь, но я, знаете ли, не люблю, когда женщины, особенно барышни, много читают. Набивать свою голову романами, — это, как вы хотите, по-моему, это даже вредно и... право, даже немножко глупо.

Намек был слишком прозрачен, и я невольно рассмеялась, вставая делать следующую фигуру кадрили.

— Что же вам смешно-с? — спросил мой кавалер, когда мы сели.

— Ничего. Всякий волен иметь свой взгляд на вещи, а я читать очень люблю, что вам, конечно, известно. И вот вместо того, чтобы говорить мне приятные и интересные вещи, как вы хотели, вы порицаете мои поступки и притом так грубо.

— Ах, какие вы! Вот вы уж и обиделись! — заволновался Игнатьев.

— Нисколько я не обиделась, — перебила я его. — Вы видите, я смеюсь. Мне только странно, почему вы думали, что барышням интересно и приятно выслушивать ваши замечания на их счет и ваш взгляд на вещи?

Игнатьеву это не понравилось, однако он любезно улыбнулся и сказал:

— Я совсем не имел желания говорить вам неприятности, и это уж так вышло от моей неловкости. Да и опять почему же и не говорить правды? Ведь правда должна быть прежде всего.

Снова наступила наша очередь делать фигуру, и разговор опять прервался.

— Вы разве не любите правды? — спросил меня Игнатьев, когда мы возвращались на место. Я опять улыбнулась.

— Не люблю, — сказала я. — Правду весьма неудобно говорить.

— Вот как! — заерзал Игнатьев на месте. — Я этого не ожидал. Значит, не любите и тех, кто говорит правду?

— За что́ их не любить? — ответила я. — Правду выслушивать гораздо удобнее, нежели говорить. — И встала, чтобы сделать следующую фигуру.

— Почему же? Мне кажется, это все равно, — снова заговорил Игнатьев по окончании фигуры.

— Для меня это составляет разницу: тогда часто приходилось бы говорить неприятности своим знакомым, а я не желаю быть неделикатной.

Кадриль кончилась, и я поспешила уйти. Все время, пока я танцевала, я примечала, что глаза высокого блондина часто следят за мной, и мне это было неприятно. На следующую кадриль он пригласил меня. На этот раз разговор наш был совсем в другом тоне.

Владимир Иванович — так звали высокого блондина — спросил меня, как нравится мне общество в Кужгорте и с кем я лучше сошлась. Я отвечала, что, кроме Анны Петровны, я не имею никаких знакомых и нигде, кроме церкви, не бываю, — следовательно, и не могу судить о кужгортском обществе. Затем я как-то проговорилась, что люблю читать, но часто невозможность достать книг заставляет меня отказывать себе и в этом удовольствии. Владимир Иванович тотчас же предложил мне свои книги, сказав, что он с большим удовольствием поделится со мной тем, что имеет, и что, если я желаю, то некоторые из его книг, как-то: два тома Жуковского и один том Гоголя — могу получить хоть сейчас же, так как эти книги находятся у Александра Петровича. Я, разумеется, поблагодарила и приняла предложение с большим удовольствием. Несмотря на то, что я много читала, я была мало знакома с нашими лучшими писателями и поэтами, так как в кужгортской библиотеке, изобилующей переводными романами, их не было, а в Алакшинском заводе, кроме газет и журналов, ничего не выписывалось, и только «Горе от ума» и несколько томов сочинений Пушкина я случайно открыла там у одного знакомого.

— Когда вы прочтете эти книги, то возвратите их Александру Петровичу, а я через него же доставлю вам другие, — сказал мне Владимир Иванович. — Что прежде всего вы желаете получить? У меня есть Пушкин, Лермонтов, Некрасов...

— Некрасова я читала, — перебила я, — Пушкина тоже.

— Гоголь, Тургенев, Гончаров, — продолжал называть Владимир Иванович.

— Вот я не читала ни «Мертвые души» Гоголя, ни «Тараса Бульбу», — созналась я и покраснела за свое невежество.

— «Тараса Бульбу» вы и получите от Александра Петровича, а «Мертвые души» я вам пришлю.

— Прибавьте к ним еще стихотворения Лермонтова, — попросила я.

— Очень хорошо. Не хотите ли, я доставлю вам его «Демона»? Он есть у меня рукописный.

— Ах, пожалуйста, — сказала я, не скрывая своего удовольствия.

— Кроме того, у меня есть Белинский, — сказал Владимир Иванович.

Я выразила желание перечитать все, что у него было.

— Вообще, если вы не откажетесь снабжать меня книгами, то вам придется перевозить сюда всю свою библиотеку, — сказала я.

Кадриль давно уже кончилась, а мы все сидели и говорили, то есть говорил Владимир Иванович, а я слушала. Он вздумал познакомить меня с содержанием «Обломова», которого я тоже не читала, и я слушала с большим интересом, почти не отрывая глаз от красивого лица говорившего, и, хотя мои глаза часто встречались со взглядами его прекрасных блестящих глаз, я не смущалась более, а, напротив, чувствовала себя все смелее

и смелее. Я была так довольна и заинтересована, что совсем не примечала, как все обратили внимание на продолжительность моего разговора с человеком, которого я в первый раз вижу; как Минейские, расхаживая по зале, кидали на меня насмешливые взгляды; как Игнатьев ерзал на стуле напротив нас и неодобрительно пожимал плечами, и только после узнала обо всем этом от Анны Петровны. Мы просидели, разговаривая, все время, пока танцевали сменившие кадриль и польку и вальс, потому что ни я, ни Владимир Иванович не танцевали легких танцев. А на следующую кадриль ко мне подошли разом два кавалера: Игнатьев и Цешковский. Я отдала предпочтение последнему, сказав Игнатьеву, что с ним я уже танцевала. Он уступил, любезно улыбнувшись, но я видела, что ему это неприятно.

— Что поделывает отец Федор? — спросил меня Цешковский.

Отец Федор был дьякон в том заводе, где жил мой отец, большой чудак и кутила, считавший своей обязанностью знакомить с своей оригинальной личностью всякого заезжего человека.

— Я не знаю, — ответила я улыбнувшись, — ведь я уж более полгода, как уехала из Алакшинского завода.

— А! Ну, в таком случае я был там после вас и могу сказать вам, что он сочинил кадриль из русских песен да выстроил коптильню и коптит окорока.

Я засмеялась.

— И что же у него выходит лучше?

— О! Окорока, несомненно, лучше, — улыбаясь ответил Цешковский. — Впрочем, я не отрицаю его музыкальных способностей и отдаю ему полную справедливость, когда он сидит с виолончелью, спустивши рясу с одного плеча, и поет:

Мне поп грозит припаркой,
А сам сидит за чаркой
Да тянет чай с кизляркой
Соблазнительно!..

— Это так у него мило выходит, что, право, если б он не был так красен и гадок и если б от него не пахло постоянно, как из винной бочки, я бы поцеловал его.

Я улыбнулась и согласилась, что песенка хорошо у него выходит и без смеха его видеть и слышать невозможно.

— Я думаю, что если б не эта курьезная личность, — продолжал Цешковский, — то жители Алакшинского завода давно бы все умерли от скуки. Признаюсь, я никак не ожидал, что этот завод, источник всего богатства заводовладельца, — такая жалкая трущоба. Когда я ехал туда в первый раз, я думал встретить там бог знает что и был очень удивлен, найдя небольшое количество жалких домишек, расположенных по бокам какой-то грязной ямы.

— Вы, вероятно, были осенью, — сказала я, — и потому завод произвел на вас такое неприятное впечатление, и, вероятно, не видали его живописных по своей дикости окрестностей.

— Я был уже там несколько раз и, признаюсь, всегда бывал рад уезжать из него. Эти дикие красоты мне никогда не нравились, и вообще я так же равнодушен к красотам природы, как и к музыке.

Я несколько удивилась, но подумала, что доктор говорит так шутки ради, и сказала, что не понимаю, как можно не восхищаться хорошим видом и не любить музыки.

— Я прежде всего люблю хорошее жилище, комфорт, вкусные кушанья, красивых женщин, — говорил Цешковский. — Конечно, если бы из окна моего дома я мог видеть хороший ландшафт, то я не прочь бы поглядеть на него после обеда, но чтоб карабкаться по какой-нибудь жалкой тропинке на крутую гору с опасностью сломать себе шею, для того чтобы разом увидать возможно большее количество гор и оврагов, — нет, слуга покорный, на это я не согласен.

— Но ведь это показывает в вас полнейшее отсутствие поэтического чувства, — сказала я с некоторым сожалением.

— И отлично! Поверьте мне, что все эти поэтические чувства сущий вздор, и часто еще вредный вздор! Терпеть не могу все эти поэтические произведения; я признаю только один род их: это мадригалы красавицам и сожалею, что не умею сочинять их. Если б умел, я написал бы мадригал и поднес его вам, — закончил Цешковский свой разговор со мной.

Нужно ли говорить, что мне было так весело, как никогда не бывало раньше, и что

вечер пролетел для меня незаметно. В два часа подали ужин. После ужина у мужчин явилось желание петь, а барышни, по инициативе Раички, затеяли святочные игры. Последняя из этих игр, называвшаяся «рекрутский набор», была особенно шумна и весела. Игра состояла в том, что кавалеры и дамы, участвующие в ней, расходились в разные комнаты и дверь запиралась. Дамы уговаривались между собой в выборе кавалеров; затем одна становилась к дверям и впускала кавалеров по одному. Войдя, он должен был угадать, какая дама его выбрала, и поклониться ей. Если кавалер угадывал, он оставался в комнате, нет — тогда дамы начинали хлопать в ладоши, стучать ногами, шикать и таким образом прогоняли не угадавшего.

Когда мужчины пошли из залы в гостиную, Игнатьев сказал мне с своей противной, приторной улыбкой:

— Я надеюсь угадать.

Но когда стали выбирать, то мне, даже не спросив меня, кого я желаю, предложили выбрать Владимира Ивановича, на что я согласилась, нисколько не скрывая своего удовольствия. Игнатьев вышел один из первых, поклонился мне и остался с носом. Пожав плечами, покачав головой, он медленно возвратился в гостиную, сопровождаемый невыразимым шумом. В гостиной остальные мужчины пели бравурную солдатскую песню, из которой у меня осталось в памяти только следующее:

К Эриванской крепости
Шли минуту с днем;
Крикнули, ударили,
Понеслись на брань;
И в минуту с четвертью
Взяли Эривань!..

Когда же пришел наш черед угадывать, я смело остановилась против Владимира Ивановича и — о ужас! — не угадала. Я закрыла лицо руками и бегом умчалась из залы. После этого я вставала перед всеми без разбору и перед Игнатьевым встала после всех.

— Очень же вы недогадливы, — сказал он мне с злой улыбкой, — это вы должны были сделать прежде всех.

— Я не мог вас выбрать потому, что Игнатьев предупредил меня и ни за что не хотел уступить, — шепнул Владимир Иванович, прощаясь со мной и крепко пожимая мою руку.

Я возвращалась домой, почти прыгая от восторга. Я несла с собой три книжки, которые, несмотря на позднее время, заставила Александра Петровича отыскать и вручить мне, а перед глазами у меня носилось красивое, открытое лицо с блестящими смелыми глазами, в ушах все еще звучал сильный, мужественный голос: «Крикнули, ударили!..»

VII. РЯД ДОНОСОВ И ГОНЕНИЙ

На другой день после именин Михаила Васильевича я чуть не поссорилась с теткой. Игнатьев насплетничал на меня Володе, что я неприлично держала себя в гостях, строила

глазки и кокетничала с человеком, которого видела на именинах в первый раз. Это было еще и потому нехорошо, говорил Игнатьев, что господин этот стоял, по его мнению, неизмеримо выше меня и я, следовательно, никак не могла рассчитывать на него как на жениха, что я слишком много думаю о себе, если воображаю, что по меня поедут такие женихи, и было бы гораздо разумнее, если бы я вела себя поскромнее и не отталкивала бы от себя хороших людей излишней бойкостью; что он, видя меня в кругу людей незнакомых, хотел быть моим руководителем на этом вечере, но, видя, что это мне неприятно, он должен был оставить свои благие намерения. Володя, возвратившись из правления, прежде всего передал это тетке из слова в слово. Та, несмотря на неоднократные намеки Володи, за обедом не сказала мне ни слова. Но вечером, после чаю, когда Володя ушел и мы остались с ней одни, тетка вдруг разразилась целым потоком упреков и обвинений и описала мое вчерашнее поведение такими мрачными красками, что, вероятно, и я бы пришла в ужас, если б не была до крайности удивлена всем этим.

— Боже мой, тетушка, да что вы это такое говорите! — воскликнула я, наконец, придя в себя от удивления. — Кто вам сочинил все это?

Тетка рассказала все, что Володя слышал от Игнатьева.

— Вот подлец-то! — выругалась я, вскакивая с места в порыве негодования. — Вот

ехидный-то человек. Да с чего он вообразил, что я стану подчиняться его руководительству? Какое он право имеет на это! Ах он баба-сплетница! Ну, пусть он только придет к нам!

— Да теперь он к нам и не придет, — сказала тетка. — Ухаживать за тобой после такой истории уж не станет.

— И прекрасно! Очень рада буду! Меня тошнит от его ухаживания, — горячилась я. — Противный, пошлый!

— Образумься, — сердито сказала тетка. — У Игнатьева дом как полная чаша; отец-то его копил, и мать-то копила, да еще и дедушкина-то добра сколько. Жених всем на зависть! А ты что? Бесприданница! На красоту-то свою слишком не надейся...

— Ну и пусть он сидит в своей полной чаше со своим добром, а мне его не надо.

— Да ты на что же надеешься-то? — приставала ко мне тетка. — Чего же ты ждешь?

— Ни на что я не надеюсь и ничего не жду, — заговорила я грустно, — только замуж не пойду ни за Игнатьева, ни за кого такого, кто мне не нравится.

— Это, значит, как в романах — непременно по любви хочешь выйти, — иронически улыбнулась тетка. — А на Белова (это была фамилия Владимира Ивановича) ты не рассчитывай: у него отец и мать люди капитальные, гордые и невесту станут искать с капиталом.

— Ах, господи! Да с чего это взяли, тетя, что я так и собралась выходить за него замуж! Уж неужели нельзя было поговорить с

человеком так просто? И говорили-то мы все о книгах, и он еще мне три книги дал.

— Да он их с собой, что ли, возит? — проговорила тетка, начиная смягчаться несколько.

— Не с собой, а они были у Александра Петровича: Владимир Иванович предоставил мне взять их от него и еще хотел привезти.

Тетка взглянула в одну из книг на столе.

— Ну, я до стихов не охотница, — сказала она, с неудовольствием отталкивая книгу.

— Не все ведь стихи, тетя, — вот посмотрите-ка, здесь-то что! Ведь это «Тарас Бульба»! Помиримся, тетя, голубушка, и будем вместе читать, — ластилась я. — Я нарочно эту книжечку приберегла к вечеру. Не браните меня больше. Я лучше буду у вас вместо Марянки пол мыть и воду носить, а за Игнатьева не пойду.

Тетка рассмеялась; сердитая морщинка между бровей разгладилась, и я в восторге принялась тормошить ее и покрывать поцелуями ее лицо. Далеко за полночь просидели мы в этот вечер за чтением «Тараса Бульбы». С разгоревшимся лицом, захлебываясь от волнения, прерывающимся голосом читала я потрясающие сцены этой великолепной драмы. И мое волнение сообщилось и тетке, из рук которой выпал чулок, и сама она, облокотившись на стол обеими руками, не отрывая глаз от меня, следила за ходом рассказа, и Володе, лежавшему на диване с папироской в зубах. Он бросил ее, встал на цыпочках, тихонько, чтоб не помешать мне ни малейшим шорохом, подошел к столу и слушал. Даже

дедушка, прихварывавший что-то в последнее время, сдерживал свои вздохи и стоны, приподнял голову с лежанки и, облокотившись на руку, тоже внимательно слушал.

Так после этого вечера у нас с теткой и не возобновлялось разговора об Игнатьеве, и я напрасно приготовлялась встретить его целым потоком колкостей: он перестал бывать у Володи. Только Аксенов изредка заходил и рассказывал новости и слухи, занимавшие мастеровых; да еще через день заезжал старший фельдшер, так как дедушка не на шутку расхворался, и сообщал про жизнь кужгортского бомонда, который предпочитал лечиться от своих мелких болезней лучше у него, чем у Цешковского, которому доставались, таким образом, только тяжело и неизлечимо больные. А Володя рассказывал нам все, что узнавал в правлении новенького; и, таким образом, как-то среди зимы в один день мы узнали, что Первушин уже более месяца арестован и сидит в одном из острогов губернского города, где в последнее время он жил, обивая пороги присутственных мест и влиятельных, власть имеющих лиц. Новость эту подтвердил Седов, зашедший к нам вечером предложить тетке купить у него два лишних возика сена. В это лето они еще сняли сено с своих покосов и распоряжались им по усмотрению.

— Вот, говорил, что у тебя сена мало, — рассмеялась тетка, — а еще остается!

— По те годы я держал по две, а то и по три коровы, а ныне об одной живу, — вздохнул

Седов, — вот и остается сено-то. Деньги ныне крепко нужны, Аграфена Степановна, что бы ты мне хоть рублишко вперед ссудила.

— Ну, ты меня не обманывай, — пошутила тетка. — Верно, кубышку жаль починать?

Но затем она все-таки принесла Седову рубль, который он бережно завернул в уголок совершенно почерневшего от сажи платка.

— Этот рубль на складчину пойдет, — сказал он, вставая с лавки.

— Небось, на вино либо на пиво? — с неудовольствием сказала тетка. — Ну, сказал бы раньше, так не дала бы.

— Ну, нет, не на вино и не на пиво. А человека мы посылаем в город к Первушину, чтобы как ни на есть постарался вызволить его из тюрьмы. Вот на что и деньги нужны.

— Ой, не дело вы затеяли! — покачала головой тетка. — Что уж вы одного-то посылаете? Посылайте разом десяток: места-то в остроге хватит на всех.

— А ты думаешь, он прямо в острог и сунется? Нет, он хотя простой мужик-то, неграмотный, а дошлый. Он прежде к его хозяйке толкнется. Ее, сказывают, пускают к нему в тюрьму; каждый день, слышь, ходит — обедать носит.

— Что ж, его разве там не кормят? — спросила я.

Седов посмотрел на меня с укором.

— Кормить-то кормят, да ведь арестантский-то хлеб никому не сладок. Он, поди-ко,

и есть его не может — человек непривычный.

— А жена все там, домой не собирается? — спросила тетка.

— И не думает о доме; как, говорит, я его одного оставлю в такой беде? Вот женщина-то! — с восхищением воскликнул Седов, ударив кулаком по столу. — Как Ларивоныча зарестовали, так она, сказывают, весь город исходила: и у губернатора, и у жандармского, и у председателя там какого-то, у всех побывала и добилась-таки, чтобы ей дозволили мужа навещать. Шляпки, слышь, шьет на тамошних барынь и хорошие, де, деньги зарабатывает.

— Да, она — бой-баба, — согласилась тетка, — небось, такая нигде не пропадет. Кто же вам все это об них пересказывает?

— Да наши же люди там были, ну и к ним заходили на фатерку. Комнаточку они имеют там у одной вдовы за рубль серебра, сказывают, вот экую махонькую.

И Седов отгородил рукой половину нашей кухни.

— Ну за что они человека посадили? — помолчав, сказал Седов, нагибаясь к тетке. — Ну, не изверги ли они? Не злодеи ли? А?

Он пристально глядел на тетку и, видя, что она молчит, покусывая губы, перевел свои глаза на меня. Я стояла тут же, держа свечу в руках, приготовившись проводить Седова в сени, так как он собрался уходить.

— Да, это нехорошо они сделали, — горячо сказала я. — Очень нехорошо!

— Уж так-то нехорошо, что нельзя быть хуже, — тряхнул Седов головой и, нахлобучив шапку, пошел из кухни.

Через несколько дней после этого я ходила к Анне Петровне, чтоб отнести книги, полученные от Владимира Ивановича, который не забывал своего обещания и исправно доставлял мне книги через Александра Петровича. Самого же Владимира Ивановича я во всю зиму не видала ни разу. Я шла еще и затем, чтоб узнать, правду ли слышал Володя в правлении, что на днях возобновятся литературные вечера. Эта новость очень сильно занимала меня, и велико было мое огорчение, когда я узнала, что это все вздор и что о литературных вечерах и не думают.

— Все у нас расстроилось, — жаловалась Анна Петровна. — Пантюхин уехал в Питер, брат нынче хворает, Цешковский со дня на день ждет себе отказ от службы, главноуправляющий тоже со злости заболел. Вы слышали, что Первушина выпустили из острога на поруки?

— Нет, не слыхала. Ну, слава богу, а то было так жаль его, бедного.

— Да, слава богу, — подтвердила Анна Петровна. — Это, говорят, все жена выхлопотала. Вот славная-то баба! Вы знаете ее?

— Да, я видала ее в церкви.

Это была красивая, румяная женщина с смеющимся лицом и бойкими серыми глазами.

— Весны, говорит, только дожидаются, и затем оба в Москву собираются ехать. — И,

помолчав, Анна Петровна прибавила: — Весной у нас, должно быть, все разъедутся.

— Куда же это и кто? — спросила я.

— Цешковский прежде всех, а потом слух ходит, что отца Петра переводят отсюда в другое место, что главноуправляющий сам ездил хлопотать об этом у преосвященного, ну и выхлопотал, разумеется. Он, конечно, в этом не сознается, и дело это так поставлено, как будто преосвященный сам пожелал его наградить лучшим приходом. Но хотя и с повышением его переводят, и на лучшее место, а цель-то все-таки та, чтоб убрать его отсюда.

— Да за что же его-то? — удивилась я. — Он, кажется, такой славный, а народ его так любит.

— Ну вот за то и смещают, что народ его любит. А больше всего за то, что он спрятал у себя все бумаги Первушина в то время, как его обыскивали здесь.

— Разве его обыскивали?

— Да, перед самым отъездом в город. Только кто-то предупредил его, и он все свои бумаги, содержащие разные неблаговидные сделки, которые управление не желало обнаруживать и которыми он запасся, еще состоя у них на службе, и все, что у него было, сложил в шляпочную картонку да и отослал с женой к отцу Петру. Сказывают, что она навстречу попала приехавшим обыскивать Первушина, но никто и не подумал, что она в картонке именно то и уносит, что им надо. Ведь она у нас была лучшей модисткой, и все знали, что она шляпки и чепчики шила.

— Ловко вывернулись, — порадовалась я, — однако ж как же потом все это стало известно? Уж, наверно, отец Петр никому ни слова не сказывал.

— Да, вероятно, так же, как и всегда, все секреты и тайны выходят наружу. Ведь подобные вещи и стены подслушивают, а тут в наушниках и шпионах недостатка нет. Но могло быть, что Первушины и сами рассказали кому-нибудь по секрету.

— Однако, какие вещи у нас делаются! — покачала я головой.

— Да, много скверного у нас делается, — вздохнула Анна Петровна. — Борьба началась теперь у Первушина с управлением, надо полагать, не на живот, а на смерть. Чем только все это кончится? А я ничего хорошего для Первушина не жду.

— Почему же? Ведь его дело правое, а он такой энергичный и притом законник, говорят.

— Законник-то он законник, но все-таки слишком уж он верит в силу справедливости и в то, что его дело правое. В своем энтузиазме к этому делу он совсем позабыл о другой силе, которая часто бывает сильнее всяких законов, — о силе денежной. А эта сила-то вся на их стороне.

— Но ведь и мастеровые тоже помогают Первушину.

И я рассказала Анне Петровне все, что слышала от Седова.

— Да, это хорошо они делают, что держатся за него крепко. Может быть, если их едино-

мыслие ничем не нарушится, так они и восторжествуют.

Забрав у Анны Петровны что можно было почитать, я распрощалась с ней и долго не видалась. Дедушке становилось все хуже и хуже, а на первых неделях великого поста мы схоронили бедного старика. Потом мы с теткой говели, и отец Петр окончательно очаровал меня своей манерой служить преждеосвященные обедни. Очарование это началось еще тогда, когда он приезжал к нам для исполнения треб над дедушкой. Его задушевный голос, его полные ласки и сочувствия слова так и проникали в душу, и хотя я замечала, что он несколько манерничает, что у него есть заученные жесты и позы, не чуждые аффектации, но так как он преимущественно старался затронуть в человеке чувство и подействовать на него, то мне даже нравилось все это. Кроме того, еще и красивая наружность, высокий, несколько начавший лысеть лоб, все еще густые, каштанового цвета, волнистые волосы, но более всего кроткие и ласковые глаза говорили в его пользу. Он много разговаривал с нами и предложил мне придти к нему и выбрать для чтения что-нибудь приличное наступающим великим дням. Я поблагодарила и сказала, что зайду непременно; я надеялась получить от него библию, которой я не только не читывала, но даже и не видала никогда. У батюшки, однако ж, библии не оказалось, но нашлись целые вороха «Странника», «Воскресного чтения», слов и поучений различных иерархов и жития святых. Послед-

ние я всегда и уносила с собой, хотя делала это более для того, что находила неловким отказаться. А заходить к отцу Петру и после поста я стала частенько — сколько потому, что встретила там как с его стороны, так и со стороны Александры Ивановны очень радушный прием, столько же и потому, что надеялась когда-нибудь увидеться у них с Владимиром Ивановичем. Но встречи с ним, однако ж, не состоялось, хотя Владимир Иванович и бывал иногда проездом в Кужгорт. Книги я теперь получала через Манечку, дочь отца Петра, и всегда вместе с книгами Манечка передавала мне от Владимира Ивановича поклон и говорила, что он очень жалеет, что нам все как-то не приходится встретиться. Я также передавала через нее мои поклоны и благодарность за его книги. Вскоре исчезла не только надежда, а и возможность встретиться с Владимиром Ивановичем, так как он уехал в Петербург, а отец Петр получил давно ожидаемый перевод. Хотя его назначили протоиереем и переводили в лучший приход, но тем не менее, проживши в Кужгорте 20 лет, ему было жаль покинуть насиженное место. Больше всего ему было жаль расстаться с тем почетом и уважением, которые он приобрел во время своего двадцатилетнего служения, с тем доверием и любовью прихожан, которыми он пользовался, — на новом месте надо было приобретать все это снова. Поплакала и Александра Ивановна, более всего жалевшая оставить свой густо разросшийся, наполненный благоуханием цве-

тущей сирени садик, который 20 лет тому назад она, будучи молоденькой женщиной, сама садила и поливала.

Но, как бы то ни было, приходилось покориться и назначить день отъезда, и отец Петр назначил его в одно из воскресений. Но это назначение пришлось изменить по просьбе главноуправляющего и назначить отъезд в простой день. Он, вероятно, думал, что отъезд отца Петра в простой день будет менее заметен, и, однако ж, он горько ошибся в расчете. Мастеровые отказались работать в день отъезда отца Петра, и в ночь фабрики были заперты и все работы приостановлены. Только одна доменная печь продолжала посылать в ясное небо клубы дыма, когда я шла утром этого дня к отцу Петру, чтоб проститься с ним и его семейством и проводить их. День обещал быть прекрасным, воздух был чист и напоен благоуханием цветущей черемухи. Тишина на фабриках и толпы прилично одетого народа по улицам производили такое впечатление, как будто наступил праздник. Когда я пришла к отцу Петру, он еще был в церкви, служил там свою последнюю обедню и напутственный молебен. Я прошла в сад и нарвала там большой букет сирени; когда, воротившись в дом, я выглянула в окно, то была поражена необычайным стечением народа, все прибывавшего и густо покрывавшего улицу перед домом отца Петра. И сам он, возвращаясь из церкви, был, видимо, приятно поражен этим доказательством общего уважения и, хотя понимал, что это делалось сколько из

сочувствия к нему, столько же и в пику управляющему, все-таки был очень польщен и обрадован.

— Что это? Что это? Сколько народу-то собралось, — торжествующим тоном говорила Александра Ивановна, — что они выиграли тем, что мы в простой день поехали? Тоже ничего не выиграли. Народ так любил Петра Ивановича, так любил, а они ему не хотели проводить позволить. Все одна зависть, одна вражда! Однако тоже вот не могли запретить.

— Да где им запретишь! Народ ныне стал вольный, — сказал кто-то из наполнившей комнату публики, — загалдели, говорят, вчера все в голос, что не будут работать в день отъезда батюшки, что лучше в воскресенье поработают и непременно пойдут провожать своего пастыря. Ну, и волей-неволей принуждены были согласиться.

— Вот видите, вот видите! — проговорила Александра Ивановна, разведя руками, и прошла в комнатку, где накрыт был для них стол. Наскоро закусив, они стали собираться в дорогу; простенький дорожный фаэтон, наполненный подушками, уже давно стоял у крыльца.

— Петр Иванович, а Петр Иванович, — просила матушка, — мы как выйдем, так сейчас и сядем в экипаж. У меня ноги страсть как устали: ты только подумай, сколько мне хлопот-то было.

— Нет, Александра Ивановна, уж ты потруди еще свои ноги, пройдем по заводу пеш-

ком, так гораздо торжественнее будет, — вполголоса сказал ей отец Петр. И Александра Ивановна поняла и согласилась.

Наконец, наступил час отъезда, долго замедляемый многочисленными посетителями, все находившими сказать в последнюю минуту несколько крайне нужных слов.

Было уж два часа, когда отъезжающие уселись в опустевшей зале на нескольких остающихся за ветхостью стульях и затем встали, чтобы помолиться на потемневший лик старой иконы, которая одна занимала опустевший угол. После краткой напутственной молитвы, перецеловавшись со всеми находившимися в комнате, отец Петр взял за руку плачущую Александру Ивановну и повел ее на крыльцо. Но как только они вышли из ограды, нахлынувшая толпа народа разъединила их. Отцу Петру то и дело приходилось благословлять и подымать кланяющихся в ноги. Тут были и старики, и женщины, подводившие под благословение маленьких детей, и многочисленные группы мастеровых, с их суровыми, медно-красными лицами, в их праздничных бешметах и кафтанах, со шляпами и фуражками в руках. Отец Петр благословлял, называя по имени, утешал плачущих женщин, говорил краткие слова ободрения и наставления и медленно двигался вперед. Это торжественное шествие продолжалось часа два, так как от дома отца Петра до выезда из завода было версты полторы, а на каждом перекрестке стояли толпы жещин с детьми на руках, у ворот домов на лавочках сидели старые и не-

мощные, и все они подходили и были подводимы под благословляющую руку. Многие женщины плакали навзрыд, старики и старухи высказывали сожаление, что он не будет хоронить их, спрашивали, на хорошее ли место он поедет, ужасались длине пути (отец Петр переводился за 500 верст) и в свою очередь осыпали его своими благословениями и благопожеланиями. Когда вышли из улиц завода и остановок более не стало, то пошли несколько скорее. Мужчины оттеснили женщин, и отец Петр шел, окруженный толпой рабочих, еще версты две. В этой толпе провожавших не было почти никого из служащих, так как большая часть из них имела своим духовным отцом другого, не любимого рабочими за гордость священника. А некоторые из них не пошли из трусости, боясь навлечь на себя неприязнь главноуправляющего, которому, как это знали все, будут известны не только имена всех провожавших, но и все, что тут говорилось. Эта тайная полиция была тем страшнее, что шпионила и доносила не по обязанностям службы, не из денежных выгод, а единственно из любви к искусству. Некоторые из служащих всеми рабочими подозревались в наушничестве, и хотя последние в сердитый час и под пьяную руку грозились расправиться с ними по-свойски, но угрозы эти большей частью только угрозами и оставались. Такие добровольные шпионы как-то всегда умели избежать прямых столкновений со всеми теми, кому особенно насолили, и всегда держали себя так, как будто они ни

в чем не повинны. Один из таких людей, занимающий какую-то незначительную должность в конторе, шел в толпе, неподалеку от отца Петра, с самым невиннейшим видом. Его острый нос и бегающие карие глазки были упорно опущены в землю, но можно было смело держать пари, что он, как хищная птица, видел все, что делалось по сторонам, а его оттопырившиеся уши слышали не только каждое слово, но и то, что не высказывалось, а только подразумевалось. Когда вышли из улиц завода, мастеровые начали сильно коситься на него и упорно старались оттеснить его подальше. Но и он не менее упорно держался раз занятой позиции. Некоторые из мастеровых заговорили что-то о неудобстве иметь в своей среде «лишние бревна» и о своем желании вышвырнуть их вон. Отец Петр обвел их пристальным, многозначущим взглядом и заговорил о Христе, беседующем с апостолами на тайной вечере.

— Он знал, что Иуда предаст его, — говорил о. Петр, — но не изгнал его из среды своих учеников, а, напротив, до конца был приветлив к нему. Мы можем бороться с врагами нашими законом дозволенными средствами, но если в среде нас есть Иуда, оставим его суду его собственной совести. Вы знаете, что с ним сталось потом?

— Задавился! Повесился! Издох, как собака! — раздалось в толпе.

— Ну да! Вот видите, сколь ужасен был его конец. А у нас ни в делах, ни в словах наших нет ничего ни тайного, ни постыдного,

и бояться нам некого, ибо с нами господь. Мы мирно беседуем на прощании после долгой совместной жизни, и я, как пастырь ваш, прошу и молю вас: живите в мире и любви между собою, не оставляйте посещать храм божий и повинуйтесь начальству вашему с готовностью.

И почти все время отец Петр говорил не умолкая, и, вероятно, говорил бы еще более, если бы Александра Ивановна не запросилась, наконец, настоятельно в экипаж. Она еще раз попрощалась с густой толпой провожавших ее женщин, оказавшихся храбрее мужчин и смело присоединившихся к толпе мастеровых. Храбрости особенной в их поступке, впрочем, не виделось. Народ держал себя так же степенно и важно, как во время крестного хода, а прекрасный день, присущее женщинам любопытство и желание поболтать между собой были столь же сильными побудительными причинами, как и желание проводить своего духовника. Следом за Александрой Ивановной взошел в экипаж и о. Петр и, стоя в нем на ногах, повернувшись спиной к лошадям, продолжал благословлять кланяющуюся ему толпу. Рабочие совсем оттеснили нас, и мы, взобравшись на небольшую земляную насыпь на правой стороне дороги, смотрели, как экипаж начинал медленно двигаться. Александра Ивановна обернулась в нашу сторону, и все замахали ей платками. Я потеряла свой платок и поэтому стала махать нарванным в саду отца Петра букетом сирени. Увидав его, Александра Ивановна

с сожалением всплеснула руками и вскричала:

— Ой, что это! Ведь я хотела себе букет нарвать в последний-то раз из своего садика, да и забыла!

— Да уж до цветочков ли тут при таких хлопотах, — говорили в толпе.

— Возьмите этот! — закричала я и хотела протесниться к экипажу, но десятки рук услужливо протянулись за цветами и передали их Александре Ивановне. Экипаж продолжал двигаться все быстрее и быстрее, а отец Петр все стоял, левой рукой опираясь на ямщика, а правой продолжая благословлять остающуюся толпу своих прихожан. Так в этой позе он и скрылся при повороте дороги, и только тогда народ покрыл свои головы шляпами и фуражками и стал расходиться. Я возвращалась с Анной Петровной и Михаилом Васильевичем, и все мы всю дорогу восхищались этими торжественными проводами. Главноуправляющий, говорят, опасался какого-то буйства, и поэтому всю ночь по улицам ходили обхожие, но никакого буйства, ни драки нигде не случилось, и обхожие напрасно ходили по тихим, погруженным в сон улицам. В определенный час все исправно явились на работу, и на другой день все снова вошло в обычную колею — фабрики задымили, по обыкновению, всеми своими трубами и застучали всеми молотами.

VIII. ОТЪЕЗД УЧИТЕЛЯ

Провожая Петра Ивановича, ни Анна Петровна, ни Михаил Васильевич совсем не подозревали, какая беда висит у них над головой. Через несколько дней после проводов Анна Петровна пришла к нам и сообщила, что Михаил Васильевич уволен со службы — так, без всякой причины. Тетка советовала ему пойти к управляющему и объясниться с ним, но Анна Петровна настояла, чтоб он ехал в город к директору, просил у него другого места и непременно в город; он послушался жены и уехал в город хлопотать о месте. О том, что управляющий не благоволил к Михаилу Васильевичу, знали все и раньше, но все-таки такого суда, скорого и немилостивого, никто не ожидал, и потому все были удивлены. В числе знакомых Михаила Васильевича хотя и не было никого, особенно сильно сочувствующего ему, но все-таки нашелся человек, который помог бедному либералу, не имеющему ни гроша за душой, пережить это тяжелое время.

— Я всегда замечала, что ему следовало держать язычок покороче, — говорила моя тетка. — По крайности, остерегался бы, не при всех бы хоть разглагольствовал! И к чему это? Разве кто его послушает? Или польза из этого будет?

— Ну, как же, тетя, может быть, кто-нибудь его послушает и поймет.

— Поймет настолько, чтоб управляющему в ушко дунуть! Оно вот так и случилось. Пом-

нишь, я тебе сказывала, как на похоронах у Кротова он рассуждал, что мужики работают много, а получают мало, что по закону справедливости они должны бы получать все, что производят, в свою пользу. Надо, говорит, так устроить, чтобы не было ни очень бедных, ни очень богатых. А то и не сообразил человек, что ежели мужик будет богат, так его руду копать да железо ковать не заставишь. Всем господами быть нельзя — должен же кто-нибудь и робить, — докторальным тоном заключила тетка.

— Да ведь он говорил-то это в своем кружке, а не в среде мастеровых, — защищала я Михайла Васильевича. — Ведь этот разговор был так, по поводу одной книги.

— Ну, и в своем кружке таких разговоров не к чему разговаривать. Теперь вот сказали, что распространял вредные идеи, а была это одна пустая болтовня. И слушали-то его до пятка старух да поп с дьяконом, а вот оно что вышло.

— Да, перед такой публикой не следовало метать бисера, — согласилась я.

После отъезда Михаила Васильевича я стала бывать у Анны Петровны чаще, чтоб гулять с ней вместе. Ей вскоре после отъезда мужа пришлось еще провожать Цешковских. С ними тоже было поступлено довольно бесцеремонно. Цешковский служил по контракту, которому срок вышел еще зимой, и он предлагал заключить другой контракт, но не получил на свое предложение никакого ответа. А весной, почти одновременно с о. Пет-

ром, ему сообщили, что нанят новый доктор и потому просят его к такому-то числу очистить квартиру и сдать больницу старшему фельдшеру. Цешковский поругался с управляющим, написал что-то заводовладельцу, в ответ на письмо получилось предписание в правлении — выдать Цешковскому двести рублей и предоставить в его распоряжение потребное количество лошадей и экипажей до губернского города. Цешковский взял деньги, потребовал шестерку лошадей и те самые экипажи, в которых помещик ездит, когда бывает в имении, и уехал. С их отъездом Анне Петровне совсем стало некуда ходить, и она начала чаще бывать у нас. С мировым посредником они совсем не познакомились, хотя Михаил Васильевич и рассчитывал на это знакомство. Это был уже не молодой человек, служивший прежде в «уделах». Он по приезде в Кужгорт с своей большой семьей занял приготовленную ему заранее квартиру в одном из лучших домов помещика, и это сразу оттолкнуло от него мастеровых.

— Нету нам счастья ни в чем, — вздыхали мастеровые тоскливо, примечая возникшую между посредником и управляющим дружбу.

В число знакомых посредника попал Игнатьев, и мы часто встречали их гуляющими вместе. Игнатьев сосватал себе невесту, дочь члена правления, недурненькую и, как говорили, богатую девушку. Ее отец получал 1200 рублей жалованья, был «скопидом» и «жихмора», как выражалась тетка, и, конечно, мог снабдить свою дочь если не деньгами,

то большим количеством приданого, состоящего из нескольких сундуков с бельем и платьем и шуб на лисьем и беличьем мехах. Игнатьев выписал из Петербурга шляпку в двадцать пять рублей для своей нареченной и, гуляя с ней под руку, всякий раз, как встречался со мной, как-то особенно кривил губы.

— Какова шляпка? — значительно шепнула тетка, когда мы в первый раз увидели эту шляпку у обедни. В Кужгорте свято наблюдался обычай надевать каждую обнову к обедне. Но моя антипатия к Игнатьеву была так велика, что мне шляпка не понравилась, я преспокойно ответила:

— Моя лучше.

А моя шляпка была сделана Александрой Петровной, женой Первушина, из розовой французской косынки, которой окрутили мою тетку после венца. Оба они приезжали в Кужгорт вскоре после отъезда отца Петра, чтоб собраться в дальнюю дорогу. Когда я пришла к Первушину, чтобы попросить его жену сделать мне шляпку, у него было человек десять мастеровых из самых влиятельных в их среде. Все они с величайшим вниманием слушали планы и предположения Первушина, собиравшегося ехать в Москву. Он говорил горячо и гораздо смелее и независимее, чем прежде. Как видно, острог, хотя он и просидел в нем всего два месяца, сильно ожесточил его, и в его речах то и дело слышалось:

— Я им насолю! Будут они помнить Первушина! Я знаю, чем их пронять: самых-то главных моих документов я еще не предъяв-

лял. Это я оставлю им на закуску. Здесь-то, в губернии, у них все на руке, все закуплены, а там не то будет. Я дойду до самых высших инстанций, даже до высочайших; только бы вы меня не оставляли, а я этого дела не оставлю.

Мастеровые все в голос уверили в своем неоставлении.

— Вот завтра же решим на сходе, что можно собрать тебе на дорогу-то, Степан Ларивоныч, а затем, ежели что, так уж будем посылать по почте. Только ты уж тово... похлопочи. Да и деньги мирские уж тово...

— Будьте благонадежны: гроша лишнего не истрачу! — заверял Первушин, действительно умеренно тративший мирские деньги. — Ежели я везу с собой жену, так это вам не в убыток: я на свой счет. А мне без надежного человека никак нельзя.

— Нельзя без надежного человека, нельзя, — согласились и мастеровые.

— Она мне во всех делах помощник, — продолжал Первушин, — и хороший помощник; а голову свою она и сама прокормит.

— Что и говорить! Всем известна ваша жизнь, — заговорили мастеровые все разом. — Мы все тачим тебе взять ее с собой. Все, ежели что случится, так лучше, коли есть свой человек. И тебе сподручнее, да и к нам может весточку переслать.

И они напророчили. Власти с умыслом не препятствовали Первушину ехать в Москву, но по приезде туда его скоро засадили в острог под тем предлогом, что он, как находя-

щийся под судом, не имел права отлучаться из города, и Александре Петровне действительно пришлось извещать доверителей своего мужа о постигшей его беде. Эта беда оказалась много хуже первой, как рассказывала после Александра Петровна. Знакомых у них в Москве не было никого, и, когда Степана Ларионыча арестовали, Александра Петровна осталась совсем одна. Она, однако ж, не растерялась и прежде всего выпросила позволения навещать своего мужа. Она опять стала носить ему обедать, выслушивала его инструкции в тюрьме и действовала по ним, подавая прошения куда следовало и даже куда не следовало. Но, несмотря на это, они ничего не могли добиться и только, вероятно, надоедали всем. Осенью Александра Петровна приезжала в Кужгорт. Она была беременна, родила дочь и, прожив в Кужгорте после родов с месяц, поспешила с последними пароходами уехать к мужу, оставив новорожденную у своей матери. Мастеровые снова снабдили ее некоторым количеством денег и, пожелав ей от души всего хорошего и в делах успеха, проводили на пристань.

Несколько раньше этого я проводила на пристань, отстоящую от Кужгорта на семь верст, Анну Петровну. Михаил Васильевич получил, наконец, место, и Анна Петровна поспешила переехать в город. Ей целый день пришлось просидеть на пристани, дожидаясь парохода, и я провела этот день с ней. Погода стояла прелестная, несмотря на то, что была уже половина сентября, и мы провели время

очень весело. Анна Петровна поплакала немножко, прощаясь со своим большим и удобным, хотя и некрасивым снаружи, домом, но потом совсем развеселилась. По многим причинам она очень радовалась тому, что уезжает из Кужгорта, и была вполне уверена, что со временем она устроится в городе лучше, и если на первых порах придется жаться в тесной квартире и не иметь прислуги, то, вероятно, ненадолго.

— Теперь, когда мы вышли из крепостной зависимости, ведь и наши дети могут поступать в гимназию и получать образование, как и дети всех других людей, — говорила Анна Петровна. — А оставаясь в Кужгорте, нам, пожалуй, не представилось бы возможности послать их в гимназию, а это ведь было бы очень и очень жаль.

Я вполне соглашалась с ней. Единственной заботой нашей было, чтоб любимец Анны Петровны, большой пестрый кот, важно именуемый Васильем Васильевичем, не забежал куда-нибудь и не потерялся. Детям, взявшимся присматривать за ним, это скоро надоело, и они оставили его на мое попечение. Но когда часов в шесть вечера пришел пароход, наш Василий Васильевич до того перепугался свистка, что вырвался у меня из рук и пустился удирать со всех ног. Я бросилась его ловить, и только после получасовой погони, в которой приняли участие все деревенские мальчишки, нам удалось поймать беглеца. Когда, вся запыхавшись, я вернулась с ним, все имущество Анны Петровны было погру-

жено на пароход, и сама она стояла у рубки, разговаривая с каким-то высоким мужчиной. Я не обратила на него никакого внимания; только передав кота и простившись с Анной Петровной, повернулась, чтобы сойти с трапа, и, увидев протянутую мне руку, я взглянула на того, кто предлагал мне свою помощь. Это был Владимир Иванович. Я не могла подавить легкого крика радостного удивления. Мы поздоровались, как старые знакомые. Владимир Иванович предложил мне доехать с ним до Кужгорта, на что я охотно согласилась, только потом уж подумала, что тетка, пожалуй, разбранит меня за это, и несколько смутилась. Но это все-таки не помешало нам весело разговаривать всю дорогу, показавшуюся на этот раз необыкновенно короткой.

— Уже приехали! — воскликнул Владимир Иванович таким огорченным тоном, что у меня вдруг явилась отчаянная храбрость и я сказала:

— Войдите, Владимир Иванович, если вам некуда спешить. Я попрошу тетю напоить нас чаем. Вы ведь с ней знакомы немножко.

— Да, мы встречались где-то, но я боюсь, что все-таки ни она меня, ни я ее не узнаем, — сказал Владимир Иванович с выражением забавного страха.

— Ничего, Владимир Иванович, — ободряла я, — тетя любит ходить дома без башмаков, в одних чулках, так вы по этому ее и узнаете.

Владимир Иванович рассмеялся, и мы вошли. Тетка, однако ж, оказалась в башмаках и,

сверх ожидания, приняла Владимира Ивановича очень любезно. Я боялась, что не найдется предметов разговора, и вообще — принуждения и стеснения, но у тетки оказались какие-то старые знакомые в том заводе, где жил Владимир Иванович. Она пожелала узнать, как они живут, и разговор завязался. Мы просидели за самоваром до десяти часов вечера; не обошлось, разумеется, и без того, чтоб мы не поговорили о книгах. Владимир Иванович сказал, что ему недели через две придется проезжать через Кужгорт опять, и тогда, если мы позволим, он завезет нам книг. Мы, конечно, позволили с величайшим удовольствием. Проводив Владимира Ивановича, тетка вернулась в комнату и, поставив свечу на стол, сказала с значительной улыбкой:

— Значит, через две недели мы будем новые книги читать.

— Да, тетя, опять будет что читать, — радовалась я.

— Что-то только из этого выйдет? — озабоченно вздохнула тетка и потом прибавила как будто про себя: — А славный господин, славный, что и говорить.

Время шло. В течение осени Владимир Иванович был у нас раза три и всегда привозил нам книг. Тетка продолжала быть с ним любезной, но в то же время становилась все озабоченнее и озабоченнее. Раз как-то, возвратившись с рынка, она сказала мне, что слышала, что Владимир Иванович уехал куда-то в Сибирь и проездит месяца два. Я ничего не сказала, но эта новость меня очень огорчила.

Наступили серые, невеселые дни и длинные зимние вечера; читать было нечего, и мы по целым часам сидели с теткой молча, я — перебирая коклюшки, она — пошевеливая спицами своего чулка. Особенно скучали мы на святках и очень обрадовались, когда в один из вечеров Володя привел с собой гостя. Давно уж у нас никто не бывал, и потому мы приветливо встретили молоденького, румяного, как херувим, семинариста, сына какого-то сельского дьякона, который проезжал из города в родное село и остановился в Кужгорте у родственников погостить. Карманы этого вертлявого и веселого юноши были битком набиты номерами «Колокола», «Вперед», запрещенными брошюрками, рукописными стихами и даже прокламациями. Разумеется, мы прочли все это с большим интересом; некоторые вещи я даже прочла тетке вслух, а стишки списала и спрятала в свою шкатулку. Юноша этот каким-то манером перезнакомился со всеми в Кужгорте, бывал везде и всем давал читать все, что у него было запрещенного. Мы удивлялись его смелости и вздумали его предостеречь; но он уверял нас, что бояться нечего, что в городе все это ходит по рукам так же свободно, как журналы и газеты, что теперь настало время смело и громко говорить правду, что она торжествует и сияет все более и более и скоро совсем рассеет мрак старого невежества и зла. Мы слушали и дивились: у нас в Кужгорте никакого особенного сияния не замечалось, а напротив, становилось как будто все мрачнее и мрачнее. И в одно пре-

красное, но очень темное утро тетка рано разбудила меня в страшной тревоге:

— Вставай, вставай, Софья! Вставай скорее!..

Я вскочила и с недоумением спрашивала, что такое случилось.

— Где у тебя стихи-то, которые ты списывала? Давай их скорее!

— Да на что их, тетя?

— Говорят, давай! Сейчас же, сию минуту давай!

Делать нечего, и я порылась в шкатулке, сыскала стихи и подала их тетке. Та сейчас же зажгла их на свечке, которую держала в руке, и когда листок совсем догорел, бросила его на пол и раздавила ногой.

— Тетя, да что такое случилось? — повторила я, крайне удивленная.

— А то и случилось, что приехали альгверзилы и приятеля-то вашего со всем его запасом забрали и увезли. Теперь, как узнают, что он у нас бывал, так, пожалуй, нагрянут и к нам с обыском. Нет ли чего еще у тебя? Давай все. Ой, беда мне с тобой, девка! — качала головой тетка и тревожно рылась в шкатулке. Кое-как успокоила я ее уверениями, что ни у меня, ни у Володи нет ничего более. Днем мы узнали от Володи, что на розовощекого юношу донес тот самый господин, по поводу которого о. Петр беседовал об Иуде. Он донес мировому посреднику, а тот уж куда следовало.

Опять потянулись скучные дни, вечера, и опять они были нарушены новостью печально-

го свойства, и на этот раз даже очень печального. Это было уже в половине поста, когда к нам зашел или, правильнее, забрел совсем пьяный Екимов и, остановившись среди комнаты, запел: «Со святыми упокой!» В последнее время он стал пить даже и не в праздничные дни и часто по целым неделям не ходил на работу. Пьяный, в тулупе или бешмете нараспашку, часто без шапки, он шатался из улицы в улицу, все пророчествуя и предсказывая невообразимые бедствия, преимущественно тем, к кому особенно не благоволил.

— Стой! — кричит, например, Екимов пудлинговому надзирателю, спешащему домой обедать. Тот поневоле останавливается и спрашивает, что ему нужно. Екимов подходит к нему и сообщает ему самым ужасающим тоном:

— Ты провалишься!

— Где? Куда? — недоумевает тот.

— Здесь, на этом самом месте, где стоишь.

Тот уже не слушает и, изругавшись, спешит своей дорогой, а Екимов продолжает кричать ему вслед:

— И ты, и дом твой, и жена твоя, и дети — все провалятся в тартарары! Жупел там для вас давно уготован!

И долго потом он ходит и угрожает «тартарарами» и жупелом чуть не каждому встречному. Мы так и думали, что он хочет попугать нас каким-нибудь предсказанием, и некоторое время молчали. Но, видя, что Екимов не унимается, тетка, наконец, закричала на него,

чтобы перестал. Екимов помолчал с минуту и потом воскликнул, ударив себя кулаком в грудь:

— Первушин умер!

И потом трагически опустил голову на грудь. Мы обе невольно вздрогнули.

— Полно врать, ступай-ка лучше своей дорогой!

И тетка поспешила выпроводить Екимова. Он ушел, не сопротивляясь, точно подавленный глубокой скорбью. И, уходя, снова запел: «Со святыми упокой!» Мы так ему и не поверили, но вечером зашел Аксенов и подтвердил печальную новость.

— Как же мы ничего не слыхали? Ведь Володя бы должен узнать об этом в правлении. Неужели там еще не знают?

— Там давно знают, — сказал Аксенов, — да скрывают. Мне сказывали мужики, что письмо пришло от его хозяйки из Нижнего...

— Как из Нижнего? — удивилась тетка.

— Да так! Ведь его по этапу сюда отправили из Москвы-то. Он, слышь, дошел до Нижнего, да там похворал денька два и умер.

— Только два денька!

— Только... Хозяйка-то от него осталась в Москве. Приехала в Нижний-то как раз в тот день, как его уж схоронили.

— Бедная, бедная! Да неужели ж это правда! — жалела и дивилась тетка.

— Истинная правда!!! Я сам только что читал, — прибавил Аксенов, слегка понизив голос. Его недавно только что приняли на работу после данного им обещания не иметь ни-

чего общего с людьми, противящимися предложениям управления. В последнее время почти всем явным приверженцам Первушина было отказано от работы, и многие из них уже разошлись кто на казенные, кто на заводы других владельцев. Поэтому Аксенов как будто боялся и на замечание тетки, что у нас пересказывать некому, все-таки сказал:

— Знаю, что некому, а все по нонешнему времени лучше держать язык за зубами. Вы, пожалуйста, Аграфена Степановна, не говорите, что от меня слышали.

— Да как же это так! — продолжала удивляться тетка. — Еще в субботу на рынке я видела тещу Первушина, и она говорила, что все здоровы.

— Ну вот, это в субботу было, а письмо-то вчера пришло поутру, — сказал Аксенов. — Я был у Марьи Егоровны (так звали тещу Первушина), не утерпел, — прибавил он, опять понижая голос, — читал и то письмо, которое к ней пришло.

— Что же в том-то письме? — полюбопытствовали мы с теткой.

— Да все то же, только подробнее несколько. Пишет, что как приехала в Нижний и пришла в пересыльную тюрьму, так ушам своим не могла поверить. Так, де, и подумала, что обманывают ее, что верно, де, его прямо оттуда в Сибирь послали либо в подземелье куда заперли, не допускают к нему. Кинулась, пишет, к жандармскому сначала, потом к губернатору, у всех требую, чтобы сейчас мне Степана Илларионовича показали, хоть

живого или мертвого, да показали бы. И никому бы, пишет, не поверила бы, да острожный священник над крестом и евангелием поклялся, что отпел его в это самое утро. Просила, пишет, чтобы разрыли могилу, да он же уговорил ее не делать этого. А затем пишет, что и не помнит, что уж дальше было. У этого острожного священника она и по сие время находится. Хочет там пробыть до шести недель, чтобы, значит, сорокоуст справить да и пароходов дождаться, чтоб домой дешевле было ехать. Работу, де, уж ей обещали, только, де, еще приняться ни за что не может: руки не служат, и глаза от слез не глядят.

— Да, тут, небось, опустятся руки, — задумчиво сказала тетка. А я украдкой отерла слезу. Давно ли я видела их обоих! Такие молодые, такие полные сил и здоровые, а вот одного уж не стало, а другая убита горем! Мне было страшно жаль и умершего и оставшуюся в живых, и трудно сказать, кого более. Тетка в этот вечер не резонерствовала; так он и прошел у нас в грустном молчании.

IX. НЕОЖИДАННЫЙ КОНЕЦ МОЕГО РОМАНА

На другой день мне почти одновременно принесли два письма и посылку, хотя они и были совершенно с разных сторон. Одно на серой бумаге, в самодельном конверте с большой сургучной печатью, другое в изящном, наглухо заклеенном конверте, надписанном

тонким незнакомым почерком. Первое было от отца, второе от Владимира Ивановича. Владимир Иванович извинялся в том, что во время его продолжительной отлучки мы оставались без книг, писал, что он при отъезде поручил одному знакомому пересылать нам книги, но тот заболел и не мог исполнить его поручения, что теперь, возвратившись, он надеется быть исправнее в этом отношении и, пользуясь верной оказией, посылает нам несколько книг, а через несколько дней надеется и сам видеться с нами, то есть со мной и теткой. Нужно ли говорить, что я очень обрадовалась, но тетка, к моему удивлению, сильно нахмурилась, и я насилу убедила ее в том, что мне необходимо отвечать на это письмо, так как с посланным мы должны были возвратить книги, полученные от Владимира Ивановича раньше. Еще больше нахмурилась тетка, когда я прочла ей письмо моего отца. Он писал, что до него дошел слух, что я выхожу замуж за Белова, что новость эта была бы весьма для него радостна, если б он услыхал ее от нас, а не от людей посторонних, и т. д. В конце письма следовала приписка, что мне не мешало бы повидаться с отцом, прежде чем я выйду замуж.

— Кто это опять сочинил? — сказала я с неудовольствием, складывая письмо.

— Этому удивляться нечего, — возразила тетка, — ведь не скроешь, что он бывает у нас. Никто не поверит, что это только для книг, книги служат только предлогом. А Володя давно уж мне говорит, что его беспрестанно

спрашивают, скоро ли будет свадьба. А в прошлую субботу Минейская на рынке пристала ко мне с тем же. Я говорю, что ни о какой свадьбе никто и не думает. Ни за что не верит. Зачем, говорит, в таком случае станет к вам ездить Белов каждую неделю.

— Ах, господи, тетя, да что кому за дело! — тоскливо воскликнула я, видя по лицу тетки, что она принимает это серьезнее, чем бы я желала.

— Людям до всего есть дело, и я советую тебе об этом серьезно подумать.

— Да что же думать-то? Я не знаю, право, и не вижу никакой надобности думать. Поговорят и перестанут.

— А насчет того, чтоб тебе и в самом деле съездить домой, как ты думаешь? — спросила тетка с совершенно невозмутимой физиономией. Этого я боялась больше всего, хотя и предчувствовала почему-то, что тетка предложит именно это. Я грустно повесила голову и ответила покорно:

— Что ж, тетя, я, пожалуй, поеду, если уж надоела вам.

— Надоела! Кто говорит об этом? — вскричала тетка с досадой, начиная расхаживать по комнате. — Только поверь мне, что никак нельзя этих толков оставить без внимания. Да и что он в самом деле — ездит, ездит, а предложения не делает. Выбирай одно из двух, Софья: или поезжай домой, или я скажу, чтоб он больше к нам ни ногой.

— О, конечно, я лучше уеду домой сегодня же! — вскричала я, заливаясь слезами. Тетка

принялась меня утешать, уговаривать и расспрашивать. Результатом нашего откровенного разговора было то, что тетка на другой же день ходила куда-то просить, чтоб меня отправили при хорошей оказии. Хорошая оказия представилась скоро, скорее, чем я желала, но так как путь был последний, то мне отказываться не приходилось. В Алакшинский завод ехал фельдшер, человек почтенных лет и репутации, и предложил мне место в своей рогожной кибитке. С Владимиром Ивановичем я так и не повидалась до отъезда, и хотя оставила ему письмо, в котором выражала ему свою признательность за книги, но письмо это не дошло по назначению: тетка бросила его в печь. С теткой я простилась со слезами; ей, видимо, не хотелось отпускать меня, но она, а под конец и я, нашли, что так действительно будет лучше.

Мы выехали утром и до ночи успели сделать более половины пути, так как недостатка в лошадях на станциях не было, но на четвертой станции пришлось ждать. Остановились в избе ямщика, которому следовало везти, и мой спутник, дремавший весь вечер, залез на полати и скоро захрапел, предоставив мне коротать ночь, как умею. Разумеется, мне было грустно и не хотелось спать. Я подсела к светцу и зажигала лучины, плохо освещавшие высокую, всю прокоптевшую от дыма избу. На полу, посредине избы, спали двое ребятишек. Курчавая белокурая голова одного из них скатилась с изголовья, состоящего из кучи каких-то лохмотьев, и лежала на голом

полу. Бледные, тоненькие ручки были обе закинуты на голову. Когда кто-нибудь входил в избу, холодный воздух белыми клубами кидался в отворенные двери и на несколько мгновений совсем застилал ребятишек. Хозяин, впустивши нас, постоял несколько минут, почесывая в голове, перекинулся несколькими словами с привезшим нас ямщиком, который тоже укладывался спать, и, посоветовав мне также лечь, скрылся за занавеской, отделяющей часть избы перед печкой. Из-под короткой, на четверть недостающей до полу занавески на мгновение выставились подошвы его голых ног, затем он укутал их шубой, и скоро, кроме дыхания спящих, ничего не стало слышно. Только из-за занавески слышался шепот, как будто кто творил молитву. Долго сидела я, отдавшись невеселым думам, и машинально оглядывала все с детства знакомые мне принадлежности крестьянской избы. Они не изменились: то же все, что было и десять лет тому назад. Та же лучинка, как осветительный материал, то же отсутствие кроватей и даже постелей. Но вот за занавеской послышался шорох, скрипнула половица, высунулась обнаженная до локтя костлявая рука и отодвинула занавеску. За ней показалось бледное, испитое лицо, повязанное синим платком, и высокая, несколько сгорбившаяся старуха, в рубашке и юбке из грубой синей холстины, тихо вышла из тени и, остановившись в полосе света передо мной, приветливо поклонилась.

— А я лежу да думаю, — заговорила она, — кто это там лучинку-то светит? Лежала, лежала — дай, мол, пойду погляжу. Что не ляжешь, касатушка? Постелись вот тут на лавочке-то да отдохни.

— Не хочется мне спать-то, бабушка, — ответила я, зажигая новую лучину об догорающую.

— Пошто же? Добро вот уж мне, старухе, не спится, так тут и дивовать нечему. Много у меня тоски и кручинушки, а тебе-то что не спать? О чем тебе думать-то?

Я хотела было ответить, что и у меня есть и тоска и кручинушка, но, вставив ярко разгоревшуюся лучину в светец, пристальнее взглянула в глубоко печальное лицо старухи, в ее большие и, как видно, когда-то прекрасные глаза, и ответ замер у меня на губах. Столько в них было горя и муки душевной, что во мне перевернулось сердце, и я стала просить ее рассказать мне свое горе.

— Сыновья меня сокрушили, — заговорила старуха, подпирая щеку рукой, — об них мое сердце все выболело, и сама я вся высохла, и свет в глазах от слез помутился. Все об сыновьях...

Она замолчала на минутку, плотно сжав бледные губы и стараясь смигнуть крупные слезы.

— В рекруты сдали у меня меньшого-то позапрошлый год, — заговорила она полушепотом, — а парень-то был золото! Экой коло дому старательный, до меня, старухи, ласковый да смирный, словно девка.

И снова бабушка умолкла, собираясь с силами; я тоже молча ждала.

— А большой-то сын сево года совсем разорился, недоимки за ним накопилось много, а мировой-то посредственник у нас больно яростный, никаких речей не допускает. В ногах валялися, ничего не послушал, описал все: и скарб, и скотинушку — и продал за бесценок.

— Да как же это? — удивилась я.— Да за что же?

— За подушные, дитятко ты мое, за подушные. Вишь, душ-то на моем сыне много числится. Старик-то у меня уж робить-то не может, очепно плох, а среднего-то сына в третьем году, как лес ронили, задавило лесиной, вот ихи-те души теперича все на большом-то сыне на одном: вот оно и тяжко. Допреж-то сего жили и мы, как люди, а теперича, как посыпались на нас беда за бедой, да беда за бедой, так мы вконец и разорились. Ну какой он теперь будет работник без лошадушек! Куриц што-есть, и тех продали до единые. И пойдут мои внучата по миру, а сама я вот сюда к племяннице в вожжатки ушла. Все же, думаю, тот кусок-то хлеба у сына останется; и натерпимся, напримаемся все мы холоду и голоду и нужды всякие.

Она умолкла, и только слезы медленно скатывались на голые руки, да высохшая грудь слегка вздрагивала от беззвучных рыданий. Я придумывала, что бы ей сказать в утешение, и ничего не могла придумать. Мне вспом-

нился о. Петр: вот он бы нашелся, он бы не затруднился обратиться с речью к этому удрученному горем сердцу. Мне же казалась дерзостью всякая попытка утешать ее, и не смела я сказать ни единого слова, а только молча смигивала упорно застилавшие глаза слезы. А старуха продолжала стоять передо мной, как живое изваяние скорби, чуть освещенная мерцающим светом лучины, беззвучно шевеля своими бледными губами, то ли творя молитву, то ли досказывая свою скорбную повесть. Догоревшая лучина погасла, и обе мы встрепенулись невольно и вышли из охватившего нас оцепенения.

— Что, вздуть тебе огонька-то али ляжешь спать, касатушка? — зашептала старушка, наклоняясь ко мне.

— Лягу, бабушка, лягу, не трудися!

И, поскорее отодвинувшись от светца, я прикорнула на лежавшую на лавке свою подушку. Старуха постояла надо мной еще с минуту и побрела в свой угол.

Часов около одиннадцати на другой день мы въехали в Алакшинский завод, и я, после двухлетнего отсутствия, снова поселилась под отцовской кровлей. Хотя отец и встретил меня ласково, но все-таки, когда мне пришлось сказать, что слух о моем замужестве несправедлив, я увидела, как его лицо омрачилось. Однако ж он не сказал мне ничего по этому поводу, а только свел разговор на другие, в то время озабочивавшие его предметы. Он не мог решить, куда ему приписаться, и спрашивал

меня, как в этом случае поступают служащие на других заводах. Я сказала, что Володя записался в С-кие мещане, и многие из кужгортских записались или хотели записаться тоже в мещане, некоторые приписывались к крестьянским обществам и только весьма немногие к обществам мастеровых. Я советовала отцу приписаться к обществу алакшинских мастеровых, но ему почему-то это не понравилось. На первое время у нас с отцом нашлось много о чем переговорить: мне пришлось много рассказывать, а также и много выслушивать рассказов, но все-таки я скоро приметила, что я как будто лишняя в семье, что на меня смотрят как на обузу, и в первый раз я крепко призадумалась о своей будущности. Особенно надоедала мне мачеха своими расспросами и соболезнованиями о том, как это мне не нашлось никакого хорошенького женишка в Кужгорте, и укорами моей тетке за то, что она для меня не постаралась.

— А ведь сколько раз начинали здесь говорить о том, что ты, Сонечка, замуж выходишь, — говорила мачеха. — Сначала, говорили, за Игнатьева, тут за Волосатова, за Михалева, наконец, за Белова. Я все радовалась!..

— Так-таки всякий раз и радовались? — перебила я ее. — Ну, значит, очень же вам меня хочется с рук-то сбыть. А я вот назло вам замуж не выйду и останусь старой девой.

После этого начинались уверения в добро-

желательстве и на несколько дней такие разговоры прекращались, но лишь на несколько дней. Если раз что забирала моя мачеха в голову, то это разве только обухом можно было выбить у нее оттуда. И как же я была удивлена и обрадована, когда в один светлый весенний день в нашу маленькую гостиную, весьма жалкую по своей обстановке, вошел Владимир Иванович. Хотя и упало у меня сердце и задрожали колени, но все-таки я была далеко от мысли, что я — единственная причина его приезда в Алакшинский завод. И однако ж оказалось, что это так. Он приехал женихом и даже привез от своего отца письмо к моему, в котором, хотя и не особенно любезно, но все-таки было высказано желание породниться. И я, хотя удивлялась в душе, что отец и мать Владимира Ивановича, слывшие за таких гордых и богатых людей, согласились принять меня в свою семью, даже не видавши, тем не менее была очень довольна и, не думая долго, дала свое согласие. То, что я почти не знала характера своего жениха, совсем не знала условий, в которых мне придется жить, ничуть не беспокоило меня. Я любила и верила и была несказанно счастлива все время, пока была невестой. Через два месяца состоялась наша свадьба, и я оставила Алакшинский завод с его крутыми каменистыми горами, скрывавшими в себе столько богатства, с его добродушными и терпеливыми жителями, бедные жилища которых лепились по склонам этих гор, и с его вечно дымящимися

и стучащими фабриками. Когда мы отъехали от завода версты две, все подымаясь в гору, я оглянулась назад, и невольно мне вспомнились слова Цешковского, что по наружному виду это не более как жалкая, грязная яма. Но в этой яме копошились люди, оставался мой отец и мои сестры, и я, тяжко вздохнув, отвернулась.

ПЕТРУШКА РУДОМЕТОВ

Очерки горнозаводской жизни

I

Маленькое, невеселое поселение около рудника называлось Комарами. Официально рудник, впрочем, был известен под названием Петровского, но в народе это название редко употреблялось. Комары как-то скорее подвертывались на язык. Да правда, в летнее время об них и забыть было никак нельзя: так много их гудело около рудника. Чтобы сколько-нибудь избавиться от них, жители рудника держали в избах курево. Даже отправляясь в огород полоть, женщины брали с собой курево или мазались дегтем. В один из огородов и я поведу читателя. Сидевшие в огороде на меже девушка, Орина Груздева, и молодой, очень еще молодой человек, почти мальчик, Петруша Рудометов, не были от них заколдованы. Комары очень им надоедали, несмотря на курево, разведенное неподалеку, и Петруша, сорвав ветку рябины, обмахивал ею себя и свою собеседницу, торопливо дошивавшую розовую ситцевую рубашку.

— И отколь их столько взялося! — сердился Петруша, оглядываясь кругом. — Уж и досаждают же они мне на работе, а Еремка намеднись даже взвыл от них.

— Небось, взвоешь, — сказала Орина, слегка передернув плечами, которые плохо защи-

щала от комаров старенькая белая рубашка. — Стегни ты меня по плечам, Петруня!

Петруня исполнил ее желание. Орина была не хороша собой, но и не особенно дурна. Ее широкое румяное лицо красилось ласковым взглядом добрых серых глаз и приветливой улыбкой. Она была среднего роста, широкоплечая, крепкого сложения девушка. Ей было двадцать два года. Петруша был мальчик семнадцати лет, но ростом выше Орины, только очень худощав и тонок. У него было красивое, правильное лицо, нос с горбинкой и большие, живые и умные черные глаза. Черные волнистые волосы были сильно спущены и прикрыты обтрепанной фуражкой; сверх холщовой старой рубашки наброшен был дырявый кафтанишко.

Девушка тоже была одета не лучше: белая рубашка и синяя холщовая юбка составляли весь ее наряд.

— Ну, вот и дошила! — сказала девушка, подавая Петруше рубашку. — Это, знать, последнюю рубашку я тебе шила. Кто-то тебя, сиротинку, без меня приголубит?

И Орина ласково и грустно посмотрела на Петрушу, засовывая в пазуху нитки и наперсток.

— А ты куда денешься? — встрепенулся Петруша.

— Да меня хотят замуж отдавать, — сказала Орина так спокойно, как будто это и не касалось ее.

— Замуж? А за кого? — спросил Петруша дрогнувшим голосом.

— За Степана Деньшина в завод; присылали уж сватов.

— И ты пойдешь? — спросил Петруша, впиваясь в Орину глазами.

— И рада бы не пошла, да отец с матерью велят. Больше их не будешь.

Петруша вскочил с места, отошел в сторону и стал смотреть через огород, чтобы скрыть навернувшиеся слезы.

— Чего ты там не видал? — сказала Орина, подходя к нему и заглядывая ему в лицо. — Что загорюнился? Али меня жалко?

— Тебя, Орина, жалко, — заговорил Петруша порывисто, дрожащим голосом. — Послушай, что я тебе скажу: не ходи ты замуж! Пожалуйста, не ходи!

Орина глядела на него с недоумением.

— Да тебе-то что, глупый? Обшивать, что ли, тебя некому? Ну, так из-за этого мне жениху отказывать не приходится. Жених хороший, работящий, смирный; другого такого-то, пожалуй, и не дождешься. Нет уж, Петрушенька, из-за тебя я в девках век вековать не стану.

— Зачем в девках век вековать? Да я бы...

Петруша захлебнулся от волнения и замолчал.

— Ну, что бы ты? — спросила Орина.

— Да я бы тебя за себя взял, — выговорил, наконец, Петруша и отвернулся в сторону. Орина громко расхохоталась.

— Ой, прокурат ты, парень! Право, прокурат! — проговорила она сквозь смех. — Вот сказать ужо девкам, так смеху-то будет!

— Ты девкам лучше не говори, — угрюмо сказал Петруша, — смешного тут не много.

— Как не много! Какой ты жених? Ведь ты еще углан, ни кола, ни двора у тебя нету.

И Орина снова расхохоталась.

— Ты еще и девок-то боишься! — прибавила она, не переставая смеяться. — Ну, нашутил!

Петруша до крови искусал себе губы, пока Орина смеялась, и, наконец, не выдержав, бросился бежать из огорода, не захватив даже своей обновы. Злость, тоска, любовь попеременно волновали и мучили его весь вечер. Это было накануне петрова дня. В петров день Орина встала рано и, нарядившись, отправилась к обедне в завод, заказав матери отдать Петруше рубаху, если он зайдет. Дорогой она не могла удержаться, чтоб не рассказать подругам, шедшим вместе с ней, о прокурате Петрушке. Девушки много смеялись и, разумеется, рассказали об этом знакомым парням.

II

Петруша убежал в лес и воротился домой только поздно вечером в петров день. Он жил с старухой матерью в такой плохой избушке, что надо было удивляться, как еще она стоит. Матери он не застал дома и, отыскав в сенцах на полке краюху черного хлеба, сел под окошко и принялся усердно есть ее, сильно проголодавшись за сутки. Он почти совсем успокоился; поевши, достал гармонику с полки

и стал что-то наигрывать. У Петруши были две страсти: к охоте и к музыке. Последней он удовлетворял до некоторой степени, имея гармонику и бандурку. Но первая оставалась пока неудовлетворенной. Ему страстно хотелось завести ружье, но до сих пор он еще не мог заработать на покупку его денег. Ружье можно было, в крайнем случае, купить и за рубль серебра, но и рубля свободного у Петруши не бывало. Он почел себя очень счастливым, когда один из соседей дал ему однажды ружье на охоту. Но это было год тому назад и только один-единственный раз, после чего Петруша ходил на охоту только с силками и тенетами. Иногда случалось ему убивать спокойно сидящую птицу камнем или палкой, и тогда он торжествовал. Но и это было редко. «То ли было бы дело, если б было ружье», — думал Петруша, вспугивая в своих лесных экскурсиях большую стаю рябчиков или выслеживая где-нибудь на озерке утиный выводок. И в этот раз он видел птицы много и решился, возвратясь, попросить ружья у того же мужика, который уже давал ему раз. «Теперь он пьян, — думал Петруша, поглядывая в окно, — либо нет его дома, а завтра утром я к нему и пойду. Неужто он не даст?»

Но и на другой день неудача преследовала его. Мужик, к которому он пришел, уже продал ружье. В досаде Петру́ша задумал было воротиться домой и, поевши, идти ставить силки, но повстречался с знакомым, который уговорил его идти с ним вместе в хоровод. У него была куплена новая гармоника, втрое

лучше той, которую имел Петруша, а он слыл лучшим игроком на гармонике не только во всем руднике, но и во всем заводе. Был уже второй час дня, когда они подошли к хороводу. С утра день был жаркий и ясный, но в полдень потянул маленький ветерок, и из-за соседней горы поднялась тучка. Петруша с товарищем подошли к кучке парней, стоявших около хоровода.

— Здорово, жених! — приветствовали Петрушу насмешливые возгласы. — С нареченной невестой!

Петруша сконфузился. «Неужели Оринка рассказала?» — думал он. Товарищ Петруши, ничего не слыхавший раньше, тоже удивленно смотрел на него.

— Когда будет свадьба? — приставали назойливо парни, довольные представившимся случаем посмеяться. — Чай, уж и пиво сварено?

— Меня пригласи в шафера, Петрован, — вывернулся из толпы оборванный мальчишка лет двенадцати. — Я чудесный дружка буду: умею на голове стоять и на руках ходить.

— А меня в бояре, — выискался другой из толпы, — я тоже на все штуки горазд!

Петруша угрюмо молчал. Между тем туча надвинулась совсем близко, и начал накрапывать крупный дождь, угрожавший превратиться в ливень.

— Пойдемте в нашу новую избу! — предложила одна из бывших в хороводе девушек. — Неужели так и расходиться из-за дождя, не поигравши.

Все согласились и бегом направились к новой, еще не совсем достроенной избе. В ней не было печи и рам в окнах, но пол и лавки уже были сделаны. Изба была очень просторная, и собравшаяся публика осталась очень довольна помещением. Пригласили туда же войти парней с гармониками, и начались танцы. Петруше предлагали играть на гармонике, но он отказался и, прислонившись к косяку, встал в самых дверях.

— Пусти-ка нас, милый, посторонись! — сказал чей-то грубый голос сзади его, и двое молодых людей в сюртуках и шляпах вошли в избу. Это были сын заводского управляющего и один из служащих в конторе.

— Где-то я тут Петрушку с рудника видел? — сказал сын управляющего, высокий молодой человек, обращаясь к кучке музыкантов. — Отдайте ему новую гармонику и пусть играет кадриль.

— Уж мы его заставляли, да не играет, — ответили ему.

— Как же не играет! Зачем?

— Надо полагать, все оттого, что жениться собрался.

— Жениться! Такой-то углан! Что за вранье!

И молодой человек подошел к Петруше и жестом пригласил его играть.

— Я, Василий Алексеич, играть не стану, — угрюмо ответил Петруша, упираясь, так как тот взял его за рукав и старался оттащить от двери.

— Ну, полно, не артачься, — уговаривал его Василий Алексеич, — сыграй хоть одну кадриль.

Петруша начал колебаться и уже отошел от дверей. В это время в избу вошла Орина с своей подругой и своим будущим женихом. Мальчишки снова обступили Петрушу и принялись дразнить, называя отставным женихом. Василий Алексеич отошел и встал на свое место в уверенности, что Петрушка сейчас заиграет. Орина тоже поместилась в число танцующих пар с своим женихом неподалеку от Петруши. Увидав его, она весело рассмеялась. Петрушка вдруг почувствовал, что у него мурашки забегали по спине и задрожали колени.

— Не буду я играть! — сказал он сердито и громко, исподлобья глядя на Орину, которая разговаривала с женихом, повернувшись лицом к Петруше.

— Ну так и убирайся к черту! — закричал на него управительский сын и, схватив его за плечи, вытолкал за дверь. Хотя это было сделано быстро, но мальчишки все-таки успели послать вдогонку Петрушке несколько насмешек. Один даже выскочил вслед за ним на крыльцо, кривляясь и величая его женихом. Петруша, все время сдерживавшийся, вдруг рассвирепел. Он схватил мальчишку за волосы и сбросил с крыльца на кучу стружек и щеп с такой силой, что мальчишка даже потерял способность кричать. Потом Петруша пустился бежать вдоль улицы, не обращая внимания на крупный и частый дождь, смо-

чивший его до нитки в одну минуту. Задыхаясь от злобы и горя, трясясь, как в лихорадке, он бежал сам не зная куда. Улицы были пусты, но в домах слышались говор и песни. Пробежав улицу, Петруша, наконец, опомнился. Чтобы попасть на дорогу в рудник, он должен был или вернуться назад мимо дома, из которого его так бесцеременно выгнали, или пройти в переулок и вернуться по другой улице. Он предпочел последнее, и теперь ему приходилось пройти мимо дома управителя. Окна низенького флигеля, занимаемого его сыном, были отворены настежь, хотя в комнатах не было видно никого. Петруша взглянул в окна как-то машинально, и первый предмет, бросившийся ему в глаза, было ружье, висевшее на стене перед окном. Петруша вдруг будто прирос к месту. Потом подошел к окну вплоть и, как бы укрываясь от дождя под навесом крыши, заглянул в комнату — никого! Он перешел к другому окну, в другую комнату, и там тоже никого. Прислушиваясь, он несколько времени в раздумье глядел на ружье. Стоило только отодвинуть стоявший у окна стул, шагнуть в комнату, схватить ружье, выскочить обратно и бежать прямо в лес. Как только эта мысль выяснилась в голове Петруши, он сейчас же и привел ее в исполнение, и, на счастье или несчастье, совершенно благополучно. Никто ничего не видал и не слыхал, и даже навстречу Петруше никто не попался, пока он бежал до лесу. А в лесу Петруша чувствовал себя уже вполне безопасным в это дождливое время. Оттуда по знако-

мым тропинкам, далеко обойдя рудник, он прошел к глухому, давно ему известному месту и, бережно обсушив ружье и полюбовавшись им некоторое время, спрятал его в дупло.

III

Через две недели после петрова дня была свадьба Орины. Она несколько раз пыталась зазвать Петрушу к себе на девишник, но он упорно отказывался. В будни он с удивительным прилежанием рыл свою гору, а праздники пропадал в лесу. Несмотря на все желание употребить ружье в дело, он еще не смел, боясь натолкнуться на кого-нибудь. Если б еще это было простое ружье, а то двустволка. «Никто не поверит, чтобы я купил», — думал Петруша. Целые дни и ночи ломал он голову над тем, как бы сделать ружье неузнаваемым, и эта забота совсем вытеснила из его головы мысль об Орине. Раз он все-таки не утерпел и крадучись, где ползком, где как, пробрался с ружьем в самую глухую чащу леса, почти не посещаемую охотниками, и убил несколько штук дичи, которую и продал в заводе, отстоявшем от рудника за пятнадцать верст. Успех ободрил его и, полагаясь на то, что все тропинки в лесу ему были так известны, как улицы родного селения, он стал ходить на охоту так часто, как только мог. Выручаемые за убитую дичь деньги он копил на ружье. Он приискал еще несколько тайников, где

мог прятать ружье; а для себя устроил из ветвей и древесной коры шалаш, чтоб отдыхать и укрываться от дождя. Если б было можно, он совсем бы поселился в лесу на время охоты, но страх привлечь на себя внимание не допустил его до этого. Как только у него набралось денег около трех рублей, он тотчас же купил ружье, уже давно приторгованное им в том заводе, где он продавал дичь.

Но Петруше долго не представлялось возможности пользоваться своей покупкой, так как наступили непрерывные осенние дожди, сопровождаемые суровым, холодным ветром и слякотью. Весь октябрь стояла такая погода, и только к концу подстыло и снежок запорошил и грязные улицы и дорогу с ее глубокими колеями, и глыбы ржаво-красной земли в изрытой горе, и кучки добытой руды. Тяжел был этот месяц для Петруши, так как у него не было теплой одежды. Хотя он сильно не любил работу в шахтах, но все-таки недели две работал там, потому что тут было, по крайней мере, тепло и не мочил дождь. Но чуть запорошил снежок, как Петрушу опять потянуло в лес, и, бросив работу, он стал пропадать целыми днями. Хотя ружье было далеко хуже того, из которого Петруша привык стрелять последнее время, однако он предпочитал его, потому что с ним не было надобности прятаться. Отправляясь в лес, он запасался только краюхой хлеба с горстью соли, и в этом состояла вся его пища. Изредка к этому прибавлялось несколько картофелин или луковиц, и тогда Петруша уже считал свою

трапезу обильной. Случалось, впрочем, что он пек какого-нибудь рябчика или утку, которую слишком сильно разнесло дробью, но это бывало редко. Он был изумительно терпелив, спокоен и вынослив, привыкнув с раннего детства ко всевозможным невзгодам и лишениям. В последнее время, однако ж, у него начинало появляться смутное желание улучшить свое положение, и он понял, что этого достичь можно только усиленным трудом. Но ведь и к труду тоже надо привыкать с детства. А его детство прошло в бестолковом шатаньи по улицам и окрестностям рудника, в играх и драках с сверстниками. В заводе хотя и существовала школа, но в нее попадал из десяти мальчиков один; остальные же находили, что гору копать можно и не зная грамоте. Петруша не попал в школу как потому, что сам не имел охоты учиться, так и потому, что матери это как-то не вспало в голову, а отца у него не было. Слабая и болезненная мать, получавшая от заводовладельца 1 руб. 20 коп. пенсии, всегда и вполне подчинялась всем желаниям своего сынка. В руднике начинали уж поговаривать, что из Петрушки не выйдет проку, как вдруг парень сам взялся за ум и года полтора назад, в одно утро, примкнул к кучке рабочих, копающих гору. Так как плата производилась задельно, а в рабочих не было особенного избытка, то Петруша был принят без всякого замедления. Ему отвели место, дали лопату, кирку и тачку, огородили досками пространство земли величиной в

квадратную сажень, а вышиной в пол-аршина для ссыпания добытой руды, и он принялся за работу.

IV

Так прошла вся осень; стояла оттепель, время перед рождеством. Сырой теплый ветер порывисто дул с горы, стонал и завывал в лесу, почти задувая пару пылающих головней, воткнутых в снежную пирамиду, возле которой работал Петруша. Он принес себе огня из костра, разложенного рабочими по другую сторону того воронкообразного углубления, на краю которого он работал. Петруша сгребал с большой кучи руды снег, покрывавший ее толстым слоем, для того чтобы возчикам, которые будут на другой день перевозить руду, не было задержки. Самая добыча руды в этом открытом руднике по зимам не производилась. По случаю оттепели и сырого, осевшего снега, выгребание даже прежде добытой руды составляло довольно утомительную и медленную работу. Петруша сильно устал и, покуривши, сидя на глыбе, затянул унылую, однообразную песню, напев и слова которой вполне гармонировали с окружающей мрачной природой. В песне говорилось о том, что «студена зима настала, а у молодца нет шубенки, нет тулупа, нет и теплых сапогов, не в чем к Саше в гости побывать». Песню подхватили у костра, и вот она потянулась, сливаясь с завываньем ветра. Но скоро и эти грустные звуки оборвались и умолкли, точно унесенные

порывом ветра в узкую соседнюю лощину, где и превратились в долгий, протяжный стон. Рабочие принялись за прерванную на время работу и работали долго, пока совершенно стемнело и в селении появились огни. Работа была взята на подряд, и потому они спешили ее окончить скорее. Но как ни спешил Петруша, ему все-таки пришлось отстать от друтих и поработать еще несколько минут после того, как голоса и шаги уходивших рабочих замолкли в отдалении. Поздно возвращался он к своей старенькой, плохой избушке, совершенно почерневшей от дыма лучины, где ожидал его скудный ужин. Уныло повесив голову и вскинув лопату на плечо, он тихо шел по улице, отдавшись тоскливой думе о своей бедности. Из ворот ближайшего к реке дома в нескольких шагах от Петруши вышла женщина с коромыслом и ведрами и проворным шагом направилась к реке. Наконец женщина остановилась над прорубью и запела.

Петруша остановился; его поразил голос, молодой и звучный, и манера петь. «Кто это? — думал он, удивленный. — Наши девки так не поют. Кто это? Откуда?» В другое время он подошел бы ближе, чтоб рассмотреть в лицо, но тут на него напал какой-то страх, и он молча стоял на месте. Поющая женщина, должно быть, не видала его; зачерпнув воды, она тихо пошла к дому, и Петруша глядел ей вслед до тех пор, пока ее фигура не слилась с окружающим мраком. Придя домой, он не переставал думать об этом необычайном явлении весь вечер, стараясь сыграть

на гармонии слышанный мотив. «Ни у кого нет такого голоса ни здесь, ни в заводе, — думал про себя Петруша, — я его впервой слышу». Даже во сне Петруше слышался этот голос и снились какие-то невероятные, непонятные сны. Первый вопрос Петруши, когда он встретился днем с знакомым парнем, был такой:

— Не знаешь, кто живет у Конева?

— У Конева? Да никого нету. Сами они и живут.

— Нет, у него есть кто-то приезжий.

— Никого приезжих нету. Только Наташка приехала третьеводни.

— Это что за Наташка?

— А его дочь, что жила у мирового в горничных.

Наступили святки, и в первый же день на вечеринке у Груздевых, устроенной оставшейся в старших сестрой Орины, Анной, Петруша увидел Наталью Коневу. Это была хорошенькая белокурая девушка с насмешливыми голубыми глазами, с несколько толстыми, часто складывающимися в пренебрежительную усмешку губами. По одежде и манерам она резко отличалась от жительниц рудника. Ее светло-зеленое шерстяное платье с панье и оборками ловко охватывало стройную, тоненькую талию. Серебряный медальон на красной ленточке, длинными концами ниспадавшей по спине, служил предметом зависти и удивления ее сверстниц. В начале вечера она очень важничала и почти не вмешивалась в игры подруг, сидя на единственном стуле

в избе в позе скучающей барышни и следя за прибывающими в избу кавалерами. А кавалеры, как нарочно, почти все были из числа рудничных рабочих. Ни одного сюртука, ни одного, сколько-нибудь заслуживающего ее внимания. Короткие из дешевого драпа или трико пальто, из-под которых виднелись выпущенные сверх брюк ситцевые рубашки, грубые лица, красные, большие и жесткие руки и совершенное отсутствие галантности лакеев и писарей, с которыми Наталья до сих пор водила свои знакомства. Но вот составился кружок, и Наталья, обладавшая очень недурным голосом, встала в круг и присоединила свой голос к хору. Петруша сидел на лавке с гармоникой, машинально подыгрывая поющим, и не сводил своих разгоревшихся глаз с девушки, очаровавшей его своей красотой и голосом. Наталья вскоре заметила эти большие, черные глаза, упорно уставленные на нее, и, хотя ей понравилось красивое лицо, которому появлявшиеся усики придавали вид возмужалости, но слишком простой и даже бедный костюм Петруши заставил ее презрительно отвернуться от него. Между тем вечер пошел веселее и оживленнее, потому что появилось двое заводских франтов, одетых уже совсем по-европейски. Блестящие цепочки нового золота и красивые, с лакированными носками штиблеты производили ослепительный эффект. Но, к сожалению и тайной досаде Натальи, они не пригласили ее танцевать, и ей пришлось просидеть первую кадриль. Петруша сидел как на иголках и, к общему удив-

лению, играл крайне вяло. Ему вдруг пришла охота танцевать, показать, что он не хуже этих франтов знает фигуры кадрили и что вообще он ничем не хуже их, хотя и одет бедно. По окончании кадрили он вручил свою гармонику молоденькому парню и присоединился к кучке танцоров, отиравших вспотевшие лбы. Снова составилась кадриль, и хотя Петруша не успел пригласить Наталью, на этот раз танцевавшую с одним из франтов, но пригласил какую-то другую знакомую девушку и танцевал с увлечением. Большая и высокая изба Груздева, парадно освещенная двумя сальными свечками, все-таки слишком много поглощала свету, и потому в ней царствовал полумрак, но танцующие не находили в этом никакого неудобства. Кадрили быстро следовали одна за другой, чередуясь с святочными играми, и бал кончился только в пять часов утра. Петруше удалось попасть в число провожавших Наталью, и дорогой он выказал все свое искусство в игре на гармонике. С этого времени Петруша сделался одним из самых прилежных работников. Самые старые, годами приобревшие навык в работе рудокопы удивлялись его неутомимости и ловкости. Так как плату рудокопы получали за известное количество добытой руды, то он скоро достиг самой высокой цифры заработной платы, какую только можно было получить. Его рвение, веселье и бодрость сообщились и артели, и он скоро стал на дружеской ноге со всеми рудокопами. Все свои заработки Петруша тратил на костюм и скоро оделся не хуже

других рудничных франтов. Воскресные вечера он опять стал проводить в доме Груздева, потому что тут всегда бывала Наталья, которую сердитый отец почти никуда не пускал, кроме Груздевых, приходившихся ей родней.

V

Так прошла вся зима, и наступила весна, ранняя и теплая. Высыпали на улицу насидевшиеся за зиму в душных и тесных избах ребятишки, а за ними и взрослые стали выходить посидеть на завалинке и скамеечке у ворот. Девушки с рукодельем и парни с гармониками тоже стали собираться кучками и долго засиживались по вечерам. В один из теплых вечеров Петруша сидел на бревне напротив Натальи, довязывавшей чулок.

Между молодыми людьми за зиму установилась некоторая короткость. Наталья садилась к Петруше на колени и разбирала и разглаживала его волнистые волосы. Она постоянно звала его Петей и Петенькой, но он ее всегда звал Натальей Васильевной. Иногда она трепала его по щеке или хлопала по плечу и смеялась над его краской и смущением. Петруша бывал в это время на верху блаженства, и у него являлась смелость обнять и поцеловать Наталью, что и ей не было неприятно. Однако ж дальше этого, вследствие робости Петруши и вследствие постоянного надзора за молодежью со стороны старших, их отношения не заходили.

— А ведь у нас весной хорошо, Наталья Васильевна, — начал Петруша.

— А что хорошего?

— Тепло, полянка зеленеет, на черемухе листья распустились, птица прилетела...

— Да ведь теперь и везде тепло. Нет, у меня и зимой, и весной все одна дума: как бы отсюда уехать!

Не раз в течение зимы Наталья жаловалась на скуку и на бедность отца. Живя в горничных, она привыкла к хорошей пище, привыкла пить чай. Семейство у Василья Конева было большое, а работников только он один; в последнее время, правда, начинал помогать отцу двенадцатилетний сын, но эта помощь была еще слишком ничтожна. Наталья занималась шитьем и вязаньем, но этой работой можно было заработать, как говорится, только из-за хлеба на квас. Мать уже давно ворчала, чтоб Наталья шла вместе с отцом в шахту, как делали другие рудничные девушки, но избалованной трехлетним хорошим житьем Наталье эта работа казалась и тяжелой и грязной. Она упорно отказывалась и просилась, чтобы ее отпустили опять куда-нибудь на сторону в горничные или даже в кухарки.

— Это у тебя одно баловство на уме, — возражал ей отец и не отпускал. В последнее время семейство его еще увеличилось вновь явившимся на свет членом, и тягость стала еще заметнее. Мать чаще ворчала, Наталья огрызалась и упрекала и отца и мать, что, живя у них, она замерла с голоду и обноси-

лась, и настоятельно просилась в город, где давно уже жила ее тетка, неоднократно наказывавшая, чтоб Наталья ехала в город, что она найдет ей хорошее место. Отец молчал и думал, а мать, хотя в душе и была согласна отпустить Наталью, не решалась говорить, зная, что пока отец не надумается сам, то не послушает никаких резонов. Петруша знал все это, и не раз его сердце больно сжималось при мысли, что вот Наталья куда-нибудь уедет и он опять останется один как перст. При новом напоминании девушки об отъезде Петруша повесил голову.

— И тебе никого не жаль здесь? — спросил он, помолчавши и опять заглядывая Наталье в глаза.

— Кого мне жалеть? Отца с матерью жалеть не причитается, потому они сами меня не жалеют. Мать гонит в шахту руду добывать, отец никуда не отпускает. Сам видит, что жить мне здесь не у чего, и все не отпускает.

— Ну, может быть, жених найдется и ты выйдешь замуж?

— За кого я выйду? Богатый не посватается, а за бедного я сама не пойду, — отрезала Наталья и, помолчав, прибавила: — За бедного выйти — опять то же будет: либо иди с ним в шахту робить, либо сиди над одними щами из круп.

— А знаешь что, Наталья Васильевна, — несмело проговорил Петруша, — ведь это только так кажется, что в шахте тяжело робить. Я прежде сам не любил, а ныне привык —

и ничего. Вот кабы ты в нашу артель попала, так я бы за тебя половину работы робил, а ты бы только деньги получай...

Наталья весело рассмеялась.

— Однако ты прокурат, Петруша! — сказала она. — И уж, как погляжу я, больно до девок-то охоч!

— Ну, это ты напрасно, Наталья Васильевна, — обиженно заговорил Петруша, — это я не для всякой, а для тебя только.

Наталья оглянулась кругом и, снова рассмеявшись, сказала:

— Кабы не народ на улице, поцеловала бы я тебя... Уж так бы поцеловала!

На другой вечер, когда Петруша, приодевшись после дневной работы, вышел из избы, чтобы идти к дому Конева, его окликнула в окно Анна Груздева:

— Слышал про Наталью?

— Не слыхал, — ответил он, с беспокойством взглянув на Анну.

— Письмо ей пришло из города от тетки: место, пишет, предоставлю.

— Может, отец не отпустит, — проговорил Петруша упавшим голосом.

— Отпускает отец, надумал уж. Завтра хочет билет выправлять в волостном. Наталья ушла в завод искать попутчиков.

Петруша повесил голову и молча пошел по дороге в завод, надеясь встретить Наталью. И точно, он встретил ее почти у самого рудника.

— Прощай, Петенька! — еще издали закричала Наталья, весело прыгая с камня на ка-

мень, чтобы как можно сберечь свои ботинки. Ее лицо разгорелось от ходьбы, глаза сияли удовольствием. С невыразимым волнением глядел Петруша на эту девушку, казавшуюся ему такой несказанной красавицей. Когда Наталья подошла к нему совсем близко, он вдруг схватил ее в свои объятия и стал целовать ее раскрасневшиеся щеки и раскрывшиеся от испуга алые губы.

— Что ты, что ты! — сначала ласково отбивалась Наталья. — С ума ты сошел никак! Среди дороги напал! Пусти!

И она сердито рванулась и отошла в сторону, оправляя свой костюм. Петруша молча, с виноватым видом шел за ней.

— Хотя бы ты на минуточку зашла со мной в лесок, хоть бы побаяли, простились бы, — умолял Петруша. Но Наталья проворно шла, не обращая на него внимания. У ворот она остановилась и обернулась.

— Ну, прощай, ведь еще увидимся, я еще дня через три поеду, — сказала она с лаской во взгляде и голосе.

Петруша молча глядел на нее, в глазах у него стояли слезы.

— Ох, парень, парень, беда мне с тобой! — вздохнула Наталья и скрылась за воротами. Долго в ту ночь она не могла заснуть, ей все мерещилось молодое, красивое лицо Петруши, его то горящие страстью, то ласковые и грустные глаза, его жаркие поцелуи.

— И хорошо, что я еду, а то, пожалуй, недолго и до беды, — усмехнулась про себя На-

талья, укутывая себе плечи старой кофточкой и стараясь заснуть скорее.

Через три дня Наталья уехала. Петруша не пришел проститься, когда она отправлялась из дому, но уже за заводом он вдруг вышел с тропинки из-за кладбища с ружьем за плечами и подошел к подвигавшейся шагом телеге. Наталья весело спрыгнула и пошла с ним рядом. Но тщетно старалась она вовлечь Петрушу в какой-нибудь пустой разговор; он упорно молчал, уныло повесив голову. Даже лицо у него за эти дни как будто похудело и осунулось. Так шел он верст шесть и наконец сказал глухим голосом, указывая на узенькую тропинку, ведущую в лес:

— Мне сюда надо. Прощай, Наталья Васильевна, не поминай лихом!

VI

В день Александра Невского в заводе был храмовый праздник, и к вечеру все рабочие, которые пили водку, были или пьяны, или навеселе. В числе последних был и Петрушка. По отъезде Натальи он стал заглушать вином чувство тоски, становившееся все сильнее и сильнее. Раньше он вина почти не пробовал, но когда попробовал, то ему очень понравилось его действие. После двух-трех стаканов язык развязывался, тяжести и горя на сердце как не бывало, даже движения и жесты становились живее и вольнее. Успех Петруши у женщин навлек на него вражду завистни-

ков, но те, которые схватывались с ним один на один, были всегда побиваемы. В этот день против Петруши составился заговор между самыми отчаянными кутилами, наиболее недовольными возрастающими успехами и популярностью Петруши.

— Надо ему обломать бока, — говорил Яков Плотников, более известный в заводе под именем Яшки Гвоздилы, — совсем зазнался парень! Я говорил ему вчера: давай, мол, завтра с утра гулять вместе. Нет, бает, у меня, и кроме вас, есть с кем гулять. Захожу теперича к Грушке, смотрю, барышня наша перед зеркалом так и вертится. Я полштофа на стол: Аграфена, мол, Егоровна, побеседуемте! Некогда, говорит, иду в хоровод играть!

— Ну, ее в хоровод не примут, — заговорила слушавшая Гвоздилу молодежь.

— Принимают! — выскочил из толпы низенький рябой мальчишка всего еще лет четырнадцати. — Слышь, Петрушка сказал девкам, что ежели они Груньку не примут в хоровод, то он и сам не придет и парней не пустит. Он для девок теперича все равно что начальство: что прикажет — все исполняют.

Между тем Петрушка смешил прибаутками толпу девушек, собравшуюся играть на полянке. Вскоре на перекрестке показалась Аграфена Егоровна Мурашева, запросто известная под именем Груньки Мурашевны, красавица, благосклонностью которой пользовался в последнее время Петрушка.

Когда-то, лет шесть-семь тому назад, это была скромная и работящая девушка, но с

ней случилось несчастье, о котором поется в песне:

Любил парень девушку,
Любил, да покинул...

У Груни не было матери, и когда, ввиду неизбежной огласки ее любви, она повалилась в ноги отцу, он, в ответ на мольбы и слезы, схватил ее за косу и вытащил за ворота с строгим наказом не казать ему больше бесстыжих глаз. Груня так и сделала. Она нашла приют у одной солдатки, пользовавшейся весьма дурной репутацией, и скоро сама прослыла за самую отчаянную в заводе. Но года три тому назад ее отец внезапно умер, а так как у мачехи ее не было детей, то Груня вдруг оказалась единственной наследницей отцова имущества, состоящего из дома, коровы и койкакой рухляди. Так же безжалостно, как когда-то ее выгнали, выгнала она свою мачеху и поселилась в доме отца. Сначала она хотела повести честную, трудовую жизнь, но старые приятели и беспорядочные привычки помешали осуществиться этому намерению. Положение Груни было таково, что ее каждый мог обижать и оскорблять безнаказанно. Ее домишко часто против ее желания был театром буйств и драк, и она все сильнее начала сознавать надобность в прочной защите. «Хоть худ мужичишко, да огородишко». — думала Груня и таила в душе все сильнее и сильнее желание выйти замуж. Когда она сошлась с Петрушей, надежда, что он, как молодой, неопытный, не имеющий гроша за душой па-

рень, возьмет ее за себя, была почти единственной причиной этого сближения.

Смиренно опустив глаза, она подошла к хороводу и низко поклонилась девушкам, пожелав им весело играть. Аграфена была красивая темноволосая девушка лет двадцати трех, и хотя лицо ее огрубело несколько от прежней беспорядочной жизни, но, принарядившись в одно из своих лучших платьев, накрыв волосы пунцовым кашемировым платочком, она имела совсем приличный вид. Она скромно остановилась в стороне, ожидая приглашения со стороны играющих, и оно не замедлило.

— Становись в хоровод, Аграфена Егоровна! Милости просим, поиграй с нами! — заговорили девушки, любезно расступаясь, и Груня встала в хоровод.

Около играющих начинали собираться зрители. Бабы скоро приметили Аграфену и отнеслись к ее появлению в хороводе совсем не так снисходительно, как девушки. Однако ж они ограничились бы, вероятно, толками и шушуканьем между собой, если б к кружку не подошла Федосья Башмакова, жена пудлингового мастера, суровая и грубая женщина лет сорока, известная строгостью нравов и прямотой. Ее зоркие глаза, внимательно оглядывавшие наряды девушек, не вдруг заметили Аграфену, но как только заметили, так и полилось ее негодование неудержимым потоком. Сейчас же растолкав хоровод, она вытащила оттуда свою дочь и племянницу и прогнала их домой. А затем принялась

стыдить остальных девушек за то, что принимают в хоровод развратниц и пьянчуг. Аграфена вышла из толпы девушек и, отойдя к стороне, закрыла лицо платком и заплакала. Ни один голос не поднимался в ее защиту, хотя в числе собравшихся тут женщин и девушек было немало таких, которые были не лучше ее, но только у них были отцы или мужья, прикрывавшие их грехи.

— Да что вы ее слушаете, красны девицы? — раздался, наконец, голос Петруши, который сначала опешил, как и все. — Видите, она пьяна!

— Я-то пьяна! — звонко закричала Башмачиха, прерывая Петрушу. — Ах ты, щенок, молокосос! Угланишко! Да когда ты меня пьяную видел? Хворостиной бы тебя!

— Не тебе ли хворостину-то эту в руки дать? — смеясь, подбоченился Петруша. — Шалишь, тетушка, руки коротки!

— Не плачь, Аграфена Егоровна, — раздался чей-то грубый голос над самым ухом Аграфены.

Аграфена отняла платок и взглянула. Перед ней стоял один из заводских рабочих. Это был уже немолодой человек, одетый просто в бешмет, из-под которого мелькала розовая ситцевая рубашка. Аграфена его почти не знала или, лучше сказать, знала об нем только то, что он вдов и живет где-то за рекой со своей замужней дочерью.

— Как мне не плакать? — вздохнула она. — Заступиться за меня некому. Всякий, кому охота, меня облает среди улицы.

И, снова заплакав, она пошла домой.

— А ты плюнь! — снова посоветовал Аграфене ее новый знакомый, идя с ней рядом. — Ты не гляди на то, что я серый да неумытый. Мы, хотя и мужики, а также люди и понимать можем. Ты на рожу мне не смотри, а в душу мне загляни...

Аграфена с недоумением взглянула на своего спутника и, встретив пристально устремленный на нее взгляд карих глаз, почувствовала какую-то странную тревогу. Где-то далеко в глубине этих глаз светилось теплое человеческое чувство... Аграфена опустила голову и вздохнула. Они подошли к ее дому.

— Ежели дозволишь, я зайду к тебе, Аграфена Егоровна, — сказал мужик, останавливаясь у ворот, — мне с тобой бы поговорить нужно.

— Милости просим, — сказала Аграфена, отворяя ворота.

VII

Наступила тихая безлунная ночь; только звезды ярко горели на темно-синем небе. Улицы затихали; кое-где только слышались шаги запоздавших пешеходов да звуки гармоники. Но в большей части домов было шумно и весело, а в некоторых не только шумно, но и буйно. К числу последних в былое время принадлежал и дом Аграфены, но в этот вечер в нем была тишина, удивлявшая всех, проходивших по улице. Это было тем более удиви-

тельно, что, судя по силуэту широкой мужской спины, рисовавшемуся в освещенном окне, можно было заключить, что у Аграфены гости.

Да, у ней был гость, все тот же проводивший ее с гулянья рабочий. Он сидел за столом, перед ним стоял штоф с водкой и пирог с рыбой. По другую сторону сидела Аграфена, облокотившись на стол обеими руками. Ее лицо было одного цвета с тем ярко-красным платком, который она сняла с головы по приходе домой и повесила на гвоздь возле зеркала, и теперь ее черные глянцевитые косы были покрыты только сеткой из черных ниток. Перед ней на обрубке дерева, заменявшем стул, сидела старушка-нищенка, жившая у Аграфены ради Христа. Она держала в руках кусок пирога и медленно ела его, осторожно выбирая рыбьи кости. Шло сватовство. Когда именно явилось у Федота Васильевича (так звали мужика) желание посватать Аграфену, определить трудно, но теперь он уверял, что эта дума у него давно на уме, и красноречиво убеждал Аграфену поскорей ударить по рукам.

— Вот бабушка и руки разоймет, — говорил он, — а потом, благословясь, и за свадебку. Советоваться у тебя не с кем: ни отца, ни матери, и у меня никого, окромя дочери, а дочь отцу не указчица. Я считаю себя так, что я один как перст и ты одна. Думать тебе тоже много нечего: я перед тобой весь налицо. Я не пьяница, хоть, конечно, испиваю по праздникам.

— Кто ныне не пьет-то, — прошамкала старуха, — не то надо спрашивать, кто пьет, а то, каков во хмелю живет.

Аграфена молча подняла потупленные глаза и, поглядев на старуху, медленно перевела их на лицо жениха.

— Я во хмелю смирный, — заговорил тот поспешно, — нисколь не буянлив. В этом будь без сумленья, я не то, что драться, не избраню николи.

— И корить меня не будешь, что была нечестная? — выговорила Аграфена каким-то глухим голосом, точно насильно выдавливая его из горла и не отводя своего пристального взгляда от лица жениха.

— Что ты, Аграфена Егоровна? Николи не укорю, беру зазнамо.

— Все ли ты знаешь? — снова заговорила Аграфена так же медленно и глухо. — Гульная я была, самая отпетая во всем заводе, по улицам с парнями в обнимку ходила пьяная-распьяная...

Федот Васильевич хотел что-то говорить, но Аграфена положила к нему на плечо руку, требуя молчания, и продолжала:

— В ту пору, как я своего дитю схоронила, у меня сердце стало словно камень. Не стало во мне ни стыда, ни жалости, ни совести...

— Да что ты со дна-то у себя выворачиваешь? — перебила старуха-нищенка, вдруг встав с места и заговорив с неожиданной силой. — Ты богу кайся, а не людям. Люди и все не без греха.

— Известно, не без греха, — снова поспеш-

но заговорил Федот Васильевич. — И ты это напрасно, Аграфена Егоровна, себя обносишь. Мало ли что бывало! Ты забудь и не поминай, и я не помяну, — и Федот Васильевич перекрестился широким крестом. — Будем жить в законе, будем закон блюсти.

Рука Аграфены тяжело упала на стол; она задумалась, уставив глаза в пустое пространство, и ничего не отвечала.

— Не думай ты, не думай! И не сокрушайся понапрасну, — опять заговорил Федот Васильевич, стараясь заглянуть ей в глаза, — а говори прямо, коли есть у тебя охота за меня идти. Говори.

— Не трони ты ее, — сказала старуха, отходя от стола и садясь на голбчик, — пусть она эту думу одумает.

— Да что думать-то? Что? Не сумлевайся ты ни в чем и не думай ничего; эх-ма! — Федот Васильич глубоко вздохнул и замолчал, истощив все свое красноречие. Помолчав, он налил в стоящие перед ним и Аграфеной рюмки водки и сказал: — Ну, так по рукам, что ли, Аграфена Егоровна? Вот и запили бы.

— Запивать-то твоим надо, — ответила Аграфена, выходя из задумчивости и берясь за налитую рюмку.

— Так что ж? Коли прикажешь, так я сейчас, — заговорил Федот Васильич, вставая.

— Нет, нет, — остановила его Аграфена, — ты со своим-то пожалуй завтра, да и свата с собой приведи. Тогда и по рукам ударим, коли хочешь, при свидетелях.

— Ну, и на том спасибо, — обрадовался Федот Васильич. — Я мастера своего, с которым роблю у одной печи, приведу.

Порешивши на этом, Федот Васильич и Аграфена расстались, выпивши еще на прощанье. Проводив гостя, Аграфена заперла на жердь ворота и, возвратившись в избу, поспешно стащила с себя свое нарядное платье и сетку и, бросив на лавку, легла спать. От выпитого вина, слез и волнений, пережитых за день, у нее сильно болела голова. Старуха-нищенка подошла и стала бережно складывать наряд Аграфены.

— Никого не пускай, бабушка, если кто застукается, — сказала ей Аграфена, подымая голову с подушки. — Да погаси огонь-то скорее.

Сложив платье, старуха убрала остатки пирога и водки в шкап и задула свечу. В это самое время на улице раздался протяжный молодецкий свист. Аграфена вздрогнула и, снова приподняв голову, проговорила:

— Не сказывай меня, бабушка, дома.

— Не поверит, — отрывисто прошептала старуха, приникая лицом к стеклу.

Свист повторился ближе, почти под самыми окнами. В то же самое время раздался топот и крики бегущих людей.

— Бей его, ребята! Валяй его, мошенника!

— Никак Петрушку бьют! — проговорила старуха каким-то свистящим тоном, тщетно стараясь разглядеть что-нибудь в массе барахтающихся посередине улицы людей. Аграфена вскочила с постели и припала лицом к друго-

му окну. Ее зоркие глаза сейчас различили высокую фигуру Петрушки, храбро отбивавшегося от сыпавшихся на него ударов. Дрались кулаками. Нанося здоровые удары направо и налево, Петрушка старался приблизиться к воротам Аграфены, рассчитывая проскользнуть в них и запереть их за собой. Но когда он наконец прислонился к ним и, продолжая отмахиваться левой рукой, правой нажал щеколду, ворота оказались запертыми. Ворота были новыми, жердь крепкая.

— Грушка, отвори! — громко крикнул Петрушка, прижавшись спиной к воротам. Его позиция теперь была хороша, и нападающие остановились, ожидая, что ворота отворятся, и готовясь ринуться следом за Петрушкой. Но ворота не отворялись.

Между тем шла крупная перебранка; потерпевшие от Петрушки подзадоривали других, Петрушку разбирало зло, что его не впускают. В руках одного из нападающих появилась здоровая палка.

Петрушка прыгал и увертывался от ударов с изумительной ловкостью, но все-таки ему досталось порядком, и, свалив сильнейшим ударом кулака в глаз своего главного противника Гвоздилу, он пустился бежать. За ним не погнался никто, потому что с противоположной стороны приближались полицейские. Начинало рассветать.

VIII

Что это за странные завывания! Точно протяжные стоны какого-то громадного чудовища. Рудометов, ходивший с ружьем в лесу, быстро поднял голову и стал прислушиваться.

Увы! Это тревога на Угольном, тот потрясающий нервы свисток, которым дают знать, что случилось несчастие. Рудометов, что было силы в ногах, пустился бежать по узенькой тропинке сквозь частый лес к каменноугольным копям. Когда он прибежал на место работ, то по клубам густого черного дыма, валившего из шахты, служившей для вентиляции воздуха, понял, что в копях произошел пожар. Еще утром он слышал запах дыма с этой стороны, но, предположив, что это нанесло ветром с завода, не обратил внимания. Он миновал шахту с лестницами, по которым спускались рабочие в копи, и быстро пробежал к тому месту, где находилась другая шахта, через которую поднимали добытый уголь; около нее стояла кучка рабочих.

— Рудометов! — обратились к нему из толпы. — Тебя Петр Петрович спрашивал.

— Где он?

— В работах.

— Спустите меня, братцы, — сказал Рудометов, вскакивая в вагон, колеблющийся на канате над отверстием шахты, и дергая звонок.

Его спустили. В том широком и высоком коридоре, в который спустился Рудометов, воздух был еще хорош, дымом почти не пах-

ло, и он побежал в ту сторону, где, по его мнению, должен быть пожар. Заторопившись, он не взял с собой фонаря и быстро бежал вперед, пока не заслышал бегущих к нему навстречу и громко разговаривающих людей. Они тоже были без фонаря, и Рудометов по голосу узнал между ними смотрителя.

— Петр Петрович? — окликнул он, когда они уже почти столкнулись.

— Рудометов, это ты? Где ты пропадал? Вели принести фонарей да распорядись, чтоб как можно скорее спускали сюда досок, надо заделывать вход в новые штреки, там горит. Распорядись еще, чтоб добывали и подкатывали песку засыпать входы.

— А заливать не будем, Петр Петрович?

— Заливать невозможно!

И смотритель завернул в другой коридор, в котором мерцали фонари в руках у бегущих людей.

— Ну что? — спросил у них смотритель.

— Да там пройти нельзя, дыму натянуло.

— Так вы и не дошли до конца?

— Не дошли.

— Так как же быть-то, ребята? Ведь нужно узнать, горит ли и в той стороне, или только, вследствие тяги воздуха, дым туда набрался.

— Нельзя узнать-то! Нельзя пройти туда, — заговорили рабочие, почесывая головы.

В это время подошли несколько человек рабочих с тачками земли, другие тащили бревна и доски для заделывания входов. Рабочие ска-

зали смотрителю, что приехал управляющий и страшно ругается.

— Чем ругаться-то, сюда бы шел, — сказал смотритель. — Скажите ему, что я его сюда зову.

— Они не пойдут, Петр Петрович: на лестнице дым, а в вагоне они спускаться и в добрую пору боятся. Они вас к себе требуют.

Смотритель крепко выругался.

— Неугодов, скажи управляющему, что мне являться к нему некогда и чтоб посылал людей сюда, рабочих мало у нас, а ты, Рудометов, присматривай за рабочими; мало лесу, так выламывайте крепежи из коридоров. Да землею засыпайте толще! Егор, пойдем, брат, со мной!

И, взяв фонарь из рук рабочего, смотритель быстро зашагал, углубляясь в тот коридор, из которого вернулись рабочие, не успевшие проникнуть в глубь его за дымом. Рудометов принялся за работу с такой ловкостью и находчивостью, что можно было подумать, что дело тушения пожаров в копях ему давно знакомо. Он распоряжался толково и разумно и так усердно помогал рабочим, что скоро один из входов был наглухо заделан досками и засыпан землей. Но из другого вдруг пошел густой дым, и рабочие, не окончив дела и вполовину, бросились бежать к выходу из копей.

— Черти! Куда вы? — закричал Рудометов, бросаясь вслед за ними. — Ведь если мы этой дыры не заделаем, то и прежняя наша работа совсем пропадет!

Но народ не слушал и продолжал убегать: одни по направлению к лестницам, другие — к углеподъемной шахте.

— Нам задыхаться-то не из-за чего! — кричали ему. — Ты из-за рюмки водки стараешься, а нам и того не будет!

В вагон разом вскочили несколько человек и дернули звонок.

— Пошлите вместо себя свежего народу, — закричал им вслед Рудометов, — скажите управляющему, что свежий народ сюда нужен!

— Ладно, пошлем! — ответили ему.

— Вернемтесь, братцы, — предложил Рудометов оставшимся, схватываясь за брошенную тачку с землей, — здесь мы немножко продышались, можно опять за работу приняться. Айда за мной!

И он покатил тачку. Человека три последовали за ним. Потом к ним присоединились еще те, которых управляющий прислал сверху, но скоро и эти отказались работать в удушливом дыме и снова были заменены свежими. Пока происходила смена рабочих, Рудометов сидел внизу под шахтой и пил воду прямо из ведра. Водой же облил он свою отяжелевшую голову и, захватив руками виски, в которые стучало, точно молотками, тяжело дышал. Он снова вернулся с свежим народом к месту работы и не оставил, пока она не была окончена.

— Ну, теперь скорее домой! — закричал один из рабочих, бросая пустую тачку. — Я, брат, так угорел, что хуже всякой бани!

Рабочие заспешили к выходу.

— А где Петр Петрович? — спросил у них Рудометов.

— Его наверху нет, — ответили ему.

— Может, он вышел по лестницам, — предположил кто-то.

— К лестницам он должен был пройти мимо нас, — сообразил Рудометов, останавливаясь. — Он, братцы, ушел вот сюда с Лапиным и не возвращался. Если бы они воротились, мы бы видели их; да Петр Петрович и не прошел бы мимо наших работ, не сказавши нам ни слова. Пойдемте, ребята, поищемте их, грех нам будет оставить их там! Может, они задохлись от дыму.

Двое из рабочих согласились вернуться, вдохнули в себя сравнительно свежего воздуха, засветили фонари и вошли в указанный Рудометовым коридор. Чем далее подвигались они, тем удушливее и гуще становился дым, наполнявший его.

Дышать становилось все труднее; жгучие слезы застилали глаза.

— Вернемтесь, ребята, сил нет идти дальше, — прохрипел один из рабочих, останавливаясь.

— Подвинемся еще немного, только до нового штрека, — убеждал Рудометов, схватив остановившегося за руку и таща его за собой. Молча прошли еще несколько сажен. Вдруг они споткнулись о какое-то лежащее поперек дороги тело, и все разом остановились. Осветили его фонарями: это оказался Лапин. Фонарь, выпавший из его рук, лежал тут же.

— Подымайте его и тащите. Да пошлите мне на подмогу свежих людей, я поищу Петра Петровича, он, верно, тут недалеко.

И он пошел еще вперед, светя фонарем перед собой. Рабочие же, сопровождавшие Рудометова, подхватив Лапина под мышки, волокли его за собой так поспешно, как только позволяли изнуренные силы. А Рудометов все шел, пристально оглядывая землю. Он несколько раз пробовал закричать, позвать, но из горла выходил только хриплый шепот. Наконец, при входе в самый дальний штрек он различил какую-то лежащую темную массу.

«Это он», — подумал Рудометов, ускоряя шаги. Когда он нагнулся, чтоб посмотреть в лицо лежащему на земле смотрителю, он вдруг почувствовал, что голова у него сделалась страшно тяжела, и чуть не упал на него. Он поспешно выпрямился и попытался втянуть в себя сколько возможно более воздуха. В горле у него саднило от дыму, во рту было страшно горько. Затем, повесив фонарь на гвоздь, вбитый при входе в штрек, он быстро нагнулся и, взвалив его себе на плечи, хотел снять фонарь с гвоздя, но фонарь вдруг уклонился от его руки; он хотел схватить его другой рукой и тоже не мог. Ему показалось, что фонарь чуть мерцает где-то вдали, что его будто кто-то уносит. Рудометов крепче обхватил свесившиеся у него с плеч руки смотрителя и пошел, сгибаясь под тяжестью его тела, оставив фонарь. Он не боялся заблудиться, но боялся, что ему изменят силы; он чувствовал, что колени у него дрожат и под-

гибаются, что воздуху совсем не стает, что голова становится все тяжелее и тяжелее, а сознание начинает его оставлять. И все-таки он шел, шел, спотыкаясь на каждом шагу и шатаясь, как пьяный. Дорога казалась ему страшно длинной.

«Не вытащить мне его, — мелькало у него в голове. — Неужто они не пошлют мне на подмогу? Ежели не пошлют — мы погибли». Это была последняя мысль; затем точно стукнул кто его по голове, и он упал без памяти, пройдя, однако, уж более половины дороги.

Но подмогу послали. Рабочие скоро нашли их тут и, бесчувственных, посадивши в вагон, подняли на поверхность земли. Когда Рудометов открыл глаза, он лежал на земле, и ясное небо ласково сияло над ним своей серебристой весенней синевой. Он поднял голову и огляделся. Кучка людей с фельдшером во главе суетились около лежащего неподалеку от него смотрителя. Фельдшер пускал ему кровь.

Через три недели после этого происшествия Рудометова и тех двух рабочих, что пошли с ним отыскивать смотрителя, позвали в контору и вручили им двадцать рублей награды от заводовладельца за спасение жизни смотрителя, а также и за усердие, выказанное ими при тушении пожара в каменноугольных копях. Деньги, разумеется, были тут же разделены поровну, но так как никто на эти деньги не рассчитывал, то они и не пошли никому впрок, а были пропиты.

IX

На перекрестке, где дорога с угольных копей выходила на дорогу в завод, на куче угольного мусора, которым усыпалась дорога вместо щебня, сидел Рудометов и курил. Это было уже в конце лета. Он сильно изменился, возмужал, стал шире в плечах, а темный шелковистый пух на подбородке превратился в густую курчавую бородку. Только выражение лица и самое лицо изменилось не к лучшему; оно стало злее и грубее. Белки глаз были красноваты, веки припухли; видно было, что спиртные напитки употреблялись им в изобилии. Одежда Рудометова была грязная и рваная, но, это, впрочем, могло служить и признаком бережливости, так как хорошую одежду в рабочее время никто не надевает. Но Рудометов был в этот день не на работе. Валяющиеся возле него ружье и пара уток показывали, что он возвращается с охоты. Небольшая собака, с виду похожая на лисицу, сидела у его ног. Рудометов глядел на дорогу, усиливаясь распознать показавшихся вдали двух пешеходов. У одного из них был берестяной кузов за плечами и набирушка в руках.

«Это, верно, по грибы ходил кто-нибудь, — думал Рудометов, пристально вглядываясь в пешеходов, — а вот другой-то кто?»

— Эге! да это никак Конев! — воскликнул он, поспешно вставая, и, оставив Лиску — так звали собаку — стеречь ружье и уток, пошел к путникам навстречу.

— Конев! Василий Федотыч! Да ты откуда? — крикнул Рудометов, подходя к пешеходам и протягивая Коневу руку. — Я и не знал, что тебя дома нету.

— Вот как! Да ты разве не ходишь на рудник?

— Редко хожу, почитай что три недели не был. А тебя куда бог носил?

— Далеко. Как была ильинская поводь, я сплыл на караване до Камы, а там на пароходе — да и в город. Наташку захотел проведать. А что, сват, не посидим ли здесь на кучке, не отдохнем ли? — обратился Конев к своему спутнику.

— Пожалуй, — согласился спутник Конева.

Это был один из заводских рабочих, Севастьян Пестерев, старик уже лет шестидесяти. Выражение его морщинистого лица и мутно-серых глаз было печальное и озабоченное. Он бережно снял с плеч кузов с грибами и, осторожно опустив его на землю, сел и сам возле него.

— Ишь ведь он их наколупал! — сказал Конев, заглядывая в кузов и присаживаясь на куче мусору. — Ну-ко, Петрован, угости табачком-то.

Рудометов поспешил вытащить свой кисет с табаком. Набив трубку Конева, он предложил покурить и его спутнику, но тот отказался.

— Не занимаюсь этим, — сказал он, — с молоду не навык, а теперь, под старость, надо старые грехи замаливать, а не то что новые заводить.

— А у тебя, видно, грехов много, сват? — рассмеялся Конев, попыхивая из своей коротенькой трубочки. Старик вздохнул.

— У кого их нет-то? — сказал он грустно. — Все грешны, да только не все одинаково платятся за грехи. Иной нагрешит столько, что и сказать страсть, а живет сполагоря. А иной и бога боится, и совесть имеет, а беды да напасти не оберется. Вот хошь бы я теперича, что на своем веку натерпелся, а последняя беда, кажись, всех горше.

— Да что с тобой случилось? Что за беда? — спросил Конев, выколачивая докуренную трубку.

— Над девкой у меня насмеялся какой-то лихой человек, — тихо, не подымая головы, сказал Пестерев.

— Над какой девкой? — удивился Конев.

— Одна у меня полуумненькая Дашка осталась. Кои были дети умные, тем господь веку не дал. А эта вот на грех живет.

— Так неужто над ней, над полуумной-то? — ужаснулся Конев, привстав с места. — Да какой это такой варвар, нехристь нашелся. Вы бы попытали ее: может, скажет. Ведь его, подлеца, за это засудят.

— Что она может сказать? Она правой руки от левой отличить не умеет.

— Как же узнали-то? Ведь сама же, чай, сказала?

— Узнали-то мы уж безо время. Узнали, потому что на виду дело стало, вот и узнали.

Конев в ужасе хлопал руками.

— Ох, грех великий, грех тяжкий! И какой только отпетый этого греха не побоялся! — говорил он, качая головой. — Да как же вы недосмотрели за девкой? — накинулся он на старика. — Что сватья глядела? Ведь это ее дело. Ведь вы ее в свет пустили, вы и должны за нее богу ответ держать.

— Уж и корил свою бабу, — сказал старик уныло, — да что в том пользы? Ведь надо и то сказать, что дело наше одинокое, и работа тоже... никак нельзя и усмотреть.

— Да она у вас, почитай что, без всякого призору шаталася по заводу и по лесу, — упрекнул Конев старика.

— Это точно, что ходила везде, — согласился старик. — На одно у ней и толк был — ягоды собирать.

— Запирать бы ее, на запоре бы держать надо, — сказал Конев.

— Воет на запоре-то, словно собака на цепи. Да опять же она ведь была смирная, никому вреда не делала. Ну, мы и не страшилися.

— Что ж ты теперь будешь делать, сват?

— А что делать? Ничего теперь не поделаешь! Не знаю, что и делать, — развел руками старик.

— В волостное-то, по крайней мере, заявил ли?

— Ходил к старшине. Спрашивает, не имеешь ли подозрение на кого? А что я скажу? Ничего я не примечал, ничего не видал, никакого ни на кого подозрения не имею.

— А она, что? Говорит же что-нибудь?

— Дашка? Ничего не сказывает. Уж мать сколь пытала, и добром уговаривала, и била; либо молчит, либо околесную учнет городить. Ничего толку не добьешься. А по пустякам как станешь говорить?

— Известно, по пустякам нельзя. За этакое дело человека ведь в Сибирь угонят, — сказал Конев и, кряхтя, поднялся с места. Встал и старик и молча повесил себе за плечи кузов с грибами. Вместе с ними собрался и Рудометов.

— Поди-ко и ребенок-от у ней будет полуумный, — говорил Конев дорогой как бы про себя и потом прибавил, обращаясь к Рудометову: — Ты ведь по лесу-то часто шатаешься, поди, видал ее?

— Видать, как не видал, особливо по те годы, когда я в руднике жил. Там ведь кругом по угорам земляника — ну, там и видал. А этот год я в той стороне разу не бывал.

— А крепко бы надо это дело доведать и злодея примерно наказать! — горячился Конев дорогой.

В заводе спутники расстались, и Рудометов направился к своей избе. Когда он проходил мимо Груздевых, его окликнул в окно малолетний сынишка Груздева.

— Ты куда, Петрован?

— Домой, старуху хочу проведать.

— Да ты разве не знаешь? Ведь ее дома нету!

— А где она?

— На заводе, увели к расходчику в няньки. А у вас в избе потолок провалился.

— Врешь?

— Ну вот, чего врать-то! Сказываю, рухнул совсем; как еще бабушку бог спас. Она в это время у нас сидела...

Рудометов с минуту молча постоял среди улицы, потом подошел к избе и заглянул в окно, из которого вывалились последние стекла. Там царствовало полнейшее разрушение: потолок рухнул, печная труба тоже пала, груды земли и кирпича лежали на полу вместе с осколками горшков и чашек, свалившихся с полки; полуотворенная дверь, прижатая осевшей стеной, не двигалась. На пороге сидела старая безухая кошка, и ее блестящие глаза пристально устремились на Рудометова. Он вздрогнул и быстро отошел от окна.

— Иди к нам ночевать, Петрован! — раздался голос самой Груздихи.

Рудометов подошел к крыльцу и, поздоровавшись, отвязал и подал Груздихе пару болтавшихся у его пояса уток.

— На что ты это? Не надо! — отговаривалась Груздиха, отстраняя рукой подарок.

— Ну, не кобенься, а бери да жарь, — сказал Груздев, выглядывая из дверей. Он только что возвратился с работы и снимал с себя свою грязную одежду. Затем все вошли в избу, где уж был накрыт стол для ужина и слышалось тихое жужжание мух, густо усаживавшихся на ночь по темным стенам избы. Груздиха зажгла лучинку и, воткнув ее в светец, подала на стол чашку дымящихся щей из круп, приправленных луком и сметаной.

— Что ж ты теперь с избой-то станешь де-

лать? — спросил Груздев у Рудометова, когда щи были съедены.

— Да что с ней делать, на дрова изрубить надо, — ответил он угрюмо.

— Отдай мне. Я когда от простой поры разберу ее и испилю на дрова с парнишкой; а он переколет и складет в поленницы.

— Что ж, возьми. Мне на что? Дома у меня нет теперь и топить нечего.

И Рудометов подавил вырывающийся вздох. Он остался ночевать у Груздевых и, подсунув под голову брошенную ему Груздихой гуню, пытался заснуть, растянувшись на лавке в сенях. Он чувствовал усталость и какую-то слабость в теле и думал, что вскоре уснет; но уснуть не мог. Мешало чувство гнетущей тоски и все чаще и чаще закипавшая в нем какая-то беспредельная горечь. Ему казалось, что кем-то он тяжело обижен, и, глядя бессонными глазами в непроглядный сумрак ночи, он невольно сжимал кулаки.

Рано утром он ушел от Груздева и, спускаясь с крыльца, даже не взглянул на свою старую, полуразвалившуюся избу. Он должен был в это утро явиться в Угольное к смотрителю, где подрядился крепить шахту, за что уж и взял небольшой задаток. Работники, с которыми Рудометов брался выполнить эту работу, были давно найдены и обещали в этот день придти на Угольное, но так как Рудометову приходилось идти мимо их домов, то он и зашел к одному из них. Тут его задержали просьбой подождать, когда поспеет горячий завтрак, а в ожидании завтрака товарищ пред-

ложил сходить в кабак. Гостеприимные двери кабака уже были открыты, несмотря на раннее утро. Выдался хороший, ясный день; в воздухе попахивало осенним холодком, и хотя солнце поднялось высоко, но обильная ночная роса еще лежала на кустах крапивы, густо разросшейся под окнами кабака, в котором так и застрял Рудометов с товарищами. Часов около одиннадцати от зашедших в кабак мужиков Рудометов узнал, что ночью приехал владелец завода Волжинский, что он пробирается на Асьву для охоты и что ему требуется несколько человек в провожатые.

— Плату дает по рублю в день, — присовокупили рассказывающие мужики.

— Иду! — крикнул Рудометов, схватываясь с места. Он был порядочно навеселе.

— А как же наша работа? — остановили его товарищи по работе.

— Работа от нас не убежит. Петр Петрович меня подождет, — сказал Рудометов и, не слушая возражений товарищей, опасавшихся, чтоб смотритель не рассердился и не отдал работы кому-нибудь другому, убежал по направлению к господскому дому.

Часа через два Рудометов выезжал в качестве путеводителя во главе отряда охотников, состоящего человек из десяти. Все ехали верхом. У мужиков, сопровождавших охотников, которых было четверо, позади седел были привязаны тюки с походной палаткой, походной кухней, походной кроватью и ящики с ружьями и рыболовными принадлежностями. Но Рудометов ошибся в расчете. Ему не

обошлось даром удовольствие поглядеть, как господа охотятся. Смотритель рассердился на него за неявку и на другой же день отдал работу другим рабочим. А Волжинский и его спутники, располагавшие провести на Асьве около недели и заняться геологическими исследованиями ее берегов, удовольствовались двумя днями и даже не распаковывали всех ящиков с ружьями и рыболовными снарядами. С досады и от безделья Рудометов запьянствовал, и на этот раз пьянствовал долго. К концу грязной и ненастной осени у него ничего не осталось из одежды, все было пропито и перезаложено, кроме рабочей гуни и полушубка.

X

Однажды Рудометов проходил мимо дома Севастьяна Пестерева, как вдруг из ворот выскочила девушка, босая, простоволосая, в одной рубашке и юбке, и бросилась к нему на шею. Рудометов остановился, удивленный и испуганный, и пытался оторвать ее от себя. Но девушка, цепкая, как кошка, повисла на нем и держалась крепко. Это была полуумная дочь Пестерева, которая с месяц тому назад родила живого и здорового ребенка. Приняла ли она Рудометова за своего соблазнителя, или ею руководили вновь проснувшиеся инстинкты, но Рудометов скоро понял, что значат ее дикие ласки и бессвязный лепет, и в ужасе пытался освободиться от нее.

— Что! Верно, попался, сударик! — разда-

лось около Рудометова. Проходившая мимо старуха Башмачиха остановилась перед ним и глядела на него с гневом и укором. — Это, видно, ты, разбойник, над ней надругался! Грызи его, Дашка! Души его за горло, душегуба, разбойника!

В это же время на улицу вышла мать Дарьи с коромыслом на плечах. Это была уже немолодая, но еще бодрая и крепкая женщина невысокого роста. С виду она была значительно моложе своего мужа, хотя пережитое горе, а также мелкие житейские нужды наложили и на нее свой суровый отпечаток. Ее серые глаза сначала с недоумением остановились на представившейся сцене, но когда она сообразила, в чем дело, то бросила ведра и, с криком подбежав к Рудометову, пыталась схватить его за волосы и затем принялась колотить его по спине и осыпать укоризнами и проклятиями.

— Изверг ты! Нехристь проклятый! — кричала она, задыхаясь от гнева. Ошеломленный обрушившейся на него бедой, Рудометов пытался оправдываться и возражать, но его уж не слушали. Наконец, ему удалось оторвать уцепившие его за шею руки и оттолкнуть от себя полуумную, но тогда в него вцепилась мать и требовала, чтобы он сию же минуту шел с ней в волостное правление.

— Не пойду я, тетка, незачем мне идти! — отбивался Рудометов.

— Если ты не виноват, с чего ж она на тебя накинулась?.. Ходил же народ мимо, да ни на кого не кидалась!

— Видит бог, я не виноват! Ведь она у вас полуумная, никому неизвестно, что у ней на уме. Видишь, опять она на меня лезет, держи ты ее ради бога! — вскричал Рудометов и рванулся было, чтобы убежать. Но разъяренные женщины так и закоченели, уцепившись в него.

— Нет, ворог мой лютый, ступай со мной в волостное! Жива не буду, ежели я тебя выпущу! — хрипела Пестериха, таща Рудометова за собой.

— Да изволь, я согласен и в волостное идти! Только видит бог, не повинен я в этом деле! Хоть сейчас под присягу, не повинен.

— Хорошо, под присягу, так под присягу; пойдем к попу.

— Изволь, мне все одно. Только ты напрасно его потревожишь; все знают, что я в заводе редко и бываю.

— Как не редко! Из кабаков, почитай, не выходишь. Только и слышно, что Рудометов там пьянствовал да в другом месте буянил. Известен всему заводу!

— Покайся лучше, повинись, прими ребенка на свое попечение, — усовещевали его собравшиеся женщины, всей толпой подвигаясь к дому священника.

— Ни в чем я не виноват и не в чем мне виниться, — угрюмо отнекивался Рудометов.

— Вот вы, подлецы, каковы, надругатели! Подумай-ка ты, куда же старики-то с ее ребенком денутся?

— И все-таки я тут ни при чем!

— Подыми икону на голову и поклянись,

коли это дело не твое, — предложила одна из женщин.

— Изволь, хоть сейчас, — согласился Рудометов.

— Да разве он бога боится? Разве есть у него совесть? — возразила Башмачиха, сопровождавшая Рудометова вместе с другими. — Ты, Силантьевна, лучше тащи его в волостное. Что ему поп? Ты спроси-ко, бывал ли он когда в церкви? Тащи его в волостное.

«Ну, в волостное я с вами не пойду», — подумал Рудометов, начинавший терять терпение и глубоко пристыженный и рассерженный всей этой сценой. Он чувствовал, что Пестериха держит его за рукав уже не так крепко, как вначале, и потому, рванувшись изо всей силы, выскочил из толпы женщин и бросился бежать. Силантьевна хотела было кинуться за ним, но Башмачиха удержала ее.

— Где тебе его догнать! Ты иди своим порядком в волостное и жалуйся. Нас, свидетелев, много, мы все засвидетельствуем. Что нужды, что он убежал, начальство достанет.

Потолковав еще, женщины разошлись, а Силантьевна вернулась домой, порешив прежде посоветоваться со своим стариком, который уж скоро должен был вернуться с работы, так как начинало смеркаться. Но, придя домой, она узнала от соседа, что Дарья вырвалась из рук и убежала через огород в другую улицу.

— Да ведь она босая и в одной юбке! Вот беда моя! — сокрушалась Силантьевна. — Не

знаю, что и сделалось с девкой? Смиренная была, хоша и не с умом, а слушалась, а теперь вот...

— Я хотела за ней бежать, да побоялась ребенка одного оставить. А ты не сокрушайся, может, намерзнется, так сама придет, — утешала соседка Силантьевну.

— Да ведь и пропасти-то на нее нету, — плакала Силантьевна, — живет на грех. Прости ты меня, господи! Говорят, грех избывать-то, а как ты утерпишь?

Пока они сидели и сетовали, Дарью чуть не на руках притащил мужик из другой улицы. Ее посиневшие руки были связаны кушаком, она билась и конвульсивно подергивалась.

— Возьмите ее, зачем пускать на улицу? — закричал мужик, пихнув Дарью на лавку. — Ишь она совсем помешалась! Наскочила на меня, чепуху городит, срам слушать.

Он плюнул и, сняв шапку, отер свой вспотевший лоб. Силантьевна стала извиняться, плачась и жалуясь на свое несчастье. Она начала развязывать Дарье руки, чтобы возвратить принесшему ее мужику опояску, но, как только узел ослаб, Дарья вырвала руки и принялась бить и царапать мать. Ее снова связали и положили на голбчик.

— Заприте ее куда-нибудь, — посоветовал мужик, уходя.

— Куда ее запрешь? В голбце студено, в чулан — и того студенее. Да что только с ней сделалось? Что сделалось? — дивилась Пестериха. Пришел Пестерев с работы и был край-

не удивлен и огорчен всем случившимся. Он почему-то положительно не верил в виновность Рудометова и не советовал жене ходить жаловаться.

— Только волокита одна. И сама ты ей не рада будешь, а что с него возьмешь? — говорил Пестерев и, помолчав, прибавил как будто про себя: — Ежели это и его дело, то не такой он человек, чтобы повиниться, свидетелев никаких не имеем.

Пестериха долго не соглашалась с мужем, спорила и убеждала его жаловаться, даже ходила потихоньку от него к старшине, но, не найдя и там поддержки, сходила в церковь и, поставив за своего ворога свечку, зажженную с нижнего конца, успокоилась.

XI

Раз, возвращаясь с охоты, Рудометов пробирался лесом к тайнику, где он прятал двустволку. Он держал ее в руках и, выйдя на берег пруда, остановился в раздумье, идти ли ему лесом, или берегом. Идя лесом, он мог быть уверен, что ни с кем не встретится, тогда как на тропинке, пролегающей по краю берега и выводящей на мостик, устроенный в верху пруда, иногда попадались люди. Короткий осенний день клонился к вечеру; порошил снежок. Рудометов огляделся и прислушался; было тихо и пустынно, и он спокойно пошел по береговой тропинке. Когда он свернул с тропинки на мостик, ему показалось, что на

той стороне что-то хрустнуло. Рудометов насторожил уши, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь окружающую белесоватую мглу, но ничего не было видно. Когда же он сошел с мостика и проходил то место, где скрещивались несколько тропинок, то почти нос к носу столкнулся с Васильем Алексеичем, который тоже возвращался с охоты, Рудометов в испуге шарахнулся в сторону и прижал ружье к боку. Но это движение не помогло: Василий Алексеич сейчас же узнал свою двустволку.

— Стой! Покажи ружье! — закричал он, наступая на Рудометова.

— Не покажу, — ответил Рудометов, отступая к мосту.

— Как не покажешь! Это мое ружье. Сказано: подавай его сейчас!

— Было твое, было и мое, а теперь будет ничье, — сказал Рудометов и, размахнувшись, бросил его дулом вперед в пруд. Ружье пробило тонкий, еще не успевший окрепнуть лед и скрылось под водой.

— Ах ты, подлец! — крикнул в бешеной злобе Василий Алексеич, схватывая Рудометова за ворот. — Постой! Я тебя не выпущу!

И Василий Алексеич пытался стащить Рудометова с мостика, но тот был настороже и держался крепко. С одной стороны мостика, состоящего из двух широких плах, положенных на поставленных в воде козлах, были перильца, с другой не было. Слегка откинувшись к перильцам, выставив вперед правую ногу, Рудометов в свою очередь ухватился за Василия Алексеича. Они стояли друг против

друга, оба одинаково высокие, одинаково сильные, оба увешанные охотничьими принадлежностями и убитой птицей, и смотрели друг другу в глаза. Василий Алексеич был страшно зол, Рудометов был спокоен.

— Ежели я полечу с моста, так полечу не один, — сказал ему Рудометов.

Под мостом было не глубоко, но перспектива выкупаться в холодной воде Василью Алексеичу не понравилась.

— Хорошо, — сказал он, — я завтра со старшиной и с понятыми вытащу его из воды.

— Ну что ж, ищи! А теперь ступай своей дорогой, Василий Алексеич!

— Изволь, разойдемся. Только ты и не думай, что я тебе это спущу! Я упеку тебя туда, куда Макар телят не гонял! — грозился Василий Алексеич, выпуская Рудометова. Тот слегка встряхнулся и отошел далее на мост. Василий Алексеич, послав ему вслед несколько крепких слов, пошел по левому берегу пруда, пробираясь к заводу. Проводив его глазами, Рудометов другой тропинкой тоже пошел в завод.

В последнее время у Рудометова завелась там интрижка совсем особенного свойства: интрижка с замужней женщиной. Женщина эта до знакомства с Рудометовым вела вполне порядочную жизнь и, сходясь с ним, поставила непременным условием полнейшее сохранение тайны. Поэтому Рудометов ходил к ней с большими предосторожностями, выбирая самые темные ночи, когда мужу ее приходилось работать. Сегодняшняя ночь обещала

быть темной, Рудометов знал, что мужа не будет дома, и предположил навестить свою сударку. Часов до девяти вечера он просидел у одной знакомой женщины, занимавшейся продажей хлеба, браги и квасу, а по секрету торговавшей иногда и водкой, и пивом. Когда Рудометов собрался уходить, хозяева у него спросили, придет ли он ночевать. Рудометов ответил, что если не ночует там, куда ему нужно сходить, то придет ночевать к ним. Затем он ушел и, возвратившись незадолго до рассвета, забрался на полати и проспал чуть не до обеда. Зашедшие перед обедом рабочие сообщили взволновавшую и удивившую всех в заводе новость, состоящую в том, что в эту ночь ограбили надзирателя пудлинговой фабрики. Рабочие не любили надзирателя за придирчивость и наушничество и потому к его беде относились без всякого сочувствия, даже с некоторым злорадством. Но смелость и ловкость, с которыми совершен был грабеж, удивляли всех. Дело было так: часов около десяти вечера у запертых уже дверей надзирателя кто-то постучался. На вопрос кухарки отвечали, что пришел рабочий и желает видеть надзирателя по крайне нужному делу. Когда же кухарка ответила, что надзирателя нет дома, то тот же голос стал просить ее сказать смотрительше, что пришел мужичок с Вильвы, принес рябков и что ему непременно нужно увидать если не самого смотрителя, то хоть его жену. Жена смотрителя, ничего не подозревая, велела отворить и впустить мужика с рябками. Но, вместо одного, вошло

четверо рабочих с вымазанными сажей лицами, с нахлобученными на глаза шапками. Кухарка в испуге закричала и хотела бежать в комнаты, но ее поймали, связали руки, заткнули рот платком и спустили в голбец. Та же участь постигла и жену смотрителя. Затем пробрались в спальню и там, разломав с помощью кухонного ножа шкатулку, вынули из нее около ста пятидесяти рублей денег и ушли, не тронув более ничего. В той же шкатулке лежало несколько серий, но серии остались нетронутыми, потому ли, что воры не знали, что это деньги, или побоялись, что с такими необыкновенными деньгами можно попасться.

В тот же день во всех кабаках произведены были строгие допросы, а затем были спрошены и торгующие пивом и брагой женщины; в число их попала и хозяйка того дома, где ночевал Рудометов. Она показала, что у ней не было ни вечером, ни ночью никого, кроме Рудометова. А на Рудометова в тот же день жаловался старшине Василий Алексеич, и потому, как только услыхали его имя, тотчас же подробно расспросили, когда он пришел, что делал и много ли пил. И узнали, что он пришел в сумерках, выпил только бурак браги и затем, часов около девяти, куда-то уходил и пришел домой уж незадолго до свету. Все это, разумеется, было принято к сведению, и Рудометова арестовали.

XII

Началось следствие. Оно состояло, главнейшим образом, из допросов пострадавших женщин и Рудометова. Против него была одна, но зато очень веская улика, а именно то, что он отказался сказать, где он провел те часы ночи, когда был произведен грабеж. Он, впрочем, сказал, что провел их у своей сударки, но положительно отказался назвать ее. Тщетно следователь уговаривал его сказать имя женщины, представляя ему, что он вредит себе своей скромностью; Рудометов не согласился.

— Нехорошо, ваше благородие, срамить девку; я ей богом заклинался, что скорее умру, а ее не выдам. А только я в этом деле нисколько не виноват и кем дело сделано — не знаю, — говорил Рудометов следователю.

В пользу Рудометова было показание кухарки надзирателя, уверявшей, что между ворвавшимися к ним четырьмя ворами не было ни одного такого высокого, как Рудометов. В его пользу служило еще и то, что он никогда не работал в пудлинговой и, следовательно, не имел никаких личностей с надзирателем, а кухарка показала, что, спуская совершенно растерявшуюся, почти обезумевшую от страха жену надзирателя в голбец, воры говорили: «Ну, счастлив твой муж, что мы его не застали дома: он бы от нас так дешево не отделался, мы на него давно зубы грызем». Денег у Рудометова нашли только несколько медных пятаков. Следователь освободил его

по недостатку улик, поручив, однако, полиции надзор за ним, а также и за всеми подозрительными лицами. Но так как в среде рабочих на пудлинговой фабрике не было ни одного, который когда-нибудь не грозил бы надзирателю отплатить за все его каверзы, то и приходилось подозревать или всех, или никого.

Время шло, дело не выяснялось, и никаких следов преступления не открывалось.

Жалоба Василия Алексеича тоже вначале не имела никакого успеха, но тут Рудометову справиться было уже труднее. Не успевши доконать своего врага формальным порядком, Василий Алексеич уговорил старшину и мирской сход постановить приговор о ссылке Рудометова в Сибирь, как человека опасного и порочного.

Вечером от возвратившихся со схода мужиков Рудометов, работавший в это время в каменноугольных копях, узнал, что его решено сослать, и весть эта поразила его, как гром. Он не мог уснуть всю ночь. «Как, в Сибирь? За что? Я никого не убил, никого не грабил, никому не сделал вреда и вдруг меня в Сибирь!» — думал Рудометов, ворочаясь с боку на бок. Чуть только рассвело, как он уже шел в завод, мысленно перечисляя все свои провинности перед волостным начальством. А провинностей за ним накопилось много: он был неисправным плательщиком, кроме того, был всегда скор на грубый ответ, на насмешку. Результат этих объяснений оказался такой: в тот же день Рудометов был взят

под арест, а затем вскоре отправлен в городской острог.

Прошла зима. Наступила и прошла весна, и уже в конце мая, распечатывая и пробегая только что полученные с почты бумаги, волостной писарь сообщил старшине, что приговор о Рудометове нашли составленным не по установленной законом форме и потому не утвердили; что об этом уже объявлено Рудометову и он выпущен на волю.

— Значит, теперь он опять к нам припожалует? — сказал старшина, почесывая голову.

Через несколько дней после этого по дороге в завод слабыми, неверными шагами тащилась высокая сгорбленная фигура, опираясь на суковатую палку. Попадавшиеся навстречу пристально всматривались в эту фигуру, в бледное, испитое лицо с провалившимися щеками и заострившимся носом и удивленно всплескивали руками.

— Господи! — восклицали они, — да это никак Рудометов!

Да, это был Рудометов. Не дойдя с версту до завода, он присел на камень на краю дороги, чтоб отдохнуть от усталости и волнения, охватившего его при виде родимых гор. Его глаза с невыразимым наслаждением покоились на их знакомых очертаниях, а больная грудь, так долго дышавшая вонючим воздухом уездного острога, жадно впивала живительный влажный воздух.

«Дома я, на свободе», — думал Рудометов, и радостные слезы закипали у него на глазах. Отдохнувши и несколько оправившись от

волнения, он продолжал свой путь. Придя в завод, Рудометов прежде всего зашел в волостное правление. Как раз в этот день вечером назначен был мирской сход, и старшина, хотя и неприязненно встретивший Рудометова, велел ему придти на сход и просить общество простить старые грехи и снова принять его в свою среду.

— Хорошо, Григорий Терентьич, я миру поклонюсь; только уж и ты заступись за меня, — просил Рудометов, — я теперича буду совсем другой человек.

— Ладно, ладно! Мне что! Я, пожалуй... Я ведь на тебя зла не имею, — говорил старшина, тронутый болезненной переменой в наружности Рудометова.

Выйдя из волостного, Рудометов остановился в недоумении: куда идти? На рудник к Коневу или Груздеву, так до рудника еще три версты, а он уж и так устал. Вот если б он знал, где мать живет, пошел бы к ней.

— Эге! Да это никак Рудометов! — раздалось около него, и перед ним остановилась фигура фабричного рабочего, одного из старых приятелей Рудометова, прозывавшегося Косым. Сквозь толстый слой сажи, покрывавшей его молодое лицо, проглядывал здоровый румянец, а пара добрых глаз разглядывала Рудометова с участием и сожалением. — Ты, брат, не из могилы ли вышел? Али нездоров?

— Тюрьма — все одно, что могила, — ответил Рудометов, — а ты скажи-ко мне, друг, не знаешь ли, где моя мать живет?

— Умерла она, — сказал Косой, почему-то вдруг понизив голос и не глядя на Рудометова, — тебе долгий век оставила.

Рудометов онемел. Ему часто приходило в голову, что мать его стара и может умереть, но весть о ее смерти все-таки была для него совсем неожиданна. Он тихо отошел к воротам, возле которых была устроена лавочка, сел на нее и, облокотившись руками на колени, склонил на них свою голову. Косой подошел к нему.

— Ты, брат, не горюй, старуха ведь была. Пора уж и на покой. Ты лучше о себе подумай. Да пойдем-ка ко мне, — прибавил он, точно что вспомнив, — у меня баба сегодня баню топила...

Но Рудометов отказался.

— Я лучше посижу здесь до схода; старшина велел мне явиться на сход. А потом уж уйду на рудник.

И, снова опустив голову на руки, он просидел тут до вечера.

Когда мир узнал о возвращении Рудометова, то неудовольствие его было направлено не на Рудометова, а на писаря и преимущественно на старшину, против которого к предстоящим осенью выборам составлялась многочисленная оппозиция.

— Это значит, — говорили мужики, — мы только напрасно истратились на прогоны да на содержание его в остроге. Старшина и писарь должны бы знать законы, и коли Рудометов не подходил под них, так не надо было его и ссылать.

Рудометову сделали несколько строгих внушений насчет его будущего поведения и постановили принять его в общество снова и иметь под надзором. С своей стороны, Рудометов дал обещание, что будет вперед вести себя лучше и исправно уплачивать все, что с него причитается мирских сборов.

Рудометов поклонился и тихо побрел на рудник. Он вспомнил, что не взял с Груздева ни гроша за старую избу, и теперь рассчитывал пожить у них с неделю. Подходя к дому Груздева, он взглянул на то место, где стояла его изба: там лежала только небольшая кучка разбитых кирпичей и шуршали кусты молодой крапивы.

XIII

Стоит жаркий июльский день. В раскаленном воздухе томительная тишина. Тишина и в заводе. Фабрики умолкли, их черные трубы не посылают в небо обычных клубов дыма, даже домну, не знающую ни отдыха, ни праздников круглый год, выдули и остудили. Население в заводе тоже точно вымерло. Большая часть его на покосах, а оставшиеся дома спят тяжелым послеобеденным сном. Улицы пусты; не видать даже ребятишек, этих шумливых и неутомимейших ее обитателей. Но особенно тихо, пусто и скучно в большом здании заводской больницы. Больных мало: их много бывает осенью, зимой и весной, когда в завод собирается много постороннего народа. В одной из палат, вмещающей около двадцати

кроватей, их всего два человека. Они поместились в разных углах, и, судя по громкому дыханию, можно подумать, что оба спят. Но нет, тот, который скорее сидит, чем лежит, прислонившись спиной к целой горе больничных подушек, набитых мочалками, не спит. Его большие темные глаза, кажущиеся еще больше от синеватых кругов под ними, открыты и пристально устремлены куда-то вдаль. Судя по огню, которым они загораются порой, по напряженному выражению мертвенно бледного лица, можно заключить, что больной о чем-то думает. Его руки не лежат спокойно: он то закладывает их на голову, то вытягивает вдоль тела, то кладет на грудь, тяжело волнуемую хриплым, свистящим дыханием.

Это — Рудометов; он, как видите, не отдышался на воле. О чем он думает, одиноко бодрствуя в этой огромной комнате, уставленной кроватями? Он мечтает, и должно быть, мечтает о чем-нибудь хорошем. Но иногда, по временам, его брови нахмуриваются, в глазах отражается тяжелая душевная мука, и тогда его руки еще тревожнее раскидываются по подушкам; они точно силятся оттолкнуть мрачные воспоминания, прерывающие мечты и вызывающие душевную боль. Он слегка трясет головой, примечая, что его мысли путаются, делает усилие и настраивает их снова на прежний лад.

«Да, я сделаю это, сделаю непременно, — думает, почти шепчет Рудометов, хлопнув рукой о подушку. — Вот только поправлюсь и тотчас примусь за работу. Год проработаю

на Угольном, зароблю денег и буду проситься в лесники. Эта должность по мне. Отчего только раньше мне об ней в голову не входило? Да молод был, не приняли бы. А теперь мне доверить можно; водки не пью и пить не буду. Я женюсь на простой, самой бедной невесте, и чтобы без родства: придется ей жить со мной в лесу, так чтобы по родне не тосковала. А в лесу жить лучше, чем на людях, греха меньше. Вот смотритель в Троицком совсем в лесу живет, от завода верст сорок будет, и ничего, живет, месяца по два и в завод не ездит. А он ведь все же не нашему брату чета, образованный, постоянно газеты читает. Беспременно и я грамоте доучусь и от простой поры по зимам стану хоть старые газеты читать. У того же Петра Петровича выпрошу; у него их что в кабинете разбросано! Да я так думаю, что и без газет тоска не возьмет. Ведь я в лесу, почитай что, каждую лесинку знаю. И все места кругом. Ах, что за веселые есть места в той стороне!» И Рудометов кивает головой в ту сторону, о которой думает, а глаза у него вспыхивают огнем.

«Вот мне бы такое место, как у трех ключей, где живет Мизгирь». Но тут у Рудометова не находится слов, и он продолжает думать образами. Вызванное силой воспоминания «веселое место» встает перед его умственным взором во всех мельчайших подробностях. Вытекая из высокой горы, один за другим, сливаются три ключа и, образуя по каменистому склону несколько небольших водопадов, теряются в густой чаще прибрежного

кустарника и высоких, почти в рост человека, папоротников. Немного пониже того места, где берут ключи свое начало, на широкой террасе, приютился бревенчатый домик лесника. В окна этого домика целый день светит солнце, а вид из них простирается на несколько десятков верст. Далеко на полдень, сливаясь с горизонтом, раскинулись луга, покрытые богатой растительностью и кое-где испещренные группами прибрежных кустарников. По лугам, то пропадая в кустах, то сверкая и блестя, как серебро, на открытых местах, змеей извилась Асьва. А как там хорошо в половодье, когда по лугам разольется вода и только кой-где виднеются зеленые островки! Как звучно и весело журчат ручьи и рокочут водопады, какая чудная музыка раздается в вышине над долиной! И сколько всякой птицы щебечет в кустах! Рудометов всегда безошибочно узнает их всех по голосам. А за домом лесника стеной стоят лохматые серые ели; они идут все выше и выше, точно хотят зацепить вершинами за облака. В их густой чаще так хорошо, прохладно, почти сыро; такие густые зеленые мхи одевают серые камни, рассеянные по лесу. Да, хорошо бы в такой жаркий день укрыться в этом лесу, посидеть на обросшем мхом камне, подышать живительным, влажным воздухом. Только этой весной, задыхаясь в тюрьме, битком набитой арестантами, когда больная грудь Рудометова точно разрывалась от кашля, он вполне оценил этот благодатный, вольный воздух лесов. Там же, в остроге, глядя на грязные стены, на по-

черневший, низкий, точно придавивший его потолок, он вспомнил привольную ширь лугов, и озерки, и болотинки на них, и те бесчисленные лесные тропинки в горах, точно уходящие в небо. Как сильно колотилось его сердце при одном воспоминании об этой суровой, пустынной и дикой для всякого заезжего человека стороне и полной такого невыразимого очарования для него. Как страстно тосковал он по ней! Какими горькими слезами обливал он изголовье! Эти едкие слезы выжгли глубокие борозды на его щеках. И теперь при одном воспоминании о тюрьме его пробирает дрожь.

«Нет, больше я не попаду туда! — думает Рудометов, энергично встряхивая головой. — Вот только поправиться бы мне, только бы силы набраться! Грудь у меня уж не болит, только кашель да хрипота остались. А главное — силушки, силушки нету! Еще осенью я всех на заводе сильнее был, двое на одного шли, да и то не могли одолеть. А теперь, пожалуй, и муха крылом сшибет». И Рудометов рассматривает свои исхудалые, белые и чистые руки и дивится их страшной худобе.

«Да это ничего, мясо нарастет на костях, только бы кости были целы, — успокаивает он себя, закидывая руки на голову. — Фельдшер сказал сегодня, что я скоро поправлюсь, да я и сам чую, что уж недолго мне тут маяться. Вот только задыхаюсь все. Хоть бы окошко где отворили, чтоб ветерком лесным меня опахнуло! Выйду-ка я в коридор, там завсегда окошко отворено... и лес и горы видно».

И Рудометов встает. С лихорадочной поспешностью, быстрыми, хотя и неверными шагами проходит по палате, выходит в коридор, но, дойдя до окна, вдруг схватывается одной рукой за грудь и, чувствуя, что последние силы оставляют его, другой старается удержаться — и все-таки падает. Спавший на широкой скамье у дверей сторож, разбуженный стуком упавшего тела, вскочил, протер глаза и, приметив Рудометова на полу у окна, подошел к нему.

— Зачем вышел? — укоризненно воскликнул он, наклоняясь к нему. Но, встретив его потухающий, полный смертельной тоски взгляд, вздрогнул и бросился звать на помощь.

Рудометова перенесли на кровать. Мучительная агония длилась до позднего вечера. Но когда ночная прохлада проникла в открытое окно палаты, где лежал Рудометов, он уже успокоился, и больничный сторож, к своему крайнему удивлению, почему-то растроганный его смертью, одевал его исхудалое тело в чистое больничное белье.

ПРИМЕЧАНИЯ

Как жили в Куморе

Впервые в «Отечественных записках», 1867. — № 5—6. Печатается по тексту книги: Кирпищикова А. Повести и рассказы. — М.: Изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова, 1902.

Кумор — по объяснению самой писательницы, так назван ею Полазнинский завод.

С. 34. *Лапти с баклушами* — лапти с деревянными подошвами.

С. 35. *Коты* — легкая кожаная обувь без каблуков.
Рундук — нижняя площадка сенного крыльца.

С. 40. *Мнучкой приходится...* — внучкой, здесь диалектная особенность.

С. 41. *Поторжный* — поденный, по вольному найму.

С. 42. *Поярковая шапка* — валяная из шерсти однолетней овцы, поярка.

С. 47. *Исправник* — высшая полицейская власть в уезде.
Становой начальник — начальник полицейского стана, на которые разбивался уезд.

С. 70. *Процинбалы* — пересмешники.
Расчекмаривать — болтать, переносное от чекмарь, деревянная колотушка, которой уплотняется в форме кирпич-сырец.

С. 103. *Курени* — места в лесу, где велся выжиг древесного угля.

С. 114. *Ягал во все горло...* — шумел, кричал, бранился.
Стень осталась... — тень осталась.

С. 137. *Проториться* — расточить, промотать, понести убытки.

С. 153. *Натомили...* — анатомировали.

С. 163. *Фольговая икона* — исполненная лаком по медному или оловянному листу.
Шамшура — головной убор замужней женщины, расшитый шелком или бисером.

С. 166. *Кожаный запон* — рабочий фартук, который носили рабочие в металлургических цехах.

Прошлое

Впервые в «Отечественных записках», 1876. — № 12. Подпись *А. К.* Печатается по тексту этой публикации.

С. 176. *Действительный работник* — мастеровой, занятый работой в заводских цехах круглый год.

С. 208. *Позорихинская пристань* — по мнению П. С. Богословского (Пермский краеведческий сборник, вып. 2. — Пермь, 1926. — С. 93), изображена Губахинская пристань на реке Косьве, которая в повести называется Асьвой.

Недавнее

Впервые в «Отечественных записках», 1877. — № 8. В примечании указывается, что «Недавнее» — продолжение «Прошлого». Редакция сообщает: «Первые главы были помещены в «Отечественных записках» за 1876 г. № 12». Из письма сына писательницы, который вел переговоры с редактором журнала М. Е. Салтыковым-Щедриным, видно, что последний должен сделать в тексте «некоторые перемены». Степень редакторской правки установить невозможно, так как рукопись не сохранилась, но, видимо, она была не столь значительной. Печатается по тексту «Отечественных записок».

С. 217. *Подсердечник* — подстеганный женский лиф, бюстгалтер.
Шугай — теплая кофта с борами позади.
Епанча — женская шубка-накидка.
Камзол — обтягивающая корпус одежда, доходящая до колен.
Брызжи — мужская сборчатая манишка.

С. 220. *Архалук* — короткое мужское пальто, застегивающееся крючками.
С. 227. *Гуня* — худая одежда, рубище.
С. 228. *Штейгер* — горный мастер.
Штрек — подземные горные горизонтальные выработки.
С. 234. *Коломенка* — тип речной барки большой грузоподъемности (до двенадцати тысяч пудов).
С. 240. *Перекрепнуть* — ослабеть от больших усилий.
С. 245. *Нанка* — бумажная материя, привозившаяся в свое время из Китая.
С. 265. *«Собрание романов»* — «Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык» — журнал, выходивший под ред. Е. Н. Ахмановой начиная с 1856 г. Знакомил с «массовой» западной литературой.
«Русский вестник» — журнал, выходивший в Москве под ред. М. Каткова с 1856 г. До 1861 г. занимал либеральную позицию, после стал органом реакции.

Двадцать пять лет назад

Впервые в «Екатеринбургской неделе», 1889. — № 26—29, 31, 33, 35, 37, 39. Подпись *А. Кв—а.* В № 39 подпись *А. Кирпищикова.* Печатается по тексту газетной публикации.
С. 272. *Кужгорт* — по словам самой Кирпищиковой, под этим названием населенного пункта скрывается Чермоз.
... *сыздавна существовала библиотека...* — о ней см.: Новокрещенных Н. Н. Чермозский завод, его прошлое и настоящее. — СПб., 1889.
С. 287. *Франкмасоны* — также масоны, религиозно-этическое движение, стремившееся утопически объединить все человечество в религиозном братском союзе. Было распространено в начале XIX в. и в России. В настоящее время реакционная организация, тайно действующая на Западе.
Остолопов — по всей вероятности, имеется в ви-

ду бывший управляющий (1823—1832) имением Строгановых Л. И. Ослоповский.

С. 294. *Бокль* — английский ученый Генри Томас Бокль (1821—1862), социолог-позитивист. Скорее всего, здесь имеется в виду его книга «Влияние женщины на успехи знания» (СПб., 1864). В начале 1864 г. это была новинка.

С. 295. ... *«История кусочка хлеба» Масе...* — Масе Ж. История кусочка хлеба. — М., 1863. Книга для детей. В «Современнике» (1863, № 11) была напечатана на нее положительная рецензия.

С. 301. *Кортомить* — арендовать.

С. 334. *«Мне поп грозит припаркой...»* — строки из антицерковной песни, получившей широкое распространение в народе. Первоначальный вариант приписывается священнику И. И. Алякринскому. Есть записи на Урале. См.: Кругляшова В. П. Фольклор на родине Мамина-Сибиряка. — Свердловск, 1967. — С. 159.

С. 337. *«К Эриванской крепости / Шли минуту с днем...»* — строки из солдатской песни, посвященной русско-турецкой войне 1828 г. Аналогичный текст см.: Исторические песни русского народа. XIX век. — М., 1979. — С. 9.

С. 347. *«Странник»* — ежемесячный духовный журнал, выходивший с 1860 г. В приложениях выходили «Памятники древнерусской литературы».

С. 360. *Тачить* — советовать.

С. 365. *«Колокол»* — первая русская революционная газета, издававшаяся в 1857—1867 гг. в Лондоне и Женеве А. И. Герценом и Н. П. Огаревым.

«Вперед» — писательница назвала здесь революционно-народническое издание более позднего времени.

«Прокламации...» — в воспоминаниях довольно верно передан эпизод так называемого «Дела Моригеровского», учителя Пермской семинарии. Группа семинаристов пыталась распространять прокламацию «Послание старца Кондратия». Следственное дело, изученное Ф. С. Горовым, отмечает факт такой поверхностной деятельности семинариста Ильи Понамарева в Чермозе. См.:

Горовой Ф. С. Революционно-демократическое движение в Пермской губернии в шестидесятых годах XIX в. — Пермь, 1952. — С. 6.

С. 366. *Альгверзилы* — испорченное испанское «альгвазилы» —стражники.

С. 370. *Сорокоуст* — сорокадневная молитва в церкви по умершему.

С. 376. *Подушные* — подать в казну, которая платилась с «души», с каждого мужчины, достигшего 16 лет и занесенного в последнюю перепись.

Петрушка Рудометов

Впервые в «Отечественных записках», 1878. — № 12. Подпись *А. Бырдарина*. Печатается по тексту этой публикации.

С. 383. *Прокурат* — проказник, шутник, затейник.

С. 439. *Не иметь личностей* — не иметь личных счетов.

И. А. Дергачев

СОДЕРЖАНИЕ

Литературные памятники Прикамья

Анна Александровна Кирпищикова

КАК ЖИЛИ В КУМОРЕ

Составитель *И. А. Дергачев*

Редактор *А. П. Лукашин*
Художественный редактор
Т. А. Ключарева
Технический редактор
Н. И. Слесарева
Корректор *Л. К. Крамаренко*

ИБ № 1513
Сдано в набор 17. 12. 86. Подписано в печать 20. 05. 87. ЛБ06108. Формат 70×90$^{1}/_{32}$. Бум. тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 16,67. Усл. кр.-отт. 16,82. Уч.-изд. л. 16,272. Тираж 15 000 экз. Заказ № 1039. Цена в бумвиниле 1 р. 40 к., в коленкоре 1 р. 50 к. Пермское книжное издательство, 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.





1р. 50 к.